НИКОЛАЙ БЕРЕЗОВ



ЖИЗНЬ И БАЛЕТ

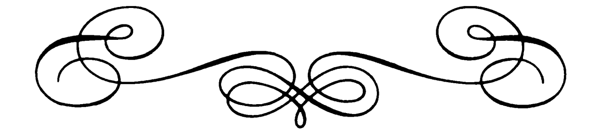
НИКОЛАЙ БЕРЕЗОВ • ЖИЗНЬ И БАЛЕТ

ЖИЗНЬ И БАЛЕТ



Н. Березов
(БАЛЕТНЫЙ «ПАПА»)

ЖИЗНЬ И БАЛЕТ



Лондон
1983

Автор выражает признательность
М. Муравник
за помощь в редактуре этой книги.

10 Palliser Court
Palliser Road
London W. 14
England

ПРОЛОГ

Сегодня 25 августа 1979 года. Город Луисвиль штата Коннектикут в Соединенных Штатах. Я готовлю с местной балетной труппой балет Стравинского ''Петрушка''. Премьера с участием Михаила Барышникова состоится 19 октября. Дается пять спектаклей подряд. Все билеты давно распроданы. Местные балетоманы жаждут увидеть выдающегося танцора наших дней, знаменитого виртуоза Барышникова. Кроме ''Петрушки'', он выступит в па-де-де балета ''Корсар''. Стоит невыносимая жара, градусов 50 в тени, однако танцоры кордебалета и в особенности статисты для массовых сцен в ''Петрушке'' репетируют с большим энтузиазмом, предвкушая выступление с *самим* Барышниковым.

Статисты состоят в основном из местных богачей, которые финансировали спектакль, и администрация театра никак не могла отказать этим горячим поклонникам искусства. С предложением своих услуг в качестве статистки к нам обратилась даже одна старушка, приложив к письму чек на пять тысяч долларов. На следующий день в сопровождении своего шофера и гувернантки старушка явилась в театр собственной персоной. Она поднялась на сцену, вгляделась в зрительный зал и вдруг так разволновалась, что ей немедленно предложили стул и стакан холодной воды. Вскоре старушку передали шоферу и гувернантке, и с тех пор она у нас, слава Богу, больше не появлялась.

Миша Барышников добросовестно и толково выучил мою версию "Петрушки" и сразу же почувствовал весь драматизм и напряженность этой роли. Можно было подумать, что он с самого детства знаком с "Петрушкой". Какое впечатление он произвел на меня как танцор, я опишу позднее, а сейчас я сижу в своей душной комнате, как в тюрьме, — не помогают никакие кондиционеры, — и невольно перебираю в памяти всю свою жизнь. Вся она, если не считать ранних детских и отроческих лет, прошла под знаком балета. Он — моя единственная страсть и единственная радость. Я начинал как танцовщик, потом стал балетмейстером, несколько раз был директором балетных компаний. Вот уже много лет я являюсь постановщиком фокинских и вообще всех классических балетов. Пока моя богатая событиями, встречами и переживаниями жизнь жива в памяти, очень хотелось бы рассказать о ней людям.

Часть первая

ДЕТСТВО

Много раз, когда мне приходилось рассказывать о своем прошлом, слушатели задавали один и тот же вопрос — а почему бы вам не написать воспоминания? Ведь читателю наверняка будет интересно их прочесть. Будет ли интересно?.. Трудный вопрос, однако я постараюсь передать все то, что еще сохранилось в памяти и осталось в душе.

Родился я 16 мая 1906 года в Литве Российской империи в семье учителя. Мой отец, Николай Ефремович Березов, был литовцем русского происхождения, а мать, Сусанна Эдуардовна Сшефлер, вела род еще от тех французов, которые остались в России после наполеоновского нашествия 1812 года. Их семья считалась одной из наиболее состоятельных в Симбирске, где они жили и где мама получила хорошее образование в женском симбирском институте имени Якубовича.

С французской живостью и немецкой аккуратностью (один из ее предков был немцем), мама подарила мужу ровно дюжину детей — шесть мальчиков и шесть девочек. Я шел пятым по счету. Родители, люди отзывчивые и добрые, отдавали детям всю душу. Отец славился гостеприимством и щедростью, отдавая нуждающимся

все, что имел, нередко во вред собственной семье. Его почему-то каждые три года переводили из одного города в другой, и мы ездили по всей тогдашней Ковенской губернии.

Самые первые воспоминания связаны с городом Аникштой, где мы жили рядом с волостным управлением, куда постоянно в телегах и каретах приезжали люди. Я любил бегать между телегами, вдыхать запах сена и конского пота, забираться на кучерское место в пустой карете и воображать, что, управляя лошадьми, я отправляюсь в далекие, чудесные, неведомые края. Однажды, уж не знаю, при каких обстоятельствах, меня нашли далеко за городом у цыган, преспокойно увозивших любопытного мальчишку в своей кибитке.

В окрестностях города стояла большая воинская часть, и по воскресеньям в церковь приходило много офицеров. Я не мог оторвать взгляда от их лакированных сапог со звенящими шпорами, за которые я отдал бы все на свете. Помню также большой праздник за городом на берегу реки на большой поляне. Военный оркестр почему-то сидел на земле, скрестив ноги по-китайски. Я видел танцующие пары и маму, которую кружил в танце какой-то офицер. С криком пустился я ее отнимать у этого страшного человека со шпорами, но меня поймали и успокоили большой порцией мороженого, которое я ел первый раз в жизни. Позднее были фейерверки. Я страшно испугался и от неожиданности залился слезами. Весь остальной вечер я не отставал от оркестра. С того дня я не пропускал ни одного случая, когда мама вечерами садилась за фисгармонию, которую на лето переносили из папиного кабинета в гостиную. Мама прилично играла на рояле, что тогда полагалось хорошо воспитанной девушке. При первых же аккордах я старался заглянуть в ее глаза, которые всегда были устремлены куда-то в пространство. Я поворачивал голову и смотрел туда же, но ничего не видел.

Когда, в 1910 году, мне шел пятый год, отца переве-

ли из Аникшты в деревню Посвайги, которая находилась в пяти верстах от города Тельши. Насколько я помню, это было селение с большой двухклассной школой и общежитием для детей из отдаленных мест. С одной стороны стоял сосновый лес, с другой — еловый, с березовой рощей, рекой и живописным озером. Маленькие крестьянские хутора, в основном переселившихся сюда, в Литву, белорусов (из Полесья и Витебщины) были рассыпаны по округе, как грибы.

При школе находился хороший сад с огородом, и мой отец все свободное время посвящал огороду, выписывал специальные семена и инструменты. Кроме того, он делился семенами с соседями-крестьянами. Отец очень гордился своими урожаями и возил в Тельши новым знакомым огурцы неимоверной величины.

С нами рядом было хозяйство довольно бедного белоруса Робута, который держал единственную лошадку по прозвищу Кикимора. От лошади этой практически зависела вся его семья. Летом, когда Робут пахал или возил навоз из хлева на поле, я всегда его сопровождал. Со мной он почти не разговаривал, наверное боялся, что я не пойму его белорусского наречия, зато не прекращая беседовал с лошадью и упрекал ее во всех житейских невзгодах. Бедная лошадь спокойно поводила ушами и продолжала свою монотонную тягу. А комплименты он ей отпускал самые замысловатые:

— Чтоб ты по горе ходила да солнца не видела, чтоб тебе в воде по колени стоять, да воды не напиться, чтоб тебе овес видеть да соломой закусывать, чтоб тебе дневной свет ночью казался, чтоб тебе гром и молния зад отбили, чтоб тебе ворона твои белясые глаза выколола, чтоб тебя крокодил проглотил, да не икнул, — и т.д.

И все это произносилось выразительно и с чувством. Потом мы, дети, играя в извозчиков, с удовольствием читали воображаемым лошадкам робутские лекции. Робут, однако, никогда не стегал кнутом Кикимору, а только старался ее попугать, стегая кнутом по зем-

ле. Когда он работал в поле, я ожидал полудня. Робут останавливался, прикрывал рукой глаза и смотрел на солнце, чтобы определить, время ли обедать. После этого жеста Кикимора дальше не двигалась, и все упреки и понукания в ее адрес были бесполезны. Робуту приходилось ее выпрягать, и тут наступала моя обязанность вести Кикимору на водопой и оставлять ее на лугу.

Выпрягая лошадь, Робут подставлял мне сложенные ладони, я совал туда ногу, и он подбрасывал меня на спину своей единственной и незабвенной. Та неизменно пускалась в галоп, подбрасывая по обыкновению заднюю часть худого тела. Мне до крови натирало между ног, однако я ни за что не отказался бы от этого удовольствия. Уцепившись руками в гриву, я несся к реке, куда Кикимора врывалась чуть не по уши, чтобы сразу избавиться от мух и оводов, которые беспощадно впивались ей в живот. Пополоскав морду и пофыркав, она принималась с наслаждением медленно пить, потом выходила из реки и бежала в тень под деревья. Там я спокойно сползал на землю, связывал лошади передние ноги и бегом отправлялся домой, чтобы самому не опоздать к обеду.

С другой стороны наши школьные угодья граничили с более зажиточным хозяйством литовца Катарского, а за Катарским был хутор белоруса Подкотяро. Катарский выдавал дочь замуж и объявил, что на свадьбу приедет хороший оркестр с музыкантами. Меня это, конечно, страшно заинтересовало. В день свадьбы я залез в саду на дерево и следил за всем, что происходило в доме Катарского. Я видел, как его повозка привезла всего трех музыкантов с медными трубами, ярко блестевшими на солнце. Размеры оркестра меня разочаровали, но по приезде свадьбы из костела звуки этого трио распространились на всю окрестность. Свадьбу справляли на дворе перед домом. Музыка перемешивалась с криками и пением веселившихся гостей. Только с наступлением темноты мне удалось незаметно от своих про-

браться на двор Катарского, где гости с усердием отплясывали литовские танцы. Каждый танец имел свой текст, и заметно подвыпившие гости с чувством распевали народные стихи. Гуляние продолжалось три дня и три ночи.

На таких праздниках мы, дети, позднее могли присутствовать без запретов, и этого было достаточно, чтобы запомнить на всю жизнь и танцы, и текст к ним. Там были литовская "Суктиня" (верчение), маленький танец на слова "Куда ты, старая дева, денешься", еще танец на слова "Нужно знать и уметь, как девицу полюбить" и другие популярные литовские танцы. Потом изнуренные музыканты играли по-очереди, сольная мелодия раздавалась на всю округу, уходила за озеро, откуда собиралось много любопытных парней и девок. Они смотрели с интересом на свадьбу и гостей, вконец осипших, с красными от бессонницы и пьянства глазами. Таков литовский обычай. Существует он и теперь.

Здесь, в Посвайгах, тоже была в школе фисгармония, и мама редко, но подолгу играла на ней вечерами совсем в темноте. Что она переживала, уйдя в свою музыку, в этой деревенской глуши, трудно сказать, но слушая ее, мы, дети, невольно утирали слезы. Нам было ее почему-то очень жаль.

У отца служил помощником молодой литовский учитель Драгуневич с вечно больной женой, которую мы почти никогда не видели. Его сыновья Витаутас и Енас почти все время проводили с нами, в особенности зимой из-за холода. Помещение училища, где мы жили, принадлежало раньше богатому помещику. Отцу, как старшему учителю, полагалась квартира, которая состояла из старой помещичьей гостиной, спальни, столовой, маленькой комнаты и большой кухни. Драгуневичи жили в другом конце дома, в помещении типа веранды, где летом было чересчур жарко, а зимой холодно. Вот почему мои ровесники Витаутас и Ионас жили с нами. Сам Драгуневич постоянно льстил маме, показывая, что он

очень уважает ее образованность и католицизм, и недоумевал, как такая женщина могла выйти замуж за ''бурлекаса''. Так литовцы пренебрежительно называют русских.

В сентябре, за несколько дней до школьных занятий, наше училище принимало вид не то вокзала, не то базара. Приходили ученики, почти все крестьянские дети, с родителями или одни, и каждый нес в подарок учителям курицу или утку. Были такие, которые приносили большого гуся или даже поросенка. Отказаться от этих подарков не было возможности, и на нашем дворе появлялся целый выводок домашних птиц, которые с гоготом и кудахтаньем шествовали вокруг училища.

Самым сложным и кропотливым делом являлись новые ученики, которые жили за несколько километров от школы и должны были оставаться в общежитии при училище. Их привозили родители на больших подводах, груженных самодельными кроватями разного фасона и размера (так как ученики были разных возрастов) и продуктами с расчетом до самого Рождества, состоявшими из муки, соленого сала, картофеля и кислой капусты. Продукты размещали в кухне, где стояла большая печь для выпечки хлеба и плита. Таких учеников с начала учебного года оказывалось больше двадцати, и на всю эту ораву полагалась единственная кухарка. Она и хлеб пекла, и варила, и стерегла продукты, чтобы их сырыми не поела прожорливая молодежь. Каждый крестьянин, втащив в общежитие кровать, расталкивал другие кровати и устраивал для своего сына место поудобнее, потом брал свое чадо за руку и шел к отцу с требованием, чтобы его сына никто не обижал, чтоб его кормили досыта, а если будет чересчур шалить или плохо учиться, то хорошенько высечь розгами. После чего наступала пора расставания. Стоял жуткий рев, бедные деревенские мальчики решали, что родители покидают их навсегда. Часто приходилось запирать двери на ключ, чтобы они не бросились вдогонку за родителями.

Благодаря новому населению, училище приобретало на несколько дней особенный характер, стиль и запах. Постоянный шум, крик и плач младших разносился по всему зданию. Без отчаянной беготни по коридорам и двору тоже не обходилось. Запах печеного хлеба и кислой капусты заполнял весь дом. Приехавшие на гастроли в кроватях хозяев тараканы и клопы не замедляли появиться во всех щелях и теплых местечках.

Мама называла все это бедным и дешевым постоялым двором и воевала с грязью изо всех сил. Но клопами мы на зиму обзаводились. Очевидно, как платой за кур и петухов, подаренных учениками.

В училище в начале учебного года обычно поступало до восьмидесяти человек. В первом классе учились школьники от восьми до восемнадцати лет. Говорили здесь на четырех языках: по-белорусски, по-литовски, по-польски, но учили их только по-русски.

Итак, благодаря крестьянским подношениям, мы каждый день ели на обед курицу или утку, и нам, детям, это так приедалось, что мы просили маму покормить нас чем-нибудь другим. Курам и уткам пощады не было, и к Рождественскому посту ничего не оставалось. Я помню одну зиму, когда всю птицу съели, за исключением всеобщего любимца, красно-желтого красавца петуха. Мы его прозвали Петей, и он долго гулял по заснеженному двору, настойчиво призывая в компанию кур, которые давно уже исчезли... Как-то после Нового года из Тельши приехал неожиданно в гости папин приятель. В его честь к обеду подали жареного петуха. Дети сидели чинно за столом, как и полагается перед гостями, когда старший брат Виктор шепнул нам, что жареный петух — наш любимец Петя. Раздался общий детский рев, и мы все ушли из столовой в страшном горе. Обещания гостя, что он привезет в следующий раз много конфет и нового Петю, никого не успокоили.

Еще задолго до Рождества все запасы живущих в общежитии учеников кончались, и отцу приходилось их

подкармливать за свой счет. На рождественские каникулы крестьяне приезжали за детьми. В то Рождество из-за больших снежных заносов двое крестьян не смогли приехать, и насколько я помню, их малыши испортили нам Рождество, проплакав весь праздник. Мы готовы были отдать им все новые полученные к Рождеству игрушки, но и это не помогло.

На следующее Рождество мама организовала общественную елку. Пригласили всю интеллигенцию Тельши. Православный батюшка и католический ксендз тоже присутствовали, оба в длинных сутанах. Помню огромную елку, украшенную необыкновенно красивыми игрушками. Под елкой для каждого ребенка разложили подарки. Праздник начался с показа через волшебный фонарь красочных картин на религиозную тему, чего мы раньше никогда не видели. Потом состоялось представление, где мама являлась и режиссером, и декоратором, и костюмером, и участником. Потом все малыши, включая меня, должны были читать стихотворение. Меня несколько раз выталкивали к елке, но я каждый раз с большим конфузом убегал и, в конце концов, в слезах забастовал окончательно. Потом начался детский хоровод. Ходили вокруг елки с песнями. Наконец, детям раздали подарки. Мой подарок наш русский батюшка из Тельши взял себе с условием, что вернет, если я расскажу ему на ухо стихотворение. Батюшка мне нравился, и я, прежде чем рассказать стихотворение, спросил его, почему он в юбке, на что батюшка ответил, что его попадья забыла ему штаны сшить. Я прочел стихотворение. Он меня похвалил и тут же предложил, чтобы я и всем гостям прочел, и я, нисколько не смущаясь, с гримасами и ужимками прочел:

Говорят, что я растрепка,
Вы не верьте, это вздор,
Посмотрите, как красив
И как правилен пробор,

На пробор я испомадил
Банку целую до дна,
А там сзади не видать,
Хоть расти копной копна.

Последнее лето в Посвайгах. Школа опустела. Опять весь дом дезинфецируют, обливают полы карболкой. Стены еще чистые, но их опять нужно белить известкой — тогдашним средством от клопов и тараканов. Снова вся семья живет на дворе. Папа работает в огороде. Мама со старшей сестрой разводят цветник. Наш обеденный стол устроен в тени, рядом с ним — летняя кухня. Мы подросли, бегаем купаться то на реку, то на озеро. Собираем в лесу ягоды и грибы. Я не забываю кататься верхом на ослепшей на один глаз и поэтому еще более милой Кикиморе.

Однажды утром мы обнаружили в саду мирно пасущуюся породистую голландскую корову с необыкновенно большим выменем. Выяснилось, что эту голландскую красавицу отец купил на ярмарке. За прошедшие годы наша семья увеличилась, подрастало восемь детей, требовалось свое молоко. Милка, корова степенная и довольно медлительная, однажды нас очень удивила. Незадолго до этого мы узнали о предстоящем солнечном затмении, и все тщательно подготовились к необыкновенному зрелищу. Погода стояла хорошая, и солнце сияло во всем блеске и красоте. Началось затмение, и ужас среди животных поднялся невообразимый. Все стадо разбежалось с мычанием, ржанием и блеяньем. Наша Милка, до этого мирно пасущаяся, вдруг подняла хвост, словно палку, и стала бросаться из стороны в сторону, как молодой теленок, испуская при этом неимоверный рев. Животные успокоились только, когда кончилось затмение.

Однако нужно опять переезжать на новое место — на этот раз в городок Ворни, находящийся в сорока километрах от Посвайг. В конце августа 1912 года, по-

грузив на несколько подвод все имущество, мы двинулись в путь. Меня водрузили на самый верх, и с этой вышки я увидел приближающийся воз со снопами ржи, который тащила моя Кикимора. Я ринулся вниз, подбежал к ней, обнял милую морду и поцеловал между глаз. Хотел на прощание сказать что-то бедному Робуту, но он отвернулся, утирая непрошенную слезу грязными пальцами. Мне стало так жалко расставаться со всем, что меня здесь окружало, что я заревел белугой. Меня опять подбросили наверх, и мужик, стегнув кнутом, погнал лошадей. Тогда я еще не знал, что мне будет суждено вернуться в это селение, но уже при других обстоятельствах.

Странное дело, я уже говорил, что в семье было к этому времени уже восемь детей, но вспоминая сейчас свое детство, я вижу очень четко и ярко себя и маму, папу немножко меньше, но братьев и сестер словно как в тумане. Однако, братья Драгуневичи и окружавшие нас крестьяне, Робут, Катарский, Подкотяра, Гарбин и наша тогдашняя кухарка Анита ясной вереницей проходят в памяти. Может, потому, что они тогда так часто мне снились, с кнутами, со злыми лицами. Я просыпался в ужасе, трясущийся, бежал к отцу в спальню, забирался в папину кровать, и только оказавшись за его надежной спиной, немного успокаивался и засыпал.

Переезд в Ворни помню очень хорошо. Проснулся я утром от страшной тряски. Мы ехали по булыжной мостовой через маленькую площадь по направлению к училищу. Их в Ворни три: два мужских и одно женское. Отец заведовал всеми тремя, имея в подмогу еще одного учителя и учительницу для женской школы.

В глаза бросилось множество вывесок. Почти на каждом домишке изображался либо сапог, либо крендель, либо ножницы. Хотя лавки еще не открывались, запахи печеных булок, керосина, рогожи и смолы ударили в нос. Почти на каждом домике имелось на крыше прикрытое отверстие, что, как мне объяснили, значило,

что там живет еврей. Не успели мы выгрузиться, как появилось больше дюжины лавочников с приветствиями и подарками. Каждый, говоря сразу на четырех языках, зазывал маму и папу в свою лавку и предлагал солидный кредит. В то время ворнинские торговцы переживали большой кризис. Раньше в городе постоянно находился казачий полк. Имелось офицерское собрание, больница, полковая церковь и штабные постройки. За год до нашего приезда полк куда-то перевели, и все казармы, конюшни и офицерские домики оказались брошенными. Местные торговцы лишились клиентов.

В городе имелось два костела, синагога и православная церковь, которая почти не действовала из-за недостатка православных. Зато оба костела и синагога были всегда переполнены. Городская баня по пятницам обслуживала евреев, а по субботам всю остальную публику. Мы немедленно перезнакомились со всеми обывателями, завели себе новых приятелей и, играя, объяснялись уже на пяти языках. К русскому, белорусскому, литовскому и польскому прибавился идиш. Исключая городское начальство, которое почти целиком состояло из православных русских, остальное население составляли евреи, литовцы и поляки. Костелы обслуживали весь уезд, где жили исключительно литовцы-католики. Газета не издавалась, зато в городе проживал еврей, по имени Ицке, успешно ее заменявший. Он успевал бывать везде и всюду и отвечал на любой вопрос, касающийся городских или государственных новостей. Откуда он черпал все эти сведения, неизвестно, но тогда говорили, что у евреев есть особенное чутье. Если родственник в Варшаве чихнет, то в Кракове в ту же секунду ответят ''на здоровье''. Ицке присутствовал на всех свадьбах, похоронах и крестинах, был правой рукой устроителя, распоряжался всеми и всех звал по имени и на ты. Его посылали за водкой, за доктором, за деньгами, он тут же появлялся и трудился, часто не получая ни вознаграждения, ни благодарности.

Я уговорил отца разрешить мне начать учиться на год раньше обычного. Мне было легко, так как я знал азбуку. На вторую зиму я уже перешел в третий класс и знал, что отец готовит меня к поступлению во Второй Николаевский кадетский корпус в Петербурге.

Наш новый приятель по играм Ешке, сын парикмахера, удивлял моего отца блестящими математическими способностями. Позднее он стал гордостью училища. В задаче говорилось, что купец купил сукно за восемьдесят рублей, а продал за сто пятьдесят пять, и спрашивается, сколько купец на этом заработал. Раньше всех поднимается рука Ешки. На вопрос он отвечает: ''Сто рублей''. ''Неправильно'', — говорит учитель, но Ешка объясняет, что купец купил сукно за пятьдесят пять рублей, а продал за сто пятьдесят пять, почему ему на заработать больше?

По пятницам Ешка не учился. В базарный день он помогал отцу брить приезжих мужиков. Они расставляли тут же на улице столик и скамейки и усаживали желающих побриться. Ешка немедленно мылил всем подбородки, чтобы ''клиенты'' не разбежались. Иногда у них сидело по пять-шесть мужиков с намыленными лицами. Ешка хватал прохожих за руку, усаживал и мыльной кисточкой мазал им физиономии. Мужики все терпели. И в летнюю жару, и зимой на морозе они сидели с намыленными физиономиями, принимая этот способ бриться за единственно верный. Ешкин отец спешил побрить как можно больше клиентов до начала шабаша. Парикмахерская вместе с другими лавками закрывалась, и через полчаса можно было видеть в окнах горящую свечку и евреев, раскачивающихся в молитве.

Помню, все еврейское население провожало парня Абрашу на военную службу в царскую армию. Было много слез и стенаний, будто его провожали на войну. Он неуклюже путался длинными ногами в лапсердаке и махал красным платком. И что же, через восемь месяцев, когда Абраша вернулся в отпуск, он стал залихват-

ским кавалеристом в высоких сапогах со шпорами (моя старая мечта). Перехваченный широким ремнем в талии, с небрежно висящей на боку саблей, он выглядел куда эффектнее всех офицеров, каких я видел до сих пор. К вечеру им завладела дочь самого богатого нашего еврея красавица Сара. Она окончила с золотой медалью шавельскую гимназию и собиралась выходить замуж. Сара прошлась с Абрашей под ручку перед окнами власть имущих, громко беседуя на чересчур правильном русском языке. На следующий день это гулянье вновь повторилось, и тут власть имущим пришлось приглашать Абрашу в дом на рюмку водки с комплиментами за его прекрасную военную выправку, геройский вид и хорошую службу, которая тогда выражалась в трех словах: за веру, царя и отечество.

Абраша ухитрился в воскресенье, когда верующие выходили из костела, стать недалеко от входа в такой воинственной позе, что католики, не любившие царского правительства, шарахались в сторону, завидев издали это грозное изваяние. И кому пришла идея взять Абрашу в кавалерию? Ведь в наших краях всегда думали, что евреи не в ладах с лошадьми.

Городская интеллигенция любила повеселиться. Ходили в гости целыми семействами, а иногда устраивали в лесу "маевку" — увеселительную прогулку и пикник на свежем воздухе. Набирали колоссальное количество снеди, вина и водки, разводили большой костер, и вскоре отцы благородных семейств, с сединой и брюшком, начинали прыгать через костер с припевом: "Я не сам трясусь, меня черти трясут!" А зимой, когда собирались у кого-нибудь в гостях, обязательно тащили из женской школы старую фисгармонию. Ее полчаса приводили в чувство, нажимая на педали, чтобы она с мороза приобрела нормальный "голос". После усиленных просьб маму усаживали за возрожденный инструмент, и начинался "концерт". Слушали внимательно и эмоционально. Мама и здесь стала первой дамой общества. Ее любили и

уважали все горожане без исключения, богатые и бедные.

Когда отец получал жалование, все деньги приходилось отдавать лавочникам, которые давали нам в кредит все, и поэтому мы, как все чиновники, злоупотребляли этим и набирали куда больше, чем могли заплатить. Каким-то образом, однако, все устраивалось, и мы получали к еврейской пасхе горы мацы и красного вина.

К концу учебного года прошел слух, что губернатор Ковенской губернии генерал Веревкин собирается объезжать губернию. В училище начались приготовления к встрече. Учили на память стихи и басни, отшлифовывали арифметику. Каждый день репетировали "Боже, царя храни".

В начале лета 1914-го определилась дата губернаторского визита. Училище украсили свежесрубленными березками. Отец рассадил учеников таким образом, что таланты и гении заняли первые ряды. Девочки сидели отдельно. На одной из первых парт оказался и я рядом с нашим гением Ешкой. Ему поручили две басни, в том числе "Мартышка и очки". Когда он раньше ее декламировал, весь класс хохотал до слез, так смешно было его произношение. И, конечно, надеялись, что губернатор спросит что-нибудь из арифметики, и тогда Ешка блеснет своими познаниями.

Когда наступил долгожданный день, послышался душераздирающий крик:

— Губернатор едет! — Ицке несся по улице, потный, покрытый пылью, сообщая нарядному городку долгожданную новость.

Отец вышел на улицу в парадной форме с медалями, кланяясь и приглашая губернатора посетить училище. Тот, полный, в белом кителе с золотыми погонами, появился в зале. Мы сразу ударили в разноголосицу: "Боже, царя храни", что заставило бедного генерала и всю его свиту все время держать руку под козырек. Губернатор любезно спрашивал у девочек их имена и фа-

милии. Одну он попросил прочесть ему стихотворение, которое она, к счастью, знала и довольно прилично прочла. Папа порекомендовал хорошего чтеца басен и способного парня в арифметике и скомандовал Ешке:

— Браунбергу встать и прочесть басню Крылова ”Мартышка...”

Ешка чуть не выпрыгнул из-за парты и на весь класс громко зачастил:

”Скажи-ка дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана...”

Класс так и ахнул от неожиданности. Отец с помощниками замахали на Ешку руками, но тот, нисколько не смутясь, продолжал читать. Кто подстрекнул его приготовить именно это стихотворение, мне сказать трудно, но впечатление он произвел на всех тогда замечательное. Губернатор похлопал Ешку по голове, вынул золотую монету в десять рублей и, дав ему, прибавил:

— Это всем ученикам на конфеты.

Он выпил стакан шампанского, наговорил отцу кучу комплиментов насчет училища. Здесь мы опять грянули: ”Ты славься, наш русский царь”, но губернатор уже уезжал.

Мы бросились отнимать у Ешки золотую монету, чтобы накупить конфет, но он ни за что не хотел расставаться с десятью рублями. Он-то знал им цену! В конце концов, мы отняли у него монету и пустились всем классом в ближайшую лавку.

На мосту губернатора остановили местные торговцы. По русскому обычаю ему преподнесли хлеб и соль, каждый торговец приветствовал его лично, и от всех ему подарили очень дорогой и интересный подарок. Кортеж губернатора последовал дальше. В доме местного мирового судьи в его честь устроили большой банкет, куда пригласили всю интеллигенцию города.

Через месяц Ицке опять представилась возможность оповестить городок о небывалом чуде. Он снова несся по улице и кричал:

— Автомобиль! Автомобиль!

За ним, подпрыгивая и издавая неимоверный шум, ехал экипаж без лошадей. Настоящее чудо! В автомобиле, кроме шофера, в огромных очках и шлеме, восседали молодой, стройный офицер и две дамы в огромных шляпах, над которыми они еще держали летние зонтики. Как только автомобиль остановился, весь город с боязливым любопытством сбежался посмотреть на чудо техники XX века. Я больше рассматривал офицера, чем автомобиль, так как решил бесповоротно, что когда вырасту, стану офицером. Меня привело в крайнее недоумение, что русский офицер объяснялся со своими дамами на польском с примесью французского.

Приблизительно через месяц после этого события все в нашем городке перевернулось с ног на голову. Началась война между Россией и Германией. Городок находился всего в нескольких десятках верст от германской границы. Торговцы открывали и закрывали лавки каждые полчаса. Все в страхе бегали друг к другу. Что будет с нами? — вот вопрос, который мучал обывателей. Началась мобилизация, и через городок потянулись деревенские подводы с привязанными лошадьми. Возле волостного управления стояла толпа. Слышались крики, ругань и плач женщин. Как из-под земли выросли четыре офицера, тут же на дворе расставили столы, и началась мобилизация. Местные доктора и ветеринар принимали участие в регистрации. У одного стола смотрели в рот и глаза голым мужикам, к другому подводили лошадей, измеряли их рост и тоже смотрели в рот и глаза. Ешкин отец тут же предлагал подстричь новобранцев наголо, на что те безропотно соглашались. Видя своих мужиков голыми, с белыми черепами и загорелыми физиономиями, бабы пускались выть еще громче. Через час новобранцы уже сидели в длинных повозках для сена. Их охранял местный стражник с саблей наголо. Все вдребезги напились и всю дорогу орали веселые песни.

Когда до нашего детского ума дошло, что такое

война, мы моментально привязали столовые вилки к длинным палкам и уселись на дороге, приготовившись таким образом остановить наступление немецкой армии.

Пришла осень, и те части немецкой армии, которые перешли русскую границу в первые дни войны, были отброшены. Русская армия проникла в Восточную Пруссию. Все сразу успокоилось. Чиновники поздравляли друг друга с победой. Ни для кого, однако, не было секретом, что ксендзы и евреи больше симпатизировали немцам, чем русским. У евреев еще живы были в памяти погромы, что же касается ксендзов, то они являлись проповедниками литовского патриотизма и католической веры.

Дети больше, чем взрослые, с нетерпением ждали еженедельной иллюстрированной газеты "Биржевые ведомости", где регулярно появлялись фотографии с фронта и печатались многочисленные очерки о героизме русских солдат и офицеров. Помню героя-казака Гудкова, который один взял в плен десять немцев и портреты которого украшали тогда все базары и крестьянские хаты.

Помню, как два русских солдата везли в повозке трех пленных немцев, которые по сравнению с победителями выглядели гораздо лучше. Наши носили еле державшиеся на голове бескозырки и потрепанную форму, а пленные ехали в отличных мундирах. Весь город сбежался подивиться на врага. Кончилось тем, что наделили и немцев, и своих папиросами и баранками.

Но недолго чиновники праздновали победу русского воинства. Ранней весной 1915 года на восток потянулись подводы с беженцами и ранеными русскими солдатами. Наш город опять проникся атмосферой первых дней войны. Немцы гнали русскую армию, наступая с юга на северо-запад, чтобы выйти в Литву и Курляндию к Балтийскому морю.

Дома страшно заволновались. Отцу предписали немедленно эвакуировать семью в глубь России. На такую

семью нужно было как минимум две больших подводы, чтобы добраться до железной дороги. Каким-то образом все устроилось, и в мае 1915 года мы покинули Ворни. По улицам бежали группы русских солдат, ехали военные обозы и повозки. Неожиданно в воздухе появился немецкий аэроплан. Он кружил над городком так низко, что можно было видеть лицо летчика. Это чудо техники XX века жители видели впервые, и оно вызвало у всех животный ужас. Аэроплан сбросил две бомбы, которые оглушительно взорвались, но никому не причинили вреда.

Через несколько дней под звуки пушечной пальбы и ружейных выстрелов мы перебрались в деревню Ковнотово, в десяти верстах от города Тришки, где нас приютила солдатка. В Ковнотово мы пробыли до сентября.

К сентябрю отец получил от немцев разрешение переехать в большое село Благовещенск, в бывшее училище, сейчас закрытое из-за войны. В нем жили исключительно православные белорусы. Там находилась большая церковь и служил замечательный священник, очень честный и культурный человек. Немецкие власти весьма подозрительно относились к Благовещенску, считая его всецело преданным русскому правительству.

Началась первая зима в тылу у немцев. У отца кончились деньги. Не было дров, не было теплой одежды, а главное, не было обуви, поэтому детям невозможно было выйти на улицу. Не было хлеба, и вообще есть было нечего. Папа ходил в ближайшее местечко за пять верст и носил понемногу мамины драгоценности и украшения в обмен на муку, соль, спички. За зиму мы спалили все парты. Вечером освещали квартиру лучинами. Ели раз в день и так мало, что после еды хотелось есть еще больше. На четырех братьев были всего одни сапоги старшего брата Виктора, который целыми днями бегал в поисках дров для нашей ненасытной печки. Когда он возвращался, мы накидывались на сапоги, чтоб хоть на несколько минут выскочить во двор, где каза-

лось и теплее, и веселее, чем дома. При училище оставалась маленькая библиотека, и все якобы ненужные книги пошли в печку. К счастью, книг оставалось еще достаточно, и нам хватило чтения на всю зиму. Мне исполнилось девять лет, и я за короткое время прочитал всего Пушкина. Слава Богу, что он попался первым. За Пушкиным последовали Чехов, Гоголь, Тургенев и Некрасов. Я читал, стоя на одной ноге, босиком, с опухшими от холода пальцами. Другую ногу я по очереди совал под колено, чтобы хоть немножко отогреть ее собственным теплом. А по вечерам, в темноте от голода и от прочитанного голова моя кружилась, и я жил в каком-то фантастическом мире, где герои из книг иногда являлись наяву, громко говорили и жестикулировали.

Когда мне удавалось завладеть сапогами, я несся в село, зная заранее, где собираются два местных музыканта. Каждый имел по скрипке, и они часто ''музицировали'' вместе. Один играл, а другой старался ему аккомпанировать. Для меня в это время скрипка стала чуть ли не священным инструментом. Я у этих горе-музыкантов неустанно выпрашивал скрипки, иногда просто, чтобы подержать в руках. Умолял и отца раздобыть хоть какую-нибудь скрипочку, но из этого ничего не вышло. Наконец, совершенно отчаявшись, я решил сделать самодельную скрипку, и за два месяца соорудил нечто, напоминающее мой ''священный инструмент''. По вечерам, когда я начинал извлекать из него звуки, похожие на крики задавленного котенка, мое семейство терпело настоящую пытку. Называли меня сумасшедшим шарманщиком и как-то раз даже пригрозили пустить мое сокровище на дрова.

В течение зимы немцы обыскивали в селе каждый дом. Они искали бежавших из плена русских военнопленных. Те пробирались в селения тайком и обычно просили ночлега и пищи. Им редко в этом отказывали. Некоторые застревали в селе надолго, тайком подрабатывая у солдаток.

После Рождества старики стали женить молодежь. На селе праздновались свадьбы. Я всеми силами старался туда попасть — там без конца пиликали скрипки, ели много мяса и колбас, даже и мне иногда перепадало. На таких праздниках из темного угла или из-за печи часто появлялось заросшее, улыбающееся лицо русского солдата. Его никто не замечал. Но когда обходили гостей с чаркой самогона, то за печку обязательно шла очередная порция.

Так прятались в нашем селе поручик Козлов — бывший студент Казанского университета, прапорщик Глебов из Сибири и необыкновенно широкоплечий унтер-офицер Иван Дудков, бывший рабочий Путиловских заводов в Петрограде. Дудков совершенно осмелел, ходил по улицам даже днем, правда переодетым в крестьянскую одежду. Но все равно чужака в нем узнавали за версту. Он работал за десятерых — кузнецом, плотником, ветеринаром, работал везде, где могли пригодиться его сильные руки. Три солдатки увеличили свои семьи при помощи работяги Дудкова. Здешний священник ломал голову, как после войны примирить с мужьями обесчещенных солдаток. Вечерами отец часто рассказывал маме о том, что происходило у священника на ''беседах'', где тайком встречались бывшие бойцы. Так отец знал их имена и истории.

Как-то раз немцы устроили для военнопленных хитрую ловушку. Весной и летом они полностью прекратили на селе обыски. Все осмелели. Больше дюжины беглецов работали на здешних крестьян. Ранней осенью, когда кончились полевые работы, немецкий отряд в тридцать человек внезапно появился на селе и арестовал большую часть пленных. Больше их никто не видел, они исчезли бесследно. Крестьяне, у которых их обнаружили, а также и священник, получили по десять лет тюрьмы. Срок они отбывали в ковенской тюрьме, где все умерли от истощения, не просидев и года. Отца два раза таскали в комендатуру в Ужвенте, но не имея прямых улик, вы-

пустили, сказав, что если хоть еще один пленный появится на селе, он без разговоров пойдет в тюрьму.

Ивану Дудкову и на этот раз удалось избежать ареста. За ним не раз внезапно приходили небольшие отряды, зная через осведомителей, где его искать. Однако лишь в конце зимы 1916 года немцам удалось разыскать его след. Тогда они явились с собаками. Те почуяли Дудкова и кинулись за ним в погоню. Бывший унтер-офицер уходил на лыжах. Его путь лежал через замерзшее озеро, покрытое снегом. Посреди озера снег был сдут, и Дудков очутился на скользком льду. Здесь собаки его настигли, и немцы издали двумя выстрелами свалили его наповал. Труп Дудкова запретили забирать. Его занесло снегом, а потом он исчез. Долго еще после этого на селе шли толки о том, что сталось с Ивановым телом.

После заточения нашего священника в тюрьму отец проявил неимоверную энергию и смелость. Он ходил по окрестностям, собирая подписи для его освобождения. Удалось собрать более тысячи, среди которых находились подписи богатых и влиятельных литовских помещиков-католиков, и евреев, и докторов, и крупных адвокатов. Немцы, продержав священника шесть месяцев в ковенской тюрьме, его освободили. Все село вышло встречать своего батюшку. От слабости он лежал в санях, его совершенно нельзя было узнать! Скоро, однако, он поправился и начал свою деятельность со всей присущей ему энергией и душевностью.

В феврале 1918 года, после объявления независимой Литовской республики, немцев перестали бояться. Священник отслужил панихиду в своем собственном сарае. Там на внутренней стене смолой был нарисован православный крест. Панихида шла об усопшем Иване Дудкове, закопанном в сарае. Тогда только выяснилось, что через несколько дней после трагической смерти Дудкова мой отец с поручиком Козловым ночью, в снегопад, взяв санки, отправились по сугробам на озеро. Они положили обледеневшее тело на санки и приволокли его в

сарай священника. Так как в сарае земля была еще мягкая, в ту же ночь им удалось выкопать яму и похоронить Ивана. Забросав могилу хворостом и сеном, они дегтем нарисовали на стене крест. Нынче останки Ивана Дудкова похоронены на местном кладбище по всем правилам православной церкви.

Наша семья жутко голодала, и чтобы хоть как-то подкормить детей, отец определил старшего брата в рабочие, а меня и брата Ивана — в пастухи. В первое лето мне пришлось пасти гусей. Гуси имеют тенденцию все делать сообща, и если луг, на котором они пасутся, недостаточно хорош, они всем стадом отправляются на близлежащее ржаное и овсяное поле. За такие гусиные нашествия крестьянин не погладит пастуха по головке. После двухмесячной борьбы с гусями меня повысили в должности и вручили дюжину свиней. Если свинья голодна, а она всегда голодна, то выбежав из хлева на поле, она пускается с визгом к ближайшим огородам. За несколько минут животное способно перевернуть весь огород, так что трудно поверить, что тут когда-то росли огурцы, помидоры, капуста и морковь.

После одного такого происшествия, выслушав проклятия хозяина по моему адресу, я решил держать свиней взаперти и сам, обжигаясь крапивой, собирал лучшие травы и кормил это визгливое, неблагодарное животное. Крестьяне с осени начинали откармливать гусей и свиней, засаживая их в тесные клетушки. Я ждал этого момента с нетерпением, чтобы вернуться домой — к маме, сестрам и братьям.

Зимой 1916-1917 годов я опять просидел взаперти, читая уже Достоевского и Толстого, которые после Пушкина и Гоголя мне тогда не очень нравились. Немцы, как и прежде, держали село в ежовых рукавицах: обложили каждого хозяина продналогом на молоко, картофель, рожь, и за малейшую недостачу тащили мужика в тюрьму. Ходили слухи, что им не везет, и мы, сидя в промерзшей квартире, мечтали, что война скоро

кончится, немцев прогонят, отец получит жалованье, и мы, избавившись от вшивых лохмотьев, облачимся во все новое и отсюда удерем.

Весной 1917 года я и старший брат Виктор устроились работать к зажиточному белорусу. Виктор — рабочим, а я пастухом. Я должен был пасти восьмерых коров и стадо овец, что оказалось куда легче, чем справляться с гусями и свиньями. В пять часов утра мне давали чашку парного молока с куском черного хлеба. И я гнал похудевшее за ночь стадо на пастбище.

К восьми утра коровы решали отдохнуть. Они укладывались на лугу, чтобы с наслаждением пожевать свою жвачку. Я, почти по пояс мокрый от росы, подставлял тело солнцу, чтобы хоть немного согреться. Тут на меня обычно находил приступ вдохновения. Я начинал громко декламировать, мешая одно стихотворение с другим. Коровы смотрели добрыми глазами, и мне казалось, что им нравится моя декламация. В поле я постоянно фантазировал. Проезжавший мужик с бородой казался мне Пугачевым, едущий в другую сторону еврей — скупым рыцарем. Черная корова оказывалась Екатериной Великой, а белая — Капитанской дочкой.

Если мне стало легче справляться с коровами и овцами, чем с гусями и свиньями, то для Виктора служба в батраках превратилась в настоящий ад. Он пахал или косил с пяти утра до восьми вечера с небольшим перерывом на обед, а после работы хозяин заставлял его до зари пасти лошадей. Часа в четыре утра его заменял старый отец хозяина, и Виктору для сна оставалось всего два часа.

Спал он в сарае на соломе, и мне приходилось иногда будить его. Разбудить Виктора было очень трудно: он просто не мог поднять голову. Все же я его будил и он, шатаясь, начинал новый тяжелый день. Сам хозяин хромал и поэтому не работал, но был свирепого характера, бил жену, тоже замученную работой, за малейший проступок. Бил он ее вожжами, и тогда уж никто не мог

его остановить. Вечерами за столом, когда за ужином сидела вся семья с рабочими, атмосфера становилась просто жуткой: все ждали, что хозяин вот-вот взорвется и побежит в конюшню за вожжами.

Вспоминая отношения наших родителей друг к другу, мы готовы были променять нашу в общем сытую жизнь у белоруса на голодное существование дома, лишь бы от него не зависеть, не видеть и не слышать его хамства и зверства. За год Виктор получал мешок муки, мешок крупы и два мешка картофеля. Мне за работу он давал ровно половину этого. Таким образом, наша семья в течение двух-трех месяцев подкармливалась нашим заработком. Раз в месяц из дому приходил старший брат Иван заменить меня на несколько дней. Хозяйка давала мне тайком буханку хлеба и кусок сала. Я несся с этими подарками домой и сразу кидался к маме. Она гладила меня по голове, и, прижавшись к ней, я чувствовал, как весь мир становился на мгновение светлым раем.

Зиму 1917-1918 года я провел дома. Несмотря на крайнюю бедность, маме удавалось устроить самое настоящее Рождество. Праздник был торжественным, и наедались мы тогда до отвала.

В селе к тому времени находилось человек десять немецкой охраны, в основном хромые, одноглазые и искалеченные войной солдаты. Бесследно исчезли надменные, сытые и важные, как гусаки, вояки начала войны. Вооружены они были по-прежнему до зубов и обирали население беспощадно, отправляя награбленное в Германию. Но их больше не боялись. По вечерам они ходили по селу без оружия, даже не подпоясавшись, и с удовольствием и завистью наблюдали, как подросшая за время войны молодежь устраивала вечеринку и парни залихватски кружили своих девок в польке или кадрили.

Однажды немцы исчезли, а через несколько дней в селе появилось два немецких юноши-кавалериста на худых лошаденках. Эти парни решили заночевать в сарае,

не требовали, как прежде, теплой хаты, яиц, молока, хлеба. Дело было перед Рождеством, мороз стоял тридцатиградусный. Собралось несколько сердобольных баб и решили, что нельзя позволить подросткам замерзнуть в сарае, ведь и у них, может, есть матери, которые теперь о них плачут. Прежде всего бабы притащили в сарай горячей похлебки, а потом чуть не за руки привели их в теплые хаты на ночлег. Так русская женщина отреагировала на многолетние ужасы оккупации.

После подписания Брест-Литовского мира в село по одному стали возвращаться демобилизованные солдаты. За несколько месяцев почти все забранные на войну сельчане вернулись домой. Ко всеобщему изумлению и радости село не потеряло убитыми ни одного человека. Наши сплетницы с нетерпением ждали драм в тех домах, где за время отсутствия хозяина произошло прибавление семейства. Однако ничего страшного не произошло, а в семействе кузнеца произошло просто нечто скандальное: кузнец, как оказалось, ничего против военнопленного не имел, и оба мужчины продолжали жить под одной крышей и, как уверяли сплетницы, поровну поделили права на кузнецову жену.

В селе никто точно не понимал значения того, что Литва стала независимой. Особенно потому, что несмотря на существование литовской вооруженной милиции, в городах и селах по-прежнему хозяйничали немцы. Кроме того, ходили тревожные слухи, что на Литву двигается Красная Армия. И действительно — в январе 1919 года Красная Армия ускоренным маршем стала продвигаться через Литву к немецкой границе. Я помню снежный день и конницу из пятнадцати верховых, пролетевшую через наше село, а за конницей пехоту, которая почти бежала бегом. Все, и старые и малые, высыпали на улицу встречать долгожданную армию. Священник стоял у дороги вместе с отцом, ветер раздувал сильно потертую рясу. Наконец-то мы дождались своих! Однако ни один из солдат не остановился не то что поговорить, а

даже воды напиться. Солдат подгоняли несколько человек в кожаных тужурках, покрикивая, чтобы торопились. Они и одеты были непривычно — в ватных стеганых брюках, обмотках, вместо шинелей — ватные зипуны, а на головах — шапки-ушанки с красными звездочками. После прохода этих войск мы поняли, что многое в России неузнаваемо изменилось.

На другой день кузнец созвал всех на сходку и без церемоний объявил себя старостой. Все вернувшиеся с войны солдаты его поддержали. Кузнец был пылким революционером и громил в своих речах помещиков, капиталистов и местных кулаков. Эти сходки происходили чуть не ежедневно, все переругались, перессорились и в конце концов окончательно перестали кому бы то ни было доверять.

Через некоторое время отец решил сходить в ближайшее местечко Ужвенты в надежде разузнать, что же происходит. Там он набрел на какое-то официальное учреждение, где ему немедленно предложили организовать школу и в качестве гонорара выдали большой лист с напечатанными на нем двадцатипятирублевыми ассигнациями, которые я должен был разрезать, чтобы получились деньги. Когда отец пришел домой, неожиданно появился кузнец и стал его агитировать поступить на службу к большевикам, в противном случае угрожая побоями. Отец, однако, не испугался и даже прикрикнул на наглеца. Затем отец показал кузнецу документ, который принес из Ужвент, объяснил о приказе открыть школу и пожаловался на отсутствие дров.

На следующий день ко всеобщему изумлению перед училищем остановились две подводы, доверху наполненные сухими березовыми дровами. Такой роскоши мы не видели все военные годы. Кто достаточно мерз, тот поймет, какое блаженство доставляет охапка сухих березовых дров. Оказалось, что по приказу кузнеца дрова эти, предназначенные для немецкой комендатуры в Ужвентах, взяли со склада.

Кузнеца на селе мало кто любил, но его слушались. По его совету пятеро молодых парней ушли в Красную Армию добровольцами. Получив дрова, отец быстро устроил классную комнату, хорошенько протопил ее и официально открыл школу. Наконец, после долгого перерыва, мы опять сели за парты, опять почувствовали себя нормальными детьми.

Вскоре на селе опять появился старшина, объявлявший раньше о независимости Литвы. Теперь, собрав сходку, он в сопровождении двух вооруженных литовских милиционеров поднялся на возвышение и объявил, что ему нужны добровольцы для защиты Литвы от большевиков, то есть от Красной Армии, что говорит он от имени министра литовского правительства, что добровольцам будут предоставлены различные привилегии, и что если никто не пойдет, то забирать будут силой. Добровольцев не оказалось. Кроме того, выяснилось, что советская власть на селе кончилась. У немецкой границы Красную Армию остановила и стала оттеснять на восток наскоро сформированная из немецких добровольцев армия генерала фон Гольца. В этой операции участвовали также литовские части "Укмерге" и "Паневежис".

Наш кузнец куда-то сразу же исчез. Потом говорили, будто он утонул пьяным в проруби. Сельчане мало о нем горевали, жена тоже особенного горя не проявляла — все знали, что у нее есть прекрасный заместитель, спокойный и добрый работяга. Позднее от дезертировавших из Красной Армии односельчан-добровольцев мы узнали, что кузнец стал там командиром пулеметного взвода.

Весной 1919 года, когда в Литве еще шли бои немцев, латышей и литовцев с Красной Армией и когда большевиков все дальше теснили к восточной границе Литвы, мы с Виктором обошли все окрестные деревни в поисках заработка. Так мы набрели на Посвайги, откуда уехали семь лет назад барчуками и куда вернулись ни-

щими. Крестьяне нас помнили, и я сразу же устроился пастухом к белорусу Подкотяре, а Виктор к богатому мужику рабочим. Семья Подкотяры относилась ко мне, как к родному. Хозяйка дала чистую сыновью рубаху, полотняные штаны и хорошие лапти. Я стал типичным крестьянским мальчиком.

В конце июля произошло событие, которое круто повернуло всю мою жизнь и жизнь Виктора и Ивана. В Литве начала формироваться русская добровольческая армия для борьбы с большевиками, полностью созданная на немецкие средства. Немцы хотели предохранить свои границы.

И вот в одно июльское воскресенье 1919 года в Посвайгах появился военный отряд из десяти человек во главе с офицером — отряд новой русской белой армии. Добровольцы носили немецкую форму с национальным русским треугольником из бело-сине-красной ленты и красные кавалерийские фуражки. Они прибыли в русское село, чтобы привлечь побольше добровольцев в новую армию. Отряд угодил прямо на вечеринку, где находился и я.

Добровольцы, угостив наших парней настоящими сигаретами, стали рассказывать, как выгодно мужчинам поступить в их армию. Кроме хорошего пайка и обмундирования, еще дают одиннадцать ост-марок жалованья в день (фунт хлеба в те времена стоил одну ост-марку) и по окончании войны, которая кончится не позже, чем через полгода, каждый доброволец получит тридцать десятин земли или денежное вознаграждение.

Я слушал, затаив дыхание. Потом набрался смелости и, страшно волнуясь, спросил офицера:

— С каких лет принимают добровольцев в армию?

Ответили: "С пятнадцати". И сразу задали вопрос, сколько мне лет? Я соврал, что пятнадцать, прибавив два года. И на вопрос, хочу ли стать добровольцем, с замиранием сердца, думая, что со мной шутят, попросил записать меня в армию. Офицер спросил, что скажут на

это родители? Но я снова соврал, что родителей у меня нет. Тогда мне велели приехать в следующее воскресенье в Благовещенск, где должны собраться новые добровольцы, и оттуда отправиться в кавалерийский полк в Куршаны. Боже мой, кавалерийский полк! Значит, и сапоги со шпорами! Давняя детская мечта!

Весь следующий день я провел как в бреду. В селе только и было разговору, что о добровольцах. Я еле сдерживался, чтобы не похвастаться, что меня записали в армию. Нужно еще как-то признаться Подкотяре, что я их оставляю, но боясь, что он запротестует или, чего доброго, сообщит обо всем родителям, я решил удрать, не сказав никому ни слова.

Но как это сделать? Ведь они относились ко мне лучше, чем к сыну. Хозяйка уже показала домотканое сукно, из которого осенью сошьет мне костюм, посадит, как было уговорено, на подводу и отвезет домой. Все же я решил бежать.

Во вторник рано утром, выгнав стадо на пастбище и отогнав подальше от посевов, я поставил свою деревянную обувь на видное место и пустился бежать босиком в Благовещенск, который находился отсюда в тридцати километрах. К вечеру, еле передвигая исцарапанные ноги, я наконец добрался до дому. Все испугались, когда меня увидели. Я опять наврал, что у меня очень болит живот, и отпросился на неделю домой. Родители наверняка не поверили моим россказням и решили, что я поссорился с Подкотярой.

На этот раз меня не радовали, как прежде, дом, родители, сестры и братья. До прихода добровольцев оставалось еще пять дней, и я, чтобы как-то скоротать время, решил навестить младшего брата Платона, который батрачил все у того же злого белоруса Пелюшенки. Мы встретились в поле и очень обрадовались друг другу. Платону почудилось, что я пришел заменить его на несколько дней, и он собрался вприпрыжку пуститься домой. Я ему поведал свою тайну, и он очень долго не

мог ничего сообразить. Какие добровольцы? Какая армия? Зачем в армии пастухи? Но когда я рассказал, что через несколько дней у меня будет военная форма, сапоги со шпорами, сабля и винтовка, он посмотрел на меня с завистью. Пообещав, когда вернусь в отпуск, привезти ему настоящие сапоги, две ручные гранаты и много денег, я распростился с Платоном и пустился в обратный путь. На этот раз я не нес с собой буханки хлеба и куска сала — подарков семье от доброй жены Пелюшенка.

Наконец, в субботу появился отряд добровольцев. Я встретил их как лучших друзей, а они меня еле узнали. Однако, моя фамилия числилась в списках новых добровольцев. Воскресенье прошло, как по расписанию. Добровольцы, щеголявшие обмундированием, пришли в церковь на богослужение, и батюшка в проповеди советовал всем, кто может, идти с добровольцами защищать интересы русского народа. Добровольцы щедро за все расплачивались настоящими ост-марками. Угощали мужиков папиросами, а девок конфетами. К вечеру веселой толпой отправились на озеро, где зимой немцы застрелили Дудкова. Один из добровольцев бросил в озеро ручную гранату, и от взрыва на поверхность всплыла масса оглушенной рыбы. Ее быстро собрали в ведро и вечером варили уху для всех желающих.

После подсчета вновь записавшихся оказалось, что их не более пятнадцати человек, включая меня, а отряд был откомандирован в надежде привлечь в армию больше ста человек. Было сказано, что следующим утром, ровно в семь часов, отряд отбудет к месту пребывания полка, в город Куршаны.

Рано утром я подошел к маме, сказал, что должен идти, поцеловал ей руку и выскочил из дома. Мама послала вдогонку брата Ивана, чтобы я вернулся позавтракать, но я уже сидел в телеге, нанятой добровольцами для перевозки оружия в Куршаны. Иван стал громко кричать:

— Колька, слезай с телеги! Иди домой! Мама зовет!

Но никто не обратил на него внимания, и отряд добровольцев двинулся в поход. А я смотрел на брата, пока не потерял его из виду. С этим отъездом началась новая страница моей жизни.

В АРМИИ

Отряд лишь поздно вечером дошел до деревни под Куршанами, где формировался кавалерийский полк имени генерала Алексеева. Утром нас опять записали в какие-то книги и после регистрации отправили на склад для получения обмундирования. В большом сарае высились горы сапог, брюк, мундиров, шинелей, касок и нижнего белья. Это было ношенное обмундирование не-мецкой пехоты, но у нас глаза разбежались. Я сейчас же бросился к сапогам, так как поступив в армию, стал очень стыдиться своих босых ног. Сапоги оказались всех размеров и качеств, но ни один не подходил в пару к другому. Мне пришлось здорово попотеть, пока я нашел подходящую пару. Все брюки и мундиры оказались мне велики, но я тут же получил предложение за первую получку перешить мне обмундирование по росту. Пока же пришлось напялить мундир, рукава которого доходили мне до колен, а когда я надел шинель, то вместо бравого воина стал похож на огородное чучело. Но я не унывал...

После обеда нас выстроили для присяги и к новобранцам вышел сам командир полка, одноглазый полковник Рощин. Это был настоящий офицер-кавалерист, каким я его себе представлял. Стройный, уже седой, с черной повязкой на глазу, которая придавала ему вид закаленного в боях воина. Он объяснил цель нашей службы, и мы повторили за ним присягу.

Однако настоящие трудности ожидали впереди, когда вахмистр, тоже типичный кавалерист, с лихо закрученными и доходящими почти до ушей усами, стал отдавать команды: ”Смирно!” и ”По три рассчитайсь!”,

стараясь придать голосу свирепый оттенок. С горем пополам мы выполняли его команды и наконец, подпрыгивая, чтобы попасть в ногу, нестройными рядами двинулись получать оружие.

В сарае, который служил арсеналом, лежали винтовки, тяжелые сабли, ручные гранаты, в углу стояли пики. Мы получили также тяжелые ранцы, патронташи, одеяла и котелки. Не хватало только лошадей, чтобы чувствовать себя настоящими кавалеристами. Но лошади вскоре должны были прибыть из Германии, а пока я повесил на себя полученное богатство и стал похож на бронепоезд. Чрезвычайно довольный собой, не обращая внимания на шутки и смех окружающих, я вышел из сарая. Но тут меня подозвал небольшого роста офицер, командир эскадрона ротмистр Иличек. Он объявил, что по утрам я должен проходить строевые занятия, после чего буду у него денщиком, а по вечерам вестовым. Должность денщика мне очень не понравилась, но делать нечего. Моя мечта исполнилась, я стал настоящим вооруженным до зубов солдатом. Правда, не было шпор, но они бы и не подошли к немецким пехотинским сапогам. Моя служба в армии началась!

Через две недели меня ожидала большая неожиданность: в наш полк поступили добровольцами мои братья Виктор и Иван, наш благовещенский священник и еще полдюжины парней, которые уже побывали добровольцами в Красной Армии, бежали оттуда и, не пользуясь симпатией нового литовского правительства, решили поступить в белую армию. Теперь, когда мы втроем находились в армии, мы решили копить жалованье, чтобы отдать отцу деньги на покупку дойной коровы. Нашу любимицу Милку два года назад пришлось продать мяснику, так как она перестала давать молоко.

Сентябрь подходил к концу, но добровольцев в нашем полку не прибавилось. К тому же обещанных лошадей все еще не было. Наш полк состоял в основном из бывших в германском плену военнопленных, много вое-

вавших и прошедших все ужасы плена. Полковника Рощина заменил полковник Марков, тоже русский кадровый офицер, но у добровольцев он большим авторитетом не пользовался. Новый помощник командира полка полковник Пенковский тотчас взял полк в свои руки. Это был человек неопределенного возраста и национальности, говоривший на многих языках, одетый в английскую военную форму. Послан он был, кажется, генералом Юденичем личным представителем при штабе Бермонта. Как он оказался в нашем полку? Наверное из-за своих политических убеждений: он много говорил о социал-демократизме.

Командиры нашей армии, генералы Бермонт и Верголич, не признали Литовскую и Латвийскую республики независимыми и очень свободно чувствовали себя на их территории. Это немедленно вызвало острые конфликты с объединившимися для борьбы с Красной Армией литовскими и латвийскими патриотами. Им приходилось воевать на своих границах с Красной Армией и внутри республики с русскими добровольцами, которые не хотели признавать независимость прибалтийских республик.

В конце сентября нас перевели из Куршан в Шавли, где наш полк немедленно обезоружил литовский гарнизон и занял его казармы, отправив разоруженных литовцев по домам. После чего добровольцы отправились на продовольственный склад и разграбили его до последней консервной банки. У литовских солдат оказались американские, да к тому же высшего качества консервы, сгущенка, мясо, чай, кофе и сахар.

В Шавли с большими трудностями наконец добрался отец. Встреча с ним была очень радостной и трогательной. Он рассказал, что всего в километре от Шавлей находятся вооруженные литовские части, очень обозленные на наших добровольцев. Мы отдали отцу все сбережения и расстались, беспокоясь о том, как он доберется домой.

В это время армия князя Авалова-Бермонта насчитывала двенадцать тысяч человек, а у немецкого генерала фон дер Гольта было сорок тысяч немецких добровольцев. Вместе обе армии оказались сильным противником, бороться с которым литовские и латвийские гарнизоны были не в силах. Поэтому они попросили помощи у союзников, Англии и Франции. Тогда фон дер Гольту приказали убрать свои войска в Германию, а армии Бермонта немедленно идти на соединение с армией генерала Юденича, штаб которого находился в Нарве. Но немецкие части возвращаться в Германию не спешили, только фон дер Гольт был отозван, а на его место приехал генерал Эберхардт, который сразу же отдал всех своих добровольцев под командование Бермонта.

8 октября войска Бермонта через Латвию выступили на соединение с Юденичем. Но поскольку Бермонт не признавал независимую Латвийскую республику, латыши решили преградить ему путь возле Риги. Подходившие к Риге передовыс части Бермонта были встречены пушечным огнем вошедшего в Рижский порт английского крейсера.

Таким образом, соединение с Юденичем было приостановлено. А в это время его войска подходили к предместьям Петрограда и если бы вовремя получили подкрепление, то судьба Петрограда, возможно, была бы решена иначе.

Французский генерал Ньесель, приехавший в Шавли, предложил Бермонту немедленно эвакуировать войска в Германию. Пока шли переговоры, нам перестали выдавать паек и платить жалованье в ост-марках. Мы получали ассигнации, выпускаемые самим Бермонтом, и хотя по всему городу расклеили плакаты, объявляющие о том, что пренебрежение этими ассигнациями и их подделка караются смертной казнью, брать их никто не хотел.

Эшелон за эшелоном потянулись войска Бермонта в Германию, в первую очередь, конечно, немецкие части.

В начале декабря эвакуировался и наш полк. В Тильзите, куда пришел наш эшелон, на запасных путях собралось более десятка составов с бермонтовскими добровольцами. Нас выстроили перед французским генералом, который на ломаном русском языке предложил всем желающим воевать в рядах белой армии отправиться морским путем из Данцига для соединения с армией барона Врангеля.

Все, кто не хочет воевать, отправляются в Восточную Германию в лагерь Антиграб для ожидания конца гражданской войны в России. Офицеры нашего полка выразили желание продолжать борьбу с большевиками, и наш эшелон двинулся в Данциг. Но до отправления мы успели сбегать в вокзальный буфет и скупить все имеющиеся там товары. В тильзитском буфете бермонтовские ассигнации принимали за настоящие. Наш эшелон всю ночь шел в Данциг, а мы с большим азартом играли в карты и расплачивались друг с другом бермонтовскими ассигнациями, бесцеремонно вытаскивая их из ранца пьяного, крепко спавшего полкового казначея.

Ранним декабрьским утром мы открыли дверь вагона и увидели огромные подъемные краны данцигского порта. Полк повели к бывшему лагерю для военнопленных Троиль, рассчитанному на десять тысяч человек. Лагерная прислуга, мало разбираясь в том, кто мы такие, расквартировала нас в деревянные бараки, выдав тюфяки и подушки, набитые деревянной стружкой. После холодной бани нас выстроили в очередь перед кухней и стали с прибаутками и казенными шутками разливать в котелки какую-то бурду из брюквы. Повара очень удивились, когда увидели, как мы, попробовав, сейчас же выплескивали на землю произведение их кулинарного искусства.

В бараках было очень холодно, несколько электрических лампочек еле-еле светили, маленькая железная печурка совсем не давала тепла. Мы разместились на двухэтажных койках, пытаясь кое-как согреться. Вече-

ром явился старый немец с винтовкой и в длинной шубе — лагерная охрана, — скомандовал по-немецки всем ложиться спать, уселся поудобнее на стуле и выключил свет. Нас возмутило поведение лагерной прислуги и, как только старый немец выключил свет, его подхватили вместе со стулом и винтовкой и вынесли из барака. Мы заперли дверь и снова включили свет. Немец за дверью выкрикивал проклятья всему русскому народу, но войти в барак не пытался. Вдруг лампочка снова потухла — видно, немец выключил электричество на лагерной станции.

По утрам нам давали какую-то темную жидкость, называемую кофе, и сто граммов хлеба, а по вечерам розоватого цвета похлебку из брюквы. Начались нудные однообразные дни. Лагерь был обнесен высоким проволочным забором, и единственным развлечением было наблюдение за внешним миром. Мы находились на берегу Вислы, неподалеку от места, где река впадает в Балтийское море. На противоположном берегу возвышались дома Данцига. Мы наблюдали за снующими по воде катерами, за буксирами, тащившими тяжелые баржи, за маленькими пассажирскими пароходиками. Несмотря на пронизывающий ветер, всем было очень интересно наблюдать не знакомую нам жизнь.

Мы, молодежь, сейчас же обследовали лагерь. Последнюю партию военнопленных отослали на родину полгода назад. За лагерем располагалось огромное кладбище. На каждой могиле стоял небольшой деревянный крест с фамилией и днем кончины пленного. Здесь лежали тысячи русских солдат, умерших от истощения, измученных холодом и лишениями. Это кладбище нас потрясло. Рядом с баней мы обнаружили помещение с огромным количеством поношенных русских гимнастерок, брюк, стоптанных сапог и две огромные печи, подобные крестьянским, в которых пекут хлеб, но неимоверной величины. В них последние годы немцы сжигали трупы умерших русских военнопленных. После увиден-

ного всем казалось, что и нас ждет здесь такая же участь.

Однажды наше внимание привлек какой-то склад, который охранялся сторожем-немцем, но по ночам сторож уходил. В одну из ночей мы залезли в склад через окно на крыше. Он оказался полным новыми теплыми вещами, одеялами, теплой обувью. Это была помощь от международного Красного Креста русским военнопленным, которые ничего, конечно, не получили.

Раз в неделю нас выпускали в город на пару часов. И каждый из нас, обмотавшись одеялом, украденным со склада, надев сверху старую шинель, беспрепятственно проходил сторожевой пост. Переправившись катером через канал в город, мы продавали или обменивали одеяла на вещи и еду.

Приближалось Рождество, и чтобы как-то успокоить начинающих бунтовать добровольцев, наше начальство решило выплатить им деньги. Продали всех лошадей, прибывших с нашей частью из Литвы, а деньги разделили между офицерами и солдатами. Офицеры, конечно, получили вдвое больше, но и каждый доброволец получил двухмесячное жалованье, причем настоящими деньгами, которые имели официальное хождение в городе. Стража в лагере почему-то была снята на этот раз, и вскоре весь полк оказался в городе. Сразу устроили длинную очередь у дома терпимости, оттуда разбрелись по пивным, и к вечеру местная полиция свозила к катеру для отправки в лагерь наше непобедимое воинство с разбитыми в пьяных драках носами.

Но и те, которые не пошли в город, приняв максимальные дозы алкоголя, устроили в лагере настоящий погром, выбили в пустых бараках окна, пытались поджечь помещение лагерной администрации и кухни, повалили часть проволочного ограждения. С нами в лагере находился походный лазарет с четырьмя русскими сестрами милосердия. Они расположились в отдельном бараке и занимали умы и сердца всего лагеря.

Этим вечером из-за одной из сестер учинили крова-

вую драку и корнета Моисеенко ударили ножом под левое ребро. Он лежал на столе в нашем холодном бараке, а вокруг суетились еле стоящие на ногах пьяные солдаты. Кто-то выбегал за свежим снегом и прикладывал его ко лбу Моисеенки, совершенно посиневшего от холода. Кто-то со страшной руганью бросался искать виновника. К утру из города пришла машина скорой помощи и увезла пострадавшего в городской госпиталь, где его поместили в палату вместе с немецкими изувеченными на войне солдатами. Я несколько раз его навещал. Он любил нашу компанию подростков, и мы считали его скорее своим приятелем, чем офицером полка. Моисеенко благополучно поправлялся. С ним в палате находилось более пятидесяти человек, изуродованных до такой степени, что трудно было поверить, как еще теплится жизнь в этих обрубках. Их вид леденил кровь. Безрукие, безногие, слепые, лежащие только на животе или на спине, бедные страдальцы ожидали конца своих мук. Многие лежали здесь с самого начала войны, уже шестой год.

Благодаря хлопотам наших командиров перед городскими властями Данцига, нам стали выдавать каждый день сто граммов сухой колбасы, такой твердой, что ее нужно было рубить топором. И еще нам прислали два грузовика обмундирования. Небольшими партиями прибывали морем из Эстонии остатки армии Юденича. Они выглядели настоящими оборванцами. Главной причиной их разгрома оказалась эпидемия тифа, свалившая, по их рассказам, чуть ли не всю армию в самый разгар решающих боев на окраинах Петрограда.

Однако вернемся к обмундированию. Это была довоенная парадная форма трех немецких кавалерийских полков: уланского, драгунского и гусарского, квартировавших в окрестностях Данцига. Не успели грузовики въехать в лагерь, как толпа вояк в мгновение их опустошила. Мне удалось выхватить два мундира и пару шаровар. Один — драгунский, голубой, с красной грудью, красным воротником и красными обшлагами, был пре-

делом моей фантазии. Второй мундир, который я схватил для Моисеенки, был черного гусара, из великолепного черного сукна, расшитый белыми шнурами.

На следующий день мы с приятелем, тоже подростком, отправились в госпиталь навестить Моисеенку. Приятель был облачен в уланский мундир, зеленый с желтым. Увидев нас, Моисеенко залился хохотом. Не в силах остановиться, он хохотал до слез. Но совсем иное впечатление мы произвели на больных и раненых немецких солдат. Все они очень внимательно и торжественно рассматривали и трогали наши мундиры. Вероятно, многие из них, будучи до войны здоровыми и жизнерадостными, сами носили эту форму. Я почувствовал, что своими мундирами мы напомнили этим несчастным то хорошее и счастливое, что никогда больше к ним не вернется.

Через две недели, когда корнет Моисеенко, поправившись, уходил из госпиталя в мундире черного гусара, он трогательно попрощался с обреченными страдальцами.

После нескольких дней бешеного разгула лишь у немногих сохранились деньги. Все притихли и стали добрее, словно и не было погрома, пьяного разгула и драк. Теперь всем лагерем с утра до ночи стали играть в лото. По утрам у походного госпиталя выстраивалась длинная очередь. Это весело проводившие время добровольцы теперь залечивали приобретенные венерические болезни.

Приблизительно в середине февраля, в студеное утро, мы обнаружили в канале два обледеневших английских крейсера. Помня, как чуть больше двух месяцев назад они угостили нас под Ригой, нам очень хотелось поскорее скрыться от торчащих во все стороны пушек. Вдруг, не разобравшись после морской качки, сдуру пальнут по не известному для них войску. Потом выяснилось, что английский оккупационный корпус выгрузился в данцигском порту и занял бывшие казармы. Полковника Пенковского, который говорил на всех языках, немедленно снарядили для переговоров с англи-

чанами о помощи. Мы мечтали добраться до юга России, где с большевиками все еще сражалась белая армия. Полковник Пенковский был сейчас нашим командиром полка вместо полковника Маркова, который куда-то уехал с женой и уже не вернулся обратно.

Англичане предложили Пенковскому плыть в Лондон и там хлопотать о нашем будущем. На другой день, впервые за два месяца пребывания в лагере, наш полк выстроился в две шеренги во дворе перед бараками проводить своего командира. Все старались быть максимально подтянутыми, чтобы он видел, что полк у него еще есть и пойдет за ним в огонь и в воду. К лагерю подкатил быстроходный английский катер, чтобы забрать Пенковского на крейсер. Из катера высыпало человек десять английских офицеров и военных корреспондентов, начищенных, напомаженных. Они сразу стали нас фотографировать и, забыв о хорошем стиле офицера-джентльмена, над нами хохотать. Особенно их забавляли немецкие мундиры разных кавалерийских полков. Для них мы казались шутами, которые вырядились для карнавала.

Наконец, мы дождались возвращения из Лондона нашего командира. Вместе с ним прикатило несколько грузовиков с английским, совсем новым, добротного сукна обмундированием и продовольствием. Нас облачили в английскую форму и стали давать полагавшийся английскому солдату продовольственный паек: белый хлеб, мясные консервы, варенье, фрукты, сигареты. Мы не могли поверить, что английских солдат так хорошо снабжают. В Германии тогда свирепствовал жуткий голод. Я своими глазами видел, как матери подталкивали дочерей к английским солдатам, чтобы заманить их к себе и за особенные услуги дочери получить от англичанина что-нибудь съестное. Начищенные солдаты-денди разгуливали вечерами по городу, насвистывая модные песенки, держа в одной руке короткую бамбуковую трость, а в другой — пакет с консервами. Им никто не за-

прещал делиться пайком с голодающим населением. Ведь это было так гуманно!

Сейчас наши командиры пытались сделать из бывшей кавалерийской части пехотную. Нас оставалось всего сто пятьдесят человек с двадцатью офицерами. Многие разбежались. Нас стали ежедневно строить на занятия, и мы маршировали внутри и вокруг лагеря. Снова нам выдали винтовки, которые хранились на специальном складе. Англичане дали флейты и четыре барабана. Меня и брата Ваню заставили срочно учиться играть на флейте. Дело быстро пошло на лад, и через неделю мы маршировали во главе отряда, бодро высвистывая наш скромный репертуар.

Был назначен срок, когда весь отряд должен был маршировать в присутствии английских и французских офицеров. В этот день мы блестяще маршировали во всех вариантах. Но назавтра нам предложили снова сдать оружие и объявили, что англичане берут нас как свою нестроевую часть. Отныне мы выполняли физическую работу на складе, в госпитале и в комендатуре.

Офицерам, которые не хотели работать наравне с солдатами, французская военная миссия в Данциге предолжила поступить во французский иностранный легион. Наш приятель Моисеенко, и еще двенадцать молодых офицеров нашего полка поступили в легион, сразу же отбыли в Африку, и больше мы о них ничего не слышали.

Пришла теплая весна, а за ней и лето 1920 года. По воскресеьям, чтобы не попадаться на глаза английской военной полиции, которая за плохо вычищенную пуговицу сажала в комендатуру, мы шли в лагерь. Там оставалось несколько старших офицеров, наш командир Пенковский и группа солдат. Англичане выдавали нам нечто подобное жалованью, и мы, вернувшись в лагерь, сутками играли в карты. Один мерзкий случай, который тогда произошел, я не могу забыть до сих пор.

Под вечер мы пришли в лагерь, предвкушая игру в карты. Появилась группа старших солдат и с ними очень

миловидная немка, потерявшая на войне мужа. Она предложила солдатам стирать белье за консервы или хлеб. Те устроили попойку, предложили вдове выпить, но когда она собралась уходить, пьяная компания закрыла двери. На ее мольбы и слезы никто не реагировал. Нас, троих подростков, которые заступились за несчастную женщину, вытолкали из барака. Всю ночь пьяная компания насиловала немку, а утром ее вынесли и бросили в дровяной сарай. Мы с братом переночевали в другом бараке. В полдень мы обнаружили в сарае несчастную вдову. Она нам улыбнулась, но встать не могла. Кое-как мы ее накормили и с большой предосторожностью, чтобы офицеры не узнали об этом диком поступке, унесли женщину и оставили за забором лагеря. Она пролежала там несколько часов и только к вечеру, цепляясь руками за проволоку, побрела к городу.

ФРОНТ

Стояло теплое, сухое лето 1920 года. В это время Данциг был особенно возбужден войной между молодым польским государством и Красной Армией. Данцигский порт забили суда союзников. Американские корабли привозили добровольцев, американцев польского происхождения, оружие и паровозы, которые сейчас же уходили к Варшаве. Где-то недалеко от Варшавы произошел прорыв Красной Армии под командованием Буденного. Опасность заключалась в том, что если Красная Армия попадет в Германию, то измученная, голодная, проигравшая войну страна могла, не задумываясь, поднять красный флаг. Эта новость эхом отозвалась не только в порту Данцига, где все заработало в двойном темпе, но и в самом городе. Данциг приобретал тогда независимость свободного города, и на призыв Польши о помощи в борьбе с Красной Армией откликнулось

много живших на тогдашних немецких территориях поляков.

К концу лета пустующие лагерные бараки заняли американцы для устройства пересылочного пункта из Польши в США. Пароходы, возвращающиеся в США, увозили эмигрантов, американцев польского происхождения, инвалидов, пострадавших на фронте. Все отъезжающие радовались. Брат Иван познакомился с прелестной пятнадцатилетней паненкой, дочерью польских эмигрантов. Спустя некоторое время они гуляли вечерами вместе, а я безумно завидовал брату.

Мы по-прежнему работали при английской военной части, но в середине сентября все изменилось. Часть переводили из Данцига в Константинополь, и англичане оставили у себя на службе всего пятерых человек из нашего отряда. Остальных посадили в пассажирские, третьего класса вагоны и объявили, что отправят через Польшу на Волынь, где создается третья русская добровольческая армия генерала Врангеля. С нами оказалось всего четверо бывших офицеров. Отсутствие остальных офицеров и командира полка сейчас же привело всех в панический ужас, и не успел поезд тронуться, как наши вояки стали выпрыгивать в окна вагонов. Среди них был и брат Виктор. Беглецы, а их было человек двадцать, скрылись в направлении города.

Наши вагоны прицепили к товарному поезду, который двигался крайне медленно. Нас не кормили, и на каждой остановке солдаты отправлялись на поиски съестного. Крали все, что попадало под руку. В особенности доставалось фруктовым садам и огородам.

На одной из станций наши вагоны прицепили к поезду, направляющемуся во Львов. Потянулись картины недавних боев поляков с красными, разбитые станции, сожженные деревни, изрытые окопами поля и лагеря, в которых за колючей проволокой держали оставшихся пленных красноармейцев.

Наконец, ранним утром наши вагоны остановились

на пограничной станции Подволочек, разделяющей Польшу и Украину. Польша только что заключила перемирие с Совдепами, и польские солдаты выглядели ликующе и победоносно. Нас немедленно переправили пешком через железнодорожный мост на станцию Волочийск, занятую Петлюрой и нашими добровольцами из третьей армии генерала Врангеля. Станция Волочийск, уже территория Украины, была забита беженцами, старающимися перебраться в Польшу. В здании вокзала среди лежащих в тифозном бреду, снующих озабоченных петлюровских солдат и добровольцев, мы, в наших английских мундирах и хороших ботинках, выглядели воинством инопланетян.

Офицер в черкеске и стоптанных сапогах, появившийся неведомо откуда, объявил, что наш отряд назначается отдельным эскадроном при штабе армии генерала Палена. И уже через час мы, обвешанные патронташами, гранатами и винтовками, увязая по колено в грязи, двинулись по направлению к штабу. Меня назначили сопровождать запряженный волами воз, на который водрузили штабные ящики и пулеметы.

Наш путь лежал через большое село, занятое петлюровцами. Здесь мы вынуждены были остановиться, так как в центре села происходило какое-то собрание. На высоком пороге хаты стоял огромного роста петлюровец, с шевченковскими усами, в форме гайдамака, и говорил о чем-то необыкновенно красочно и вдохновенно. Его окружали пешие и конные гайдамаки, поддерживавшие оратора с большим энтузиазмом, и несколько музыкантов с заплесневелыми медными трубами. Их вид очень напоминал картину И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Однако, речь скоро закончилась, оркестр фальшиво грянул марш, и нашему возу дали дорогу. Проезжая нескончаемым селом, напоминавшим иллюстрации к "Ночи перед Рождеством" и "Тарасу Бульбе", я, не замечая того, что почти по колено проваливаюсь в грязь,

ушел мыслями в прошлое. Хотелось сравнивать все, что помнилось из прочитанного об Украине, где вишневые деревья росли на каждом шагу и стоило протянуть руку, чтобы отправить в рот горсть сочных вишен. А еще Гоголь писал о галушках в сметане, которые сами прыгали прямо в рот. В этот тоскливый осенний день я решил, что и Пушкин, и Гоголь, описывая Украину, меня здорово подвели, в особенности насчет галушек в сметане. Не прошло и двух недель, как мы покинули красивый чистый Данциг. Я вспоминал нарядных чистых людей на его улицах и франтоватых английских офицеров. Боже! Какая разница! Здесь совсем неподалеку линия фронта, слышны орудийные выстрелы, идет гражданская война. Воюют белые с красными, русские с русскими, украинцы с русскими. Царит озлобление, ожесточенность, голод и тиф. Уже сегодняшним утром, перейдя границу, по гнетущей атмосфере можно было догадаться, что борьба с красными идет к трагическому концу и для нас, и для украинцев.

Поздно ночью, еле передвигая ноги, волы остановились возле большого дома со слабо освещенными окнами, где находился штаб Третьей армии генерала Врангеля. Утром я поплелся разыскивать наш отряд. Наконец нашел хату, в которой ночевал брат Иван. Он сразу же спросил, нет ли у меня хлеба. Этот же вопрос я намеревался задать ему. Но уже через час мы сидели в сарае, где расположилась походная кухня, и большой компанией чистили картошку. А еще через два часа наш повар-латыш, бывший с нами в Литве у Бермонта, наварил супу по две порции на человека.

Новый командир эскадрона, ротмистр барон Гегенменстр оказался энергичным и веселым человеком. Уже на следующий день он разбил нас на взводы. В пятый пулеметный взвод предложил вступать по личному желанию, но никто из опытных вояк такого желания не выразил, зная, как красные относятся к пленным пулеметчикам. К тому же постоянно таскать пулемет на спине —

тоже удовольствие небольшое. Тогда ротмистр назначил самых молодых, в том числе и меня, первыми номерами при каждом пулемете. А вторыми и третьими номерами — бывших в польском плену красноармейцев, которые пристали к нам в Польше, на пути из Данцига. У нашего командира поручика Вольфа на плечах химическим карандашом были нарисованы погоны с тремя звездочками. Ветераны боев с красными считали, что все бывшие красноармейцы в первом же бою повернут пулеметы против нас и забьют по большому гвоздю в каждую звездочку на плечах поручика. Ветераны Юденича сразу же невзлюбили бывших красноармейцев. А те невольно сплотились и держались отдельно своей группой.

Я со своими номерами вторым и третьим и пулеметом и мой земляк-одногодок Малокостенко поместились в большой хате, где жили старик со старухой. Бывшие красноармейцы сразу же расположили к себе хозяев хаты и стали желанными гостями, а мы с Малокостенкой оказались лишними. Мы еще и часа не пробыли в хате, а старуха уже варила в печи картофель, искусно поддерживая огонь ловко сворачиваемыми соломенными жгутами. У нас в Литве не знали, что можно топить печь таким способом, и часто, имея достаточно соломы, замерзали от холода.

Если бы наши добровольцы могли так легко располагать к себе местных крестьян, как эти бывшие красноармейцы! К сожалению, это не получалось. Когда картошка сварилась, бывший красноармеец разделил ее на шесть равных порций. Мы внимательно следили за тем, чтобы дележ был произведен по-солдатски честно. Никто не притронулся к своей порции, пока тот же стар-шай не пошел к старухе и воркующим баском не раздобрил ее выдать немного соли, спрятанной где-то за печью. Я переглядывался с Малокостенкой и, пожалуй, думали мы об одном - сколько у бывших красных дисциплины, уважения к старшим и терпения по сравнению с нашими либеральными добровольцами. К ве-

черу я у этих ''старших'' стал мальчиком на побегушках. Постоянно слышалось:

— Колька, сходи за водой, Колька, сходи узнай, в какое время начнутся занятия, Колька, принеси побольше соломы для бабушки!

Но я не обижался: раз они делили со мной еду поровну, значит, я был для них равным.

Время от времени доносилась отдаленная канонада, фронт неумолимо приближался. У штабных офицеров были озабоченные, усталые лица. По утрам мы тащились с пулеметами за село на занятия по стрельбе в мишень. Более десятка патронов на стрельбу не давалось. Я редко попадал в цель, и как-то раз, когда наш командир, поручик Вольф, от нас отошел, мой второй номер Сергей всадил за меня в цель всю очередь из десяти патронов, сказав, чтобы я никому об этом не говорил.

Под вечер я обычно отправлялся к огромному колодцу, куда будто бы ''за водой'' собирались местные девчата. И тут я увидел, что описание красоты хохлушек в моих книгах не было преувеличено. Черные, как угли, очи, дугообразные брови, стройные ножки в сапожках, веселый певучий щебет и хохот зачаровывали меня. И не только меня. В это время к колодцу собиралась большая компания солдат и офицеров. Причем, я уверен, все тайно надеялись на то, что у какой-нибудь из девчат вот-вот распахнутся полосы плахты и будет видна ножка выше колена.

Брат Ваня был назначен посыльным при канцелярии графа Палена. Я ходил навещать его, и от всего виденного и слышанного при штабе даже нам молодым делалось не по себе. Несколько раз меня назначали в караул охранять какой-то вагон, стоявший на запасном пути станции Волочийск. Нужно было идти пятнадцать верст до станции, оставаться без еды на сутки в карауле, и утопая по колено в грязи возвращаться обратно. Станция была забита эшелонами, привозившими петлюровцев. Еще больше стало беженцев, мечущихся и не знающих, что делать дальше.

В одно прекрасное утро прозвучал сигнал тревоги. Эскадрон особого назначения (наша часть), все вооруженные части и офицерская рота отправлялись, чтобы сделать заслон прорвавшимся через петлюровский фронт красным. Вечером мы пришли в большое село, а в соседнем селе уже были красные. Не успел я присесть в теплой хате, как командир отряда приказал установить пулемет в версте от села, в котором мы остановились. Пришлось нам с Сергеем и Александром отправляться в путь в сопровождении какого-то капитана из офицерской роты. Он приказал устроить засаду на маленьком холмике и оттуда наблюдать. Появившихся красных встретить пулеметным огнем, а одному из нас бежать в село с докладом о виденном. Темная украинская ночь опустилась на землю, и не успел капитан скрыться, как Сергей сразу заговорил:

— Колька, пойдем с нами к нашим, тебе ничего не будет, мы за тебя заступимся, там все в порядке, кто был ничем, тот станет всем.

Но у меня глаза слипались от усталости, и я, уже ничего не соображая, слушал речи Сергея.

Внезапно с дороги послышался шум. Мы совершенно ясно услышали, как пехотинская часть и несколько всадников шли по направлению к нашему селу. Вдруг Александр закричал:

— Серега! Там наши идут! — И они с криком: — Стой! Свои! Свои! — бросились вниз. Меня как кипятком ошпарило. Выхватив из пулемета затвор и взвалив за спину отяжелевшую винтовку, я пустился бежать, направляясь на запад, инстинктивно чувствуя, что это единственно правильный путь. Я шагал вспаханными полями, проклиная прославленный украинский чернозем, и к вечеру увидел какое-то село. На улице горели костры, у огня грелись солдаты нашего знаменитого эскадрона особого назначения. Это село было пограничным и располагалось на берегу крошечной речушки, разделявшей Украину и Польшу. На мой вопрос, где генерал Па-

лен и штаб армии, в котором служил брат, мне ответили, что видели здесь штабных офицеров, но командир армии еще не появлялся.

Пошел снег. Я трясся всем телом и никак не мог согреться у дымившего костра. Кто-то отвел меня в большую, теплую хату. Хозяйка, сердобольная баба, что-то варила в печи и заливалась слезами от жалости к нам. Наконец, она вынула из печи горшок с вареной картошкой и поставила его на стол со словами: "Кушайте, родные". Но тут один из солдат ловко уложил ее на широкую кровать и сам полез туда, предварительно сняв сапоги. Он не оставался там долго, вероятно хотел успеть отведать вареной картошки. Меня продолжало трясти, и хозяйка с постели простерла ко мне руки со словами:

— Иди ко мне, мое децко, я тебя отогрею!

Я кое-как стащил сапоги и забрался на высокую кровать. Она стала меня гладить и причитать что-то очень нежное. От ее тела шел жар, согревавший лучше любой печки. Большая обнаженная грудь прижалась к моей щеке. Сначала я почувствовал себя маленьким и очень несчастным, но постепенно ощутил какое-то новое, дотоле совершенно не знакомое мне чувство. Озноб исчез, и теперь мне хотелось гладить женщину и ее утешать, потому что она все еще потихоньку всхлипывала.

Вдруг на дворе послышались крики и беготня. Доедавшие картошку солдаты бросились на улицу. Мне не хотелось отрываться от теплого и необыкновенно приятного тела хозяйки, но делать было нечего. Я соскочил с постели, кое-как натянул мокрые сапоги и тоже вышел на улицу. Внимание всех было приковано к конному отряду гайдамаков, только что вырвавшихся из окружения красных. Все они были необычайно возбуждены и все еще размахивали окровавленными саблями. Внезапно они обнаружили, что среди них нет командира. Значит, красные взяли его в плен. Сейчас же решили скакать обратно на выручку. Засвистели нагайки, и гайдамаки с гиком, пустив уставших лошадей в галоп, снова броси-

лись в бой. С другой стороны села приближался воз. Я разглядел брата Ивана, который вел под уздцы белую лошадь. На возу лежал мертвецки пьяный граф Пален. Офицеры подняли его на руки и почти бегом понесли к мосту, ведущему на польскую территорию. Только сейчас я осознал, какой опасности подвергался Иван, всю ночь тащивший пьяного генерала к польской границе. Плача от радости, что увидели друг друга живыми и здоровыми, мы с братом бросились через мост за офицерами. Почти все добровольцы были уже здесь. Они бросали оружие в кучу, а польские солдаты приказывали немедленно отходить от границы в глубь страны. Вслед за нами к мосту, снова подъехал отряд гайдамаков. Теперь с ними был и тяжело раненный товарищ, выручать которого они бросились два часа назад. Однако поляки встретили их насмешками и улюлюканьем. У поляков были свои счеты с петлюровцами. Несколько гайдамаков, торопясь, перенесли через мост окровавленное тело товарища и, положив его прямо на землю, бросились назад, за речушку, к своим лошадям. С гиканьем и проклятиями по адресу поляков и красных, они снова поскакали туда, откуда уже доносился шум наступающих передовых цепей красных. С раненым остался один гайдамак, но когда польский офицер подошел к нему, чтобы забрать оружие, оказалось, что это была красивая женщина в одежде гайдамака.

Вдруг мы увидели, как с левой стороны пригорка, где находилась деревушка с доброй приютившей нас женщиной, появилась цепь солдат Красной Армии. Не прошло и нескольких минут, как весь противоположный берег сплошь покрылся красноармейцами. На выпавшем снегу они казались муравьями, суетившимися у разоренного гнезда. Однако дисциплина там была железная, и ни один из них не попытался перепрыгнуть двухметровую речушку, чтобы разделаться с ненавистными белыми офицерами.

Внезапно с пригорка раздался леденящий душу жен-

ский крик. Наверняка красные потащили на расстрел нашу добрую хозяйку. Я хотел ринуться ей на помощь, но поляки стали нас отгонять от границы, и мы, повесив головы, невероятно измученные морально и физически, зашагали в глубь Польши, по направлению к Тернополю.

Наше отступление напоминало известную картину ''Отступление Наполеона от Москвы''. Тоже по колено в снегу, мы отправлялись навстречу судьбе, не сулившей ничего хорошего. До слез было жаль гайдамаков, так и не завоевавших независимости Украины, предпочитавших в неравном бою скрестить шашки с красными и с честью погибнуть на родной земле, а не сложить оружие к ногам надменных поляков с просьбой об убежище. Я думал о доброй женщине, расстрелянной красными, об изрубленном, умирающем гайдамаке и его красавице-подруге, оставшейся с ним возле моста. Моя детская душа разрывалась на части, и все события, пережитые за эти последние двадцать четыре часа, остались в душе на всю жизнь как что-то большое, горькое и непоправимое.

Нас остановили в огромном селе, в пятнадцати километрах от границы, жителями которого были крестьяне-униаты. Мы провели в этом селе около двух недель, разместившись по четверо-пятеро человек в крестьянских хатах. Но почти все крестьянские семьи были очень большими, и мы жили в невероятной тесноте. От холода, голода и грязи солдаты обзавелись таким количеством вшей, что ерзали и чесались круглыми сутками, тщетно пытаясь от них избавиться. Многие заболели сыпным тифом. Кончилось тем, что нас отправили в Тернополь. Так мы с братом чудом остались в живых в кровавой передряге гражданской войны.

Часть вторая

НА ЧУЖБИНЕ

Нашу часть направили в польский город Торн и разместили в старинной крепости в форте Стефана Батория. Возможность спать на нормальной койке под одеялом и получать паек польского солдата была большей милостью, чем мы могли ожидать от поляков, которые только что закончили войну и начинали поднимать свое государство. Ежедневно мы отправлялись на двухчасовые прогулки, шагая строем до ближайшего леса и распевая во все горло солдатские песни. Оказалось, что все форты крепости были переполнены интернированными русскими армиями, которые сражались против красных. Среди интернированных нашлись артисты, которые стали каждую неделю ставить спектакли. Часто устраивались собрания и лекции. После спектаклей устраивались танцы.

Вспоминаю незабываемый случай. Нас выстроили во дворе крепости для встречи известного русского политического деятеля Савинкова. Он приехал в польской военной машине с офицером-поляком и двумя солдатами. Это был худой мужчина средних лет, с седыми висками и породистым лицом, в полувоенной форме, высоких сапогах, галифе и френче английского покроя. На

его приветствие ответили довольно неохотно. Савинков начал сразу говорить:

— Наш час настал! Будьте готовы опять взяться за оружие и свергнуть совдеповскую власть. Там, — он указал рукой на восток, — в Кронштадте, сейчас поднялось восстание, и нам нужно немедленно пойти им на помощь!

Но, как ни странно, его призыв никого не взволновал. Послышались голоса:

— Если мы опять возьмемся за оружие, то обойдемся без вас, господин Савинков! Когда мы сражались в неравном бою с красными, вы развлекались в Париже!

Однако, Савинков, не обращая внимания, все говорил и говорил. В конце концов негодующие реплики офицеров стали его заглушать. Он замолчал, сел в автомобиль и уехал, так и не сказав заключительного слова.

Наступила весна. Почти все время обитатели форта гуляли по зеленой возвышенности, любуясь протекающей неподалеку Вислой и с тоской глядя на проходившие по ее берегам пассажирские поезда. Все хотели отсюда вырваться, избавиться от двусмысленного положения полуплена и окунуться в нормальную жизнь. Даже у самых ретивых вояк иссякла надежда опять взяться за оружие и свергнуть большевиков в России.

История моего освобождения из крепости совершенно невероятна, и даже сейчас, вспоминая ее, мне трудно поверить в ее реальность. В нашу часть из другого форта перевели бывшего добровольца Польской армиии по имени Эмил Вист. Это был усатый брюнет лет, приблизительно, двадцати пяти. Его документ подтверждал, что он уроженец Данцига, что поступил в Польскую армию добровольцем и защищал Варшаву и что может в любой момент вернуться в Данциг. Эмилю очень нравилась моя английская шинель, которую я берег, как зеницу ока. Я предложил ему обменять шинель — мою единственную драгоценность — на его документ. Недолго думая, он согласился. Итак, я стал обладателем

документа на польском языке, с фотографией усатого брюнета двадцати пяти лет.

Начались лихорадочные сборы к побегу. Я решил ехать поездом в Данциг и разыскать там старшего брата Виктора. Иван пожертвовал мне все, что у него было (пару нижнего белья, выданную Красным Крестом). С трудом пробравшись за ворота форта, охраняемые польскими часовыми, мы отправились на базар, где продали старьевщику все, что могли продать. Вырученных денег в обрез хватило на билет четвертого класса до Данцига. Всю ночь мы с братом перешивали пуговицы, стараясь сделать мое одеяние похожим на штатское.

Ранним солнечным утром я вышел из форта, брат провожал меня до ворот. И вот первое чудо этого дня: у ворот не оказалось часового, отлучившегося на минутку по своим делам. Я быстро дошел до вокзала, купил билет и безо всяких помех сел в нужный поезд. Мы с братом договорились, что добравшись до Данцига, я немедленно вышлю ему документ Эмиля и он таким же манером будет добираться в Данциг по моим стопам. На данцигской границе нужно было пройти паспортно-пограничный контроль. На контроле стоял стол с еле светившей карбидной лампой, за которым сидел польский сержант, за ним стояли два польских солдата с винтовками.

Когда подошла моя очередь, свершилось второе чудо. Я положил документ на стол, но сержант, не глядя в него, задал мне несколько вопросов о том, куда и откуда я еду. Напрягая все свои знания польского языка, я ответил, что еду домой. в Данциг, что был добровольцем в польской армии и воевал, защищая Варшаву. Сержант с доброй улыбкой сказал "молодец!", даже не взглянул на фотографию усатого Эмиля и, хлопнув печать, вернул мне документ с пожеланиями всего наилучшего. От волнения у меня дрожали колени. В вагоне четвертого класса, куда я вошел, уже сидело несколько человек. Я примостился в уголке у двери. Едва поезд тронулся, в вагон

вошли двое: один в синей форме контролера, другой в зеленой форме пограничника. Они начали проверять билеты и документы, и в этот момент для меня свершилось третье чудо. Проверив документы всех пассажиров, они, не обратив на меня никакого внимания, проследовали дальше. Я не мог поверить своему счастью, ведь фотография черноусого, двадцатипятилетнего Эмиля ничего со мной общего не имела.

В Данциге я намеревался отправиться к бывшему консулу Российской Империи, который просидел всю войну в здании консульства под домашним арестом и сейчас помогал чем мог бывшим российским подданным в получении удостоверения личности. Кроме того, с прошлого года у него служил сторожем мой земляк из Литвы и бывший доброволец Бермонтовской армии Андрей Гребенков. В зале ожидания третьего класса было всего двое человек, какой-то старик и я. Старик все время порывался улечься на скамейке, но приходил полицейский, будил его и приказывал сидеть. Всякий раз при появлении полицейского я притворялся спящим, но мое сердце уходило в пятки. Под утро появился другой полицейский. Уткнувшись полузакрытыми глазами в пол, я видел только, что начищенные, добротные сапоги остановились передо мной. Захотелось закричать: "Мама!". Секунды казались неимоверно длинными. Наконец, я с облегчением увидел, что сапоги повернули и направились к выходу.

Наступило утро. Я доел последний кусок польского солдатского хлеба, оставшийся у меня со вчерашнего дня, и вышел уже на знакомую привокзальную площадь. Как весело светит солнце! Как чисто и красиво вокруг! Захотелось опуститься на колени, прямо на улице, и возблагодарить Господа за Его невидимое покровительство.

Пешком через весь город я отправился к зданию Российского Консульства. Андрей Гребенков, стоявший у консульских ворот, на которых еще уцелел двуглавый орел, привел меня в свою комнатушку, накормил и рас-

сказал, что Виктор живет в соседнем городке Лянгфур в десяти километрах от Данцига.

Бывший консул Российской Империи, высокий пятидесятилетний мужчина, типичный русский аристократ, усадил меня в кресло и заставил рассказать обо всем, что мне пришлось пережить с осени. Потом они собирались отвезти меня к брату Виктору и помочь ему устроить меня на какую-то работу. Узнав о моей любви к чтению, консул опытной рукой стал подбирать книги из консульской библиотеки и отобрал не меньше двух дюжин. Он вообще готов был отдать всю библиотеку, так как ему вскоре предстояло отсюда уезжать.

Что касается русской книги за границей, то, как я имел возможность убедиться, при царском режиме во всех больших городах Европы, а в особенности на лечебных курортах, при каждой русской церкви существовали хорошие библиотеки, доступные всем желающим.

Когда была готова моя фотография, консул приклеил ее на бланк с двуглавым орлом, красиво вывел на документе мое имя и фамилию, потом сам пошел со мной в полицейский участок, где на бумаге поставили большую печать города Данцига.

Вручая мне документ, консул объяснил, что теперь необходимо в течение трех месяцев устроиться на работу и затем получить в полиции право на жительство. Невозможно было поверить, что теперь я такой же человек, как все, что не нужно больше прятаться, врать, что теперь я могу работать, зарабатывать себе на жизнь! Я не находил слов благодарности, но консул, прекрасно понимая, что со мной творится, дружески потрепал меня по плечу.

На следующий день Гребенков повез меня к Виктору. Мы ехали около часа трамваем вдоль красивой старинной аллеи, соединяющей Данциг с Лянгфуром. По случаю воскресенья все кафе и рестораны были переполнены веселой нарядной публикой.



Отец автора Николай Ефремович Березов
1900 г.



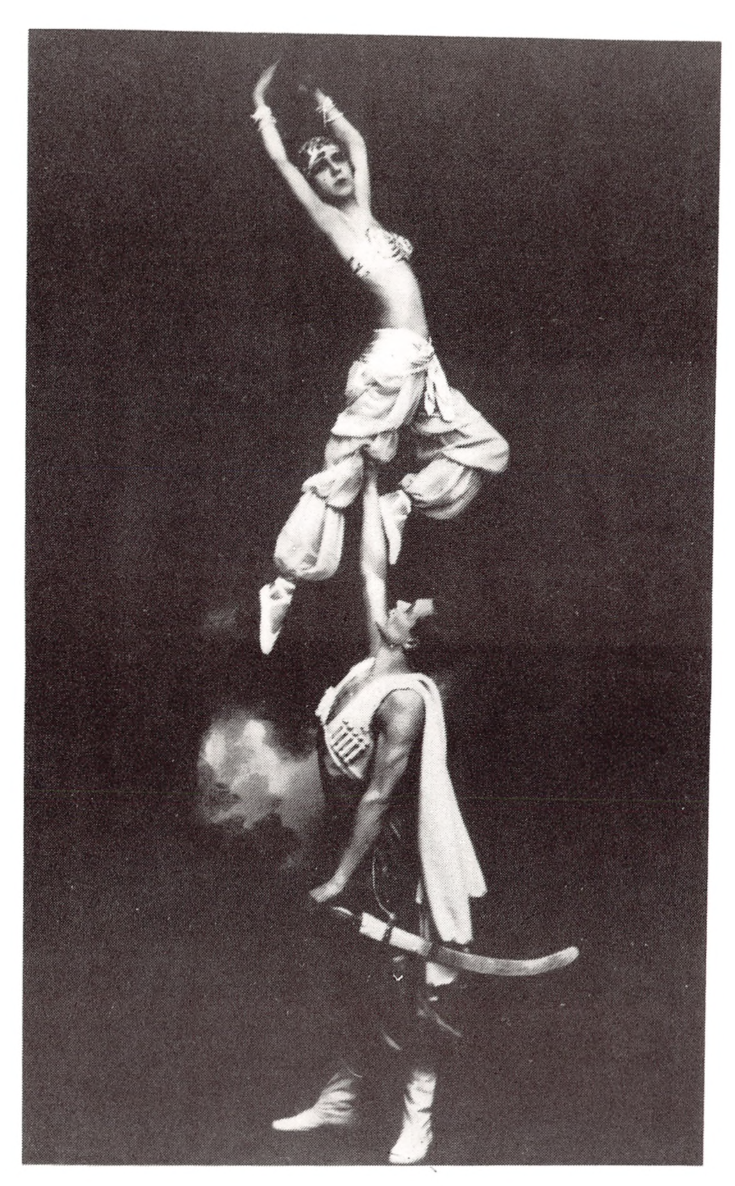
Мать автора Сусанна Эдуардовна Березова,
урожденная Сшефлер. 1900 г.



Сестры автора — Ксения, Ольга, Раиса, Сусанна, Надежда, Ирина. 1928 г.



Автор, Прага, 1926 г.



М. Мурская и Н. Березов. "Кавказская сюита", 1929 г.



Автор с женой Марой
и дочерью Светланой, 1934 г.



Дочь автора Светлана. 1934 г.



Автор с дочерью Светланой.
Лондон. 1936 г.



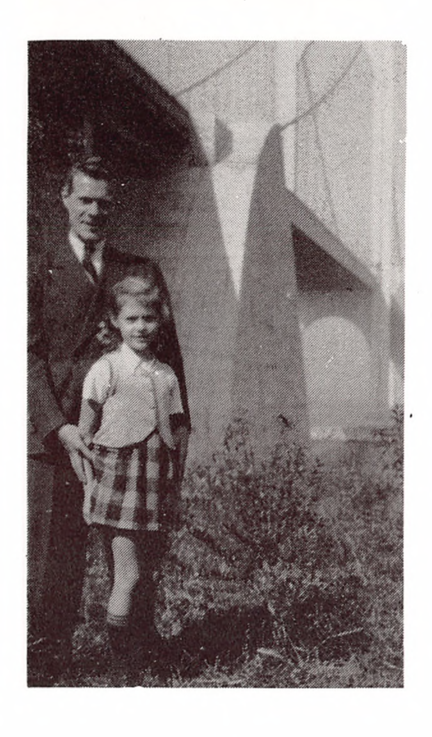
Автор с дочерью Светланой.
Паланга, 1935 г.



Брат автора Иван Березов, 1938 г.



Встреча с братом Платоном и его
женой в Буэнос-Айресе, 1940 г.





Автор с дочерью Светланой, Монте-Карло, 1938 г.



М. Мурская и Н. Березов. "Боярский танец", 1929 г.



Фокинский балет "Карнавал".
Коломбина – Мия Словенская, Панталоне – Николай Березов.
1937 г.

Государственный литовский балет на гастролях в Монте-Карло, 1935.

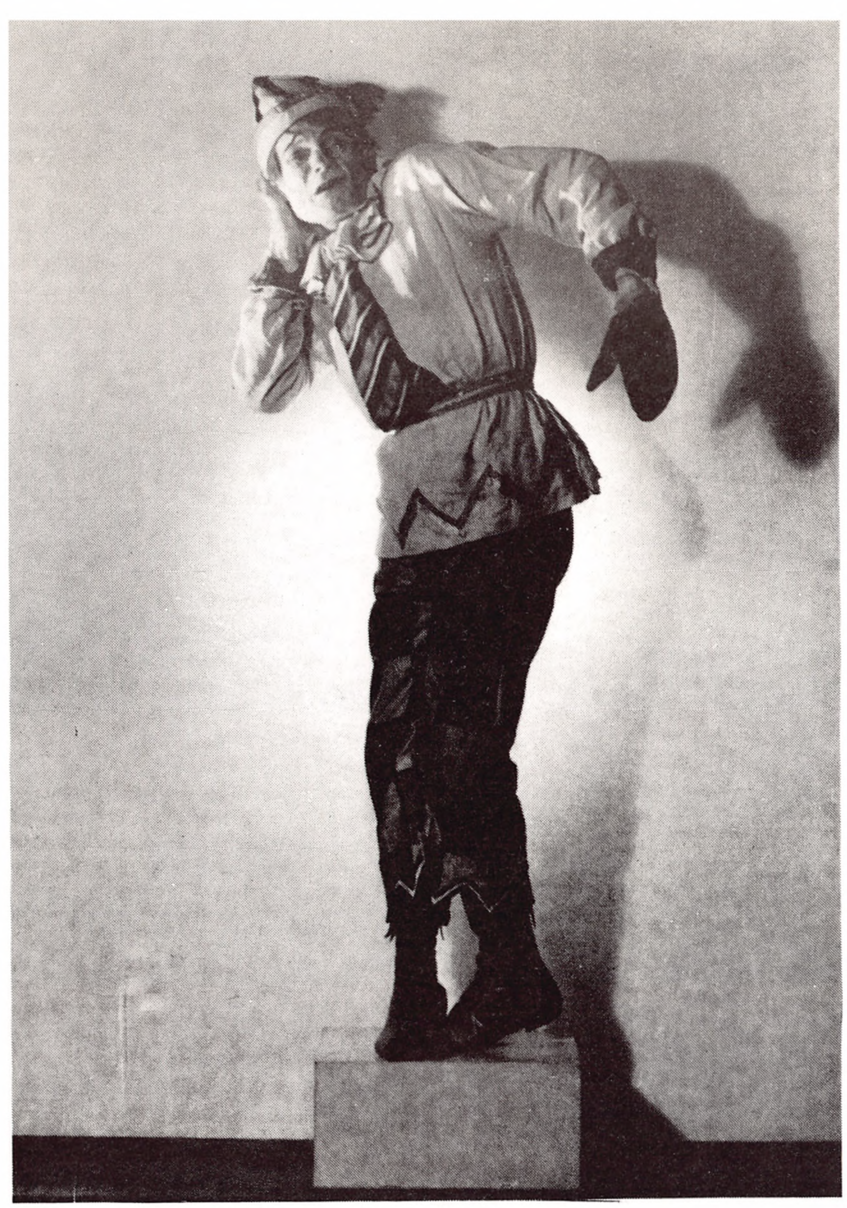
Государственный литовский балет на гастролях в Монте-Карло, 1935 г.



Государственный литовский балет на гастролях в Монте-Карло, 1935.



Автор в роли Главного воина из балета "Половецкие пляски", 1937 г.



Автор в роли Петрушки, "Балет Монте-Карло", 1937 г.

PETROUCHKA

A Burlesque in Four Acts

Book by IGOR STRAVINSKY and ALEXANDRE BENOIS
Music by IGOR STRAVINSKY
Choreography by MICHEL FOKINE
Scenery and Costumes designed by ALEXANDRE BENOIS
Orchestra under the direction of LEO HOFMEKLERIS
Costumes executed by Mme. Karinsky
Scenery painted by Emile Bertin

The Dancer	NINA TARAKANOVA
Petrouchka	NICOLAS BERIOSOFF
The Blackamoor	GRANT MOURADOFF
The Old Charlatan	SIMON SAPIRO
The Chief Nursemaid	JEANETTE LAURET
The Chief Coachman	JEAN YAZVINSKY

The Nursemaids :
Mdlles. BARRIE, FIRMINOVA, BESOBRASOVA, YAKOLEVA
MARKOWA, RIKLITZKA, GRANTHAM, LITVINOVA

The Coachmen :
Mm. GABAY, BAUR, KOKITCH, KOSTENKO

The Grooms :
Mm. KLIMOW, TOUMINE

The Gay Merchant :
M. F. PIOTROVSKY

The Gipsies :
Mdlles. GUENEVA, ZARINA

The Street Dancers :
Mdlles. SEMENOVA, NIFONTOVA

The Showman of the Fair :
ARVED OZOLINE

PROGRAMME CONTINUED OVERLEAF



М.М.Фокин, 1936 г.

Рене Блюм, 1936 г.

Le PRINCE IGOR

Polovtsien Dances from the Opera " Prince Igor "

Music by BORODINE Choreography by MICHEL FOKINE
Scenery and Costumes designed by CONSTANT KOROVINE
Orchestra under the direction of LEONARD PEARCE

A Polovtsien Warrior ... ... NICOLAS BERIOSOFF

The Polovtsien Women :
WILLIE GUENEVA
Mlles. BARRIE, BESOBRASOVA

The Slaves :
Mdlles. FIRMINOVA, YAKOVLEVA, LAURET, GRANTHAM,
ZARINA, RIKLITZKA, MARKOVA, WILLIAMS, ELIAS

PROGRAMME CONTINUED OVERLEAF



Фотография, подаренная Ф.М. Шаляпиным автору в 1937 году.

Мужской состав балета "Русский балет Монте-Карло", Монте-Карло, 1938 г.



"Русский балет Монте-Карло"
по пути в Южную Африку, 1938 г.



"Русский балет Монте-Карло"
во время поездки в Рио-де-Жанейро.
1940



Встреча Пасхи в Монте-Карло. 1938 г.
На переднем плане – Л.Ф.Мясин и Шура Данилова.

На пляже в Дурбане (Южная Африка), 1936 г.



Встреча Нового года "Русским балетом Монте-Карло" в Чикаго, 1939.

Сохранилась ли эта аллея до сегодняшних дней? Ведь сейчас Данциг — Гданьск и принадлежит Польше, а шестьдесят лет назад он был свободным городом.

От Лянгфура прошли два километра пешком в селение Брентау, где Виктор работал кучером у фермера. Встреча с ним произвела на меня грустное впечатление. Казалось, брат совсем не рад меня видеть. Он постоянно пугливо оглядывался, будто боялся, что кто-то нас подслушивает, был невнимательным и рассеянным. Его будто подменили. Брат рассказал, что хозяин все еще не устроил ему официальных документов, что платит, когда хочет и сколько хочет, плохо кормит и заставляет много работать. Однако дело с моим братом и его хозяином обстояло куда серьезнее. Об этом я узнал гораздо позднее.

Брат не позволил, чтобы я просил работу у его хозяина (и хорошо сделал). Мы с Гребенковым отправились к богатому немцу, которого нам порекомендовал бывший бермонтовский офицер, работавший слесарем. Немец владел маленькой фабрикой по производству деталей для плугов в местечке Брентау. Он взял меня на работу помощником кучера. Но вскоре я стал сам править каретой, запряженной двумя прекрасными сытыми лошадьми белой масти. Я получил зеленый сюртук с медными пуговицами, огромный цилиндр и, облаченный в этот костюм, почти ежедневно возил хозяина, его жену и двух маленьких сыновей.

Теперь моей главной заботой было помочь брату Ивану добраться в Данциг. Я старательно вытравил печать, поставленную польским сержантом-пограничником на счастливом документе усатого Эмиля, и с маленькой дыркой на месте печати немедленно отправил документ в Польшу. Но Ивана в крепости уже не было, так как польское правительство ликвидировало все лагеря с бывшими бойцами белой армии. Теперь все стали свободными, могли работать, и мой брат с другими бывшими добровольцами нанялся на полевые работы к како-

му-то вельможному польскому пасечнику.

Мой единственный багаж — две пачки книг, подаренных консулом, я разложил в чулане, в котором теперь жил. Читать я мог лишь во время ожидания из гостей моих хозяев. Вернувшись домой и прибрав лошадей и экипаж, я обязан был немедленно отправляться в мастерские и делать все, что прикажет старший мастер. Хозяин зорко присматривался к моим способностям работать на различных машинах, и поскольку я проявлял хорошие способности, он вскоре перевел меня из кучеров на фабрику — выполнять разные работы и помогать всем рабочим. Не прошло и месяца, как я научился ковать механическим молотом части для плуга. Меня поставили работать в паре с молодым кузнецом, и в течение восьмичасового рабочего дня мы должны были выковать минимум сто лемехов. Наш молот стоял напротив печи, в которой нагревались добела куски стали весом в двадцать килограмм. Из одного такого куска выходило пять лемехов. Тяжесть удара механического молота — десять центнеров, а промежуток между ударами всего одна секунда. Что и говорить, работа адская. Нужно щипцами держать двадцатикилограммовый кусок железа, вертеть его под ударами молота, а за спиной стоит пылающая печь. Но чего только молодость не выдержит! А зато какими интересными стали субботние и воскресные вечера! Мой напарник Герман Раух затащил меня в одно из воскресений на танцы. В Брентау был чистенький ресторанчик со столиками в саду, и по вечерам, развесив разноцветные бумажные фонарики, там устраивали танцы. Сюда собирались местные и окрестные жители. Старшие играли в карты и на бильярде, а молодежь до одурения танцевала под звуки оркестра, состоящего из пианино, скрипки и трубы. Я старался держаться в тени, стесняясь своего костюма, еще в крепости переделанного из английского мундира, и брюк с большими сальными пятнами. Однако, меня вдруг окружили подстрекаемые Германом молоденькие девицы и заброса-

ли вопросами: "Почему я не танцую? Какая из них мне больше всех нравится? В кого я влюблен?" От смущения я готов был провалиться сквозь землю. Но одна из девушек, Лотта, дочь старшего мастера нашей кузницы, покровительственно взяла меня за руку и потащила на площадку. Я почувствовал, как ее тело прижалось ко мне, и все поплыло у меня перед глазами. Совершенно обезумев, я хотел прижать Лотту еще сильнее, покрыть ее поцелуями или вырваться и убежать, но она властно начала меня вертеть, и я, забыв о грязном костюме, затанцевал с восторгом, как когда-то на детских вечеринках в Литве. Увидев, что я танцую вальс гораздо лучше здешних парней, девицы не давали мне ни минуты покоя. Я тут же научился танцевать "шибер" и модный в то время танец "шимми". После танцев девушки заставили меня проводить Лотту домой. Всю ночь звуки вальса и девичьи голоса кружили мне голову.

В пять утра я отправился на работу, но даже удары молота не могли заглушить щебет девушек и музыку, звучавшие у меня в ушах, и я ходил как по воздуху. Старший мастер направился прямо ко мне, с лукавой улыбкой хлопнул по плечу и спросил, что я сделал с его Лоттой вчера вечером. Мол, отныне он должен считать меня своим "швиглер зон". Фактически, я ничего с Лоттой не сделал, чтобы стать его "швиглер зон", но начальство есть начальство, и в знак повиновения я развел грязными руками и сделал какое-то подобие реверанса. Тут Герман сказал мне потихоньку, что старый мастер знает: к двадцати годам я стану лучшим мастером, чем он. К тому же я читаю книги, и такого жениха он нигде для своей Лотты не найдет. С этого дня мастер стал иногда приносить мне сладкие булочки или фрукты, говоря, что это от Лотты. Он еще долго величал меня "швиглер зоном", пока не убедился, что "швиглер зон" из меня получится никудышный, если я и дальше буду проводить свободное время на танцах, в пьянках и драках.

Я мечтал, чтобы вечер с танцами и веселыми девуш-

ками повторился как можно скорее. Хозяин платил так мало, что мне пришлось бы месяца два, сидя на хлебе и воде, копить деньги для покупки приличного костюма, ботинок и рубахи с галстуком. Однажды я явился в контору хозяина и, неожиданно заговорив по-немецки гораздо лучше, чем обычно, вдруг заявил, что у меня нет приличного костюма, чтобы пойти в церковь. Причину я выбрал не особенно удачно, так как хозяин был еврей и масон. В то время в Германии среди богачей было немало масонов. Хозяин неожиданно расщедрился, выдал мне аванс, и к следующему воскресенью я выглядел франтом. Мы с Германом отправились в Лянгфур, где по субботам и воскресеньям танцы устраивались в красивом зале бывшего офицерского собрания. Все с нетерпением ждали десяти часов, когда выключали свет и только маленький бумажный фонарик, передвигаясь, светился под потолком. Оркестр играл сентиментальный немецкий вальс "Чудный месяц, ты плывешь так тихо в облаках", танцующие пары крепко прижимались друг к другу и, кружась в танце, нашептывали слова этой песенки.

После этого вальса, который пользовался всегда огромным успехом и обязательно повторялся, парни приглашали своих партнерш к бару выпить рюмочку ликера и тут договаривались, кто кого будет провожать домой. Ах, эти проводы! Да еще в хорошую погоду, да еще через парк!

В то время я был года на три моложе всех парней и девушек, приходивших на танцы, однако благодаря широким плечам ухитрялся скрывать свой возраст. Тем не менее в опыте ухаживания за девушками я отставал от других парней и когда провожал какую-нибудь Гретхен, зачастую случалось, что именно она учила меня целоваться. Если оказывалось, что провожать мне некого, я на оставшиеся деньги напивался и тогда становился страшно обидчивым. В пьяной компании меня часто называли поляком или дразнили, что некого провожать, тогда я

лез драться. Мне было море по колено, безразлично, с кем драться и сколько человек против. Из таких ситуаций меня часто выручал Герман, который могучими кулаками кузнеца крушил противника.

Так проходили недели и месяцы. Я с нетерпением ожидал суббот и воскресений, ничем другим не интересуясь. Хозяин тем временем приобрел большой участок земли с хорошим домом, где предоставил мне комнату. Раскладывая в новой комнате свои книги, я чувствовал себя перед ними виноватым. Сейчас я резко переменился и перестал быть мальчишкой, который, читая их, переносился в мир фантазии и так близко чувствовал родных, отца с матерью...

Несмотря на то, что мы с братом Виктором работали в одном местечке, он навестил меня лишь один раз и просил к нему не приходить. Одним из январских холодных дней 1922 года в нашей кузнице появился Гребенков, который все еще служил у бывшего российского консула. Гребенков рассказал, что Виктор сидит в тюрьме по обвинению в большой краже, что он просит меня забрать у хозяина его вещи, продать их и немедленно привезти вырученные деньги в Данциг. Оказывается, Виктора вместе со всеми оставшимися в Германии русскими военнопленными собирались отправить в СССР. Рассказ Гребенкова подтверждал ходившие всюду слухи, что бывший хозяин Виктора занимался в порту кражей грузов. Он так ловко шантажировал брата, что тот вынужден был для него красть, боясь кому-либо пожаловаться.

Вооружившись железными палками, мы с Германом отправились к проклятому бандиту за вещами Виктора. Он встретил нас в дверях с ружьем в руках и заявил, что никакого Виктора не знает. Я злобно отстранил ружье железной палкой и вошел в дом, а Герман остался во дворе. Увидев, что дело принимает серьезный оборот, хозяин вынес из крошечной каморки, в которой, наверное, Виктор спал, фотоаппарат и английскую

шинель, заявив, что это все вещи, которые остались. Я их продал, добавил еще немного денег и отправился по адресу, оставленному Гребенковым. Но Виктора там уже не застал. Его с еще шестью русскими два дня назад отправили в Шецин, для возвращения в советскую Россию.

Позже я узнал, что пароход с бывшими русскими военнопленными, пришедший в Ленинград из Германии, был встречен отрядом чекистов. Прибывших тотчас раздели, дали взамен какие-то мешки и тряпки и погнали на строительство Беломоро-Балтийского канала. Пригнанные чекистами рабы, среди которых был Виктор, работавшие полуголодными и полуголыми день и ночь, при сорокапятиградусном морозе, не выживали и месяца. Далеко на севере, среди тысяч костей невинных страдальцев, лежат и кости моего несчастного брата.

Пока были живы отец и мать, я ничего не писал им о судьбе Виктора, давая возможность хоть немного надеяться на то, что он жив. Но сейчас они, наверное, давно уже встретились на том свете, и Виктор сам все рассказал о себе.

За целый год я встретился с Лоттой лишь несколько раз. Я старался ее избегать, так как девушка сразу начинала с упреков, почему я не хожу в костел, почему не прихожу к ним в гости, почему танцую каждую неделю с другими и никогда не приглашаю ее на танцы? Я ничуть не чувствовал себя виноватым, и такое посягательство на мою свободу привело меня к мысли как можно скорее бежать из Брентау. Однажды я открыл наугад одну из своих книг и прочел несколько строк. Больше года я не слышал русской речи, и сейчас мне показалось, что мама и папа вдруг заговорили со мной. Комок слез подступил к горлу, я обнял книги и почувствовал себя совсем одиноким, заброшенным и несчастным. А ведь люди, окружавшие меня, были преисполнены лучшими намерениями сделать из меня хорошего бюргера по собственному образцу.

В Лянгфуре работал сапожником один из наших бермонтовских добровольцев, бывший студент Московского университета Леонтьев. В армии он состоял в чине вахмистра и нас, подростков, не особенно жаловал. Однако сейчас он каждый раз искренне радовался моим посещениям. Освобождая рот от гвоздей, которые он одним ударом загонял в подошву сапога, Леонтьев по-приятельски начинал мне рассказывать о своих планах. Он хотел как можно скорее бросить сапожное ремесло и попытаться закончить образование в Пражском или Парижском университете. Леонтьев работал по двенадцать часов в сутки, чтобы скопить достаточно денег для поездки во Францию. Он собирался тронуться в путь в сентябре и надеялся пройти французскую границу пешком, незаметно для французских пограничников. Я стал его уговаривать, чтобы он взял и меня. На мое счастье Леонтьев согласился, предварительно предупредив, что на поездку понадобятся немалые деньги. Путешествие должно было начаться через шесть недель, а я и понятия не имел, откуда у меня возьмутся деньги. Для начала я отказался ходить на любимые танцульки, чем очень удивил всех приятелей. Однако свои планы я хранил в большом секрете, ибо знал, что добровольно хозяин меня не отпустит — меня некому было заменить у автоматического молота. Меня очень мучила мысль, что своим побегом я здорово его подведу, но делать нечего: взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Деньги на билет до Берлина я еще мог кое-как наскрести. Леонтьеву же наврал, что хватит и до Парижа.

До Берлина мы добрались без приключений, не считая того, что на пароходе из Данцига в Мариенбург прятались во время проверки документов за пароходную трубу. Берлин производил жуткое впечатление. На фоне измученных голодом, худых, изможденных берлинцев веселые толпы иностранцев, заполнявшие рестораны и кафе, выглядели крайне нелепо. В Германии бешеным темпом шла инфляция. Если утром коробка

спичек стоила тысячу марок, то к вечеру ее цена поднималась до десяти тысяч. Иностранцы, имевшие пару долларов, чувствовали себя богачами, которым все доступно — от двенадцатилетней девочки до фамильного серебра патриархальной немецкой семьи. На глазах у измученных голодом и войной немцев варшавские, ковенские и рижские купцы и спекулянты вели себя вызывающе. Они носились по Берлину с туго набитыми чемоданами и за бесценок скупали дорогие товары. У многих немцев глубоко в душе затаилась ненависть к этим мерзавцам, и мне кажется, при нацистском режиме именно она отозвалась человечеству лагерями смерти и уничтожением миллионов ни в чем не повинных людей.

В Берлине мы с Леонтьевым направились прямо на Александерплац, где находилось грязное, холодное, с двухэтажными нарами общежитие для русских беженцев. Его обитатели сразу же набросились на нас с вопросами о съестном. Как и неимущие немцы, они получали один раз в день жиденькую гороховую похлебку. Оставив меня стеречь чемодан (у меня своих вещей не было), Леонтьев ринулся в город во все комитеты, Красные Кресты и консульства за получением официального разрешения на въезд во Францию. К вечеру он вернулся совершенно измученный, обозленный и заявил мне, что никто ему не помог и сейчас мы немедленно отправляемся на вокзал, чтобы вечерним поездом поехать к французской границе.

До сих пор не могу забыть его искаженного до неузнаваемости лица, когда я признался, что денег на проезд у меня нет. Он тут же схватил свой чемодан, бросился к выходу, но вдруг остановился, с минуту постоял молча, потом бросил чемодан на ближайшие нары и, не глядя в мою сторону, хриплым голосом скомандовал:

— Сейчас спать, а завтра попробуем получить на проезд. Если не удастся, тогда катись к чертям на все четыре стороны!

Весь следующий день мы ездили по Берлину и

подземкой, и железной дорогой из учреждения в учреждение. Везде Леонтьев требовал денег для моего проезда до Франции, причем со мной не разговаривал, а в одном из учреждений так напал на какую-то старушку, что она от страха или от грубой настойчивости Леонтьева выдала нам записку с печатями, по которой на вокзале мы получили билет для проезда в четвертом классе до французской границы.

Весь оставшийся день я на приличном расстоянии следовал за Леонтьевым, решившим осмотреть город. Так мы добрались с Александерплац до Фридрихштрассе. Был пасмурный осенний день, и я, измученный, голодный, буквально валился с ног. Однако Леонтьев осматривал город с большим интересом и останавливался перед каждым памятником и зданием. Наконец, мы добрались до вокзала. Я еле добрел до лавки в зале ожидания, а Леонтьев отправился в общежитие за чемоданом. Я смотрел на растоптанные, мокрые ботинки, которые надевал лишь на танцы по воскресеньям, и мне вдруг неудержимо захотелось броситься перед бывшим хозяином на колени и снова начать работу у автоматического молота, а в воскресные дни танцевать и дебоширить с друзьями. Но вернуться в Данциг было теперь так же сложно, как и продолжать с Леонтьевым путь во Францию.

Поздно ночью мы сели в холодный вагон четвертого класса, который медленно потащился на Запад, останавливаясь на каждом полустанке. В Кельне требовалось пересесть на поезд, следующий до пограничной станции Перл. Половину пути из Берлина в Кельн Леонтьев сидел в противоположном углу купе и делал вид, что меня не замечает. Наконец, под утро он не выдержал и заговорил тоном вахмистра:

— Если бы позавчера я с такой же настойчивостью требовал для себя французскую визу, как билет для тебя, то непременно получил бы визу, но сейчас об этом жалеть поздно.

Я начал придумывать слова благодарности, но кажется так ничего и не придумал.

В Кельне, как и в Берлине, остро стояла проблема инфляции и бродили такие же измученные голодом жители. На перроне мы сейчас же увидели солдат английской военной полиции, подтянутых, начищенных и гордых победителей, солдат Его Величества короля Георга V. Их вид тотчас напомнил события двухлетней давности в Данциге, когда англичане разгуливали по городу с таким же победоносным видом. И так же, как в Данциге, в одной руке они держали короткий бамбуковый хлыст, а в другой — пакет с консервами.

До пограничной станции Перл мы добрались поздним вечером. Переночевали в каком-то сарае на соломе. Утром нас разбудили немецкие пограничные жандармы. Единственное, что их интересовало, занимаемся ли мы контрабандой. Убедившись, что мы не принадлежим к привилегированному сословию контрабандистов, они оставили нас в покое. На последние деньги мы закусили в небольшом ресторанчике и вышли на шоссе, ведущее во Францию. Леонтьев объявил, что в одиночку перейти незаметно границу легче.

— Даст Бог, скоро встретимся в Париже, — сказал он на прощанье, предложил идти вперед полями подальше от шоссе и сейчас же исчез в кустах. Я побрел в другую сторону и вскоре вышел к железнодорожному мосту через разбухшую от осенних дождей реку. На мосту я никого не заметил и решил перейти на другой берег, не имея представления о том, где находится граница. Перейдя мост и очутившись в маленьком селении, я поразился тому, что лавки, расположенные вдоль единственной улицы, переполнены товарами, поразили висевшие в изобилии окорока и колбасы, овощи и фрукты и множество сортов хлеба. Я понял, что нахожусь во Франции.

Оглядываясь по сторонам, чтобы не встретиться с французскими пограничниками, я быстро пошел по ма-

ленькой дороге на запад, вдоль железнодорожной насыпи. Воскресные ботинки развалились и до крови натерли ноги, но меня словно толкала вперед неведомая сила, и я все шел и шел, подбирая яблоки и сливы, которые валялись вдоль дороги. Если бы тогда у меня спросили, зачем я так настойчиво рвусь в Париж, я бы не знал, что ответить.

Я старался никому не попадаться на глаза, однако работавшие в поле крестьяне провожали меня подозрительными взглядами. На ночлег я устроился в снопах скошенной пшеницы и утром, с первыми ударами церковного колокола, доносившегося из деревни, отправился дальше, еле передвигая ноги, но твердо зная, что нужно уйти дальше, в глубь страны. Тогда не отправят назад в Германию и я, может быть, найду работу.

Решив отдохнуть и немножко просохнуть после вчерашнего дождя, я уснул, а проснувшись, увидел перед собой французского жандарма. По его жестам я понял, что он спрашивает документы, и предъявил ему удостоверение, выданное русским консулом в Данциге, и маленький "аусвайс", выданный данцигской полицией на право работы. Французского жандарма мои документы никак не удовлетворили, и он скомандовал идти в ту сторону, откуда я пришел. Объясняя, что я хочу уйти подальше от границы, я говорил по-немецки, по-польски, по-русски и по-литовски, но он только беспомощно разводил руками.

В местной жандармерии уже сидели двое каких-то типов: то ли перебежчики, как и я, то ли мелкие контрабандисты. От них я узнал, что нахожусь в двадцати километрах от станции Перл, но эти двадцать километров я шел не вглубь Франции, а вдоль границы, которая находилась всего в двух километрах отсюда. Один из жандармов допросил меня по-немецки. Я откровенно рассказал, в каком месте я перешел границу. На следующий день моих соседей куда-то увезли, а меня заперли в холодный чулан и дали длинную, как палка, булку

французского хлеба, после чего перевезли в небольшую пограничную казарму.

Мое появление очень развлекло французских солдат. Ребята стали отпускать всевозможные шутки по моему адресу и поить меня красным вином. От многодневного недоедания я опьянел после первого же стакана и, стараясь перекричать хохочуших солдат, стал держать речь о том, какую ошибку сделал Наполеон, решив завоевать Россию, да к тому же еще зимой. Ораторствуя, я смешивал русский и немецкий, и французы сразу догадались, что я не немец, а русский.

Они стали меня одаривать. Один подарил теплую фуфайку, другой пару теплых чулок, третий сунул в карман две банки консервов, и сколько я ни пил, мой стакан как по волшебству постоянно наполнялся. Я решил сейчас же обрядиться во все новое и начал раздеваться. От выпитого я так захмелел, что меня бросало от одной стенки к другой. Все шло кругом перед глазами, и я видел только смеющиеся лица французов. Подаренные консервы выпали из кармана и покатились под кровать, я полез их доставать, но очутившись под кроватью, решил там отдохнуть.

Солдаты наверняка оставили бы меня там отоспаться, но в казарму вошел начальник, и они немедленно меня вытащили. И вот, крепко взяв меня под руки, солдаты повели меня через тот же железнодорожный мост обратно в Германию. Я был так пьян, что мои ноги болтались в воздухе и солдатам приходилось скорее нести меня, чем сопровождать. По другую сторону моста они положили меня на землю и, лукаво пригрозив, чтоб я больше не проказил, ушли обратно во Францию.

Меня тошнило, ноги заплетались. Я добрел до какого-то сарайчика и тут же заснул, а проснувшись, стал размышлять, что же делать дальше. Переходить границу еще раз не хватало ни физических, ни моральных сил. Оставалось во что бы то ни стало найти работу. Но попробуй ее найди в голодающей Германии! На станции, где рабо-

тала небольшая железнодорожная артель, мои услуги не понадобились. И я поплелся на восток по направлению к Кельну. Навстречу непрерывной цепью шли поезда, груженные железом и каменным углем: Германия выплачивала Франции военную контрибуцию.

В деревнях, через которые я проходил, крестьяне убирали на полях картофель и виноград, но от моей помощи отказывались, советуя пройти их деревню как можно скорее и ничего не украв. Через несколько дней я добрел до города Траер. Питался я все это время лишь яблоками и сливами, а ночевал в сараях у крестьян. Обыскав меня и убедившись, что спичек нет и сарай я не подожгу, они закрывали меня до утра, не предложив даже чашки кипятку. Остатки моих ботинок я кое-как перевязал веревками. Ни жевать, ни глотать я не мог — рот превратился в сплошную воспалившуюся язву. В Траере я приплелся в маленький парк и устроился на скамейке, чтобы немного отогреться на солнышке. Подошел полицейский, о чем-то спросил и объявил, что поведет меня в местный монастырь.

Мы вошли в просторный и теплый столовый зал монастыря, когда монахи, закончив утреннюю трапезу, сдавали оловянные тарелки и кружки в окно на кухне. Полицейский подвел меня к этому окну и сказал, чтобы я попросил у монаха что-нибудь поесть. Я начал что-то жалобно мычать. На это веселый, еще молодой, но уже с круглым брюшком монах, оскалив зубы, заорал:

— Говори громко, нас нечего бояться!

Я собрал все силы и, невзирая на боль в горле, просипел:

— Я есть хочу!

На мой вопль монах скороговоркой ответил:

— Я слышу это не в первый раз, а дать тебе поесть без разрешения начальства не могу, идем к начальнику.

Меня привели в устланный коврами кабинет, на стенах висели портреты кардиналов, один из них даже с бородой. За широким, окованным бронзой столом сидел

маленький человек лет сорока пяти в шапочке лилового цвета. Острые сердитые глазки скользили по мне недобрым взглядом. Он спрыгнул с кресла и оказался ростом меньше меня. Тонким, почти женским голосом человечек повелительно заговорил:

— Почему ты молчишь? Ведь ты пришел исповедаться! Ты должен сейчас же сказать всю правду!

Я никак не мог понять, что ему нужно, он продолжал задавать нелепые вопросы о том, со сколькими девушками я уже "переспал", была у меня в последний раз блондинка или брюнетка, сколько ей было лет, что я делал прошлой ночью?! Я так растерялся, что не мог вымолвить ни слова. Но когда этот пастор угрожающе заявил, что Бог все видит и знает, а мне нужно говорить только правду, словно тяжелые камни обрушились на мою голову. Я медленно начал понимать, что хочет от меня этот человек, и впервые за свою короткую жизнь с ужасом подумал, что не все богослужители — праведники. Голос вернулся ко мне, и я с упреком сказал, что еле стою на ногах, что я не ел уже две недели и первый день нахожусь в этом городе. О каких девушках может сейчас идти речь? Мой ответ так возмутил его, что он затопал ногами и закричал:

— Лгун и шалопай, пошел вон? Есть ты не получишь!

Дверь за мной так громко захлопнулась, что, казалось, задрожали своды монастыря. Я без оглядки пошел через столовый зал к выходу. Возле ворот, озираясь по сторонам, ко мне подбежал веселый монах, работавший в кухне, и сунул в руку горбушку хлеба.

Ожидавший у ворот полицейский сочувственно на меня посмотрел, и мы отправились в полицейский участок. Посовещавшись с коллегами, полицейский отеческим тоном сказал:

— Мы разрешаем тебе остаться в городе на три дня. Постарайся найти работу. Ночевать все это время можешь здесь. Если ничего не найдешь, то уходи из города,

иначе мы должны тебя арестовать и судить за бродяжничество без документов, а это грозит годом тюрьмы!

Я тотчас же отправился к казармам, где стояла марокканская кавалерия, и стал ждать, пока мароканцы доедят политый жирной подливой кус-кус. От запаха пищи у меня закружилась голова, и я стал медленно опускаться на пол. Сильные руки подхватили меня и усадили за стол. Передо мной поставили целую гору остывшего недоеденного кус-куса, и чем больше я ел, тем больше хотелось есть. Как Бог спас меня от заворота кишок, не представляю. Я так громко икал, что невольно подпрыгивал. Хотелось найти кого-то, с кем можно было поговорить насчет работы, но все отмахивались от меня и указывали на дверь. Помню, как не хотелось уходить из теплой и ароматной столовой, но явился французский пехотинец в голубой форме и выдворил меня на улицу.

Весь оставшийся день я просидел в дворцовом парке, удивляясь его красоте, пышным клумбам, множеству бассейнов и мраморных скульптур. Я просидел там до темноты, а потом побрел, как к хорошим знакомым, в полицейский участок. Там я объявил, что работы не нашел, что переночую у них, если позволят, а утром уйду из города, чтобы искать работу у крестьян.

Какое это было наслаждение лечь в чистую арестантскую постель и укрыться одеялом, снять, наконец, лохмотья и спокойно уснуть! Полицейский не запер дверь на ключ, и я чувствовал себя и впрямь как в гостях. В пять утра он разбудил меня и сказал, что пора уходить. С каким бы удовольствием я просидел в этом каземате еще недельку, чтобы подлечить свои стертые в кровь ноги и набраться сил. Но делать нечего. Я медленно побрел в Кельн.

Пройдя километров пятнадцать, я подошел к большому селу. На околице парни играли в футбол, и я присел понаблюдать за игрой. Вдруг появился полицейский на велосипеде, но я, как к хорошему знакомому, пошел

ему навстречу и объявил, что ищу работу. Он, наверное, не ожидал такой смелости от бродяжки. Узнав, что я русский, он меня осмотрел, долго раскуривал трубку, потом сказал, чтобы я шел за ним. Мы пришли к просторному дому, в котором находилась деревенская корчма.

Хозяин хотел знать, работал ли я вообще когда-нибудь в своей жизни. Я рассказал, что работал кучером, пастухом, кузнецом, что все умею делать. Тогда он решил, что проверит и, если я не обманываю, то оставит до Рождества. Мы договорились о плате, естественно — мизерной.

В пять часов утра хозяин меня разбудил и велел убрать стойла шести коров и четырех лошадей. Я сделал эту работу в полчаса и с таким мастерством, что он пригласил меня в кухню к завтраку. За столом сидела большая семья, человек десять. Подали две чашки теплого, как каша, сыра и чашку варенья из чернослива. Все стали намазывать сыр на хлеб и есть, запивая жидким кофе. Я за столом не стеснялся, чувствуя, что завтрак уже заработал. Однако вся семья на меня косилась, в особенности старуха, которая шипела, что я вор и что все в доме нужно спрятать от меня подальше.

После завтрака поехали в поле. Шла уборка картофеля и яблок. Яблони росли здесь же, в поле, и хозяин бесцеремонно взваливал мне на спину огромные мешки, которые я тащил к возу. Так я работал, с небольшим перерывом на обед, до захода солнца.

В сарае стояли приспособления для резки яблок и огромный пресс для яблочного сока. Его нужно было закручивать до самого дна, пока не оставалось ни капли, потом нужно было носить сок на спине в десятилитровой металлической посудине через улицу в подвал, где стояли огромные бочки, и взобравшись по лесенке на бочку, ловко перегнуться, чтобы сок туда вылился. Так я работал до поздней ночи.

В воскресенье хозяин выдал мне старомодного фа-

сона брюки, целые и чистые, пиджак и ботинки. Ботинкам этим по времени и по фасону исполнилось лет сто. Когда старуха увидела их на мне, с нею чуть не случился обморок. Она стала кричать, что это ботинки ее покойного мужа и я должен их немедленно снять. Однако хозяин мне подмигнул, и мы отправились в костел. Когда вернулись, хозяин объявил, что всю эту одежду я могу носить только по праздникам.

Я стал подсчитывать, сколько денег уже заработал. Мне хотелось как можно скорее уехать в Берлин. Я надеялся, что в общежитии для русских беженцев придумаю какой-нибудь выход. Через две недели я сказал хозяину, что ухожу. Он не стал меня удерживать и, к большой радости старухи, вечером после работы я собрался в путь. Напялив старые лохмотья, я обулся в исторические ботинки с пикообразными носами. Хозяин выложил на стол, как я и предполагал, сумму, достаточную для поездки в Берлин. Но, когда его взгляд упал на мои ботинки, он тут же заявил, что продает их мне, и забрал добрую треть моего заработка. Взяв оставшиеся деньги, я в полной темноте быстро зашагал к ближайшей железнодорожной станции.

До самого Берлина денег не хватило, но мне повезло, так как контролер, проверив мой билет несколько раз, больше его не проверял, и я благополучно прикатил в столицу Германии.

В берлинском общежитии на Александерплац я увидел ту же картину. Голод, холод, все лихорадочно чего-то ждут, куда-то собираются ехать, кому-то писать, у кого-то просить помощи. Вечерами разговоры, воспоминания, каждый старался рассказать о себе, о своей жизни. Артисты готовились к выступлениям. В одном углу старалось сыграться трио балалаечников с певцом-тенором, повторявшим бесчисленное количество раз "Вечерний звон", в другом артисты Московского художественного театра репетировали какую-то пьесу. Много разговоров шло о недавно открывшемся в Берлине русском ресто-

ране ”Медведь”, в котором, якобы, выступали такие знаменитости, как Настя Полякова, Александр Вертинский, Плевицкая, опереточная дива Сара Лин и многие другие.

В общежитие приходил ночевать бывший шофер князя Сулковского из Киева. Он работал на кухне в ресторане ”Медведь”, где кутили, конечно, лишь иностранцы, расплачиваясь валютой. Каждый вечер я с соседями по кроватям поджидал счастливчика-шофера. От него так восхитительно пахло жареными котлетами, что мы глотали слюнки. Он был хорошим парнем и часто приносил остатки из ресторана, но за это мы должны были слушать его рассказы о том, как он возил своего князя то в ресторан, то в театр, то к цыганам, то в имение. Рассказывал он скучно, да к тому же всегда одно и то же, но делать нечего: хочешь закусить, значит, слушай. Наш шофер нуждался в стрижке, так как здорово оброс. Соседи стали его подзадоривать:

— Принеси завтра котлет, и тебя будет стричь бывший парикмахер графа Зубова!

Роль парикмахера должен был выполнять я. На следующий вечер наш шофер действительно принес четыре аккуратно завернутые отбивные котлетки. Мне досталась одна, а три тотчас исчезли в чревах зачинщиков парикмахерской эпопеи. Мне сунули в руки ржавые, тупые ножницы, ”болельщики” расселись вокруг, и ”стрижка” началась. Я, приплясывая вокруг бедного шофера, выдирал клочья с его головы. Вскоре она напоминала туловище стриженого барана.

Зрители, посмеиваясь, стали расходиться, а я стал бормотать, что, мол, ножницы слишком тупы, что болела рука... Бедный шофер надел шляпу и не снимал ее несколько дней. Еду он нам больше не приносил и переселился в другой угол барака.

В это общежитие ежедневно приезжали на день-два студенты из Праги. Они пробирались в Германию неофициально, где-то в укромных уголках. В Берлине на свои

небольшие сбережения, расплачиваясь чешскими кронами, они могли покупать одежду гораздо дешевле, чем в Праге. Я оказался у студентов кем-то вроде гида, водил их в магазины, где имелись товары подешевле. Они много рассказывали о Чехословакии и о Праге, но больше всего меня заинтересовало то, что там проживает до тридцати тысяч русских эмигрантов, что правительство поддерживает устройство всевозможных учреждений по оказанию им помощи, что для них устраивают различные курсы, существуют две русские гимназии и можно учиться в университете.

Мне захотелось немедленно отправиться в Чехословакию. Один из студентов предложил следующий план: я должен буду одеть на себя всю новую одежду — костюм, пальто, рубашку, — словом, все, что он купит в Берлине, кроме того он даст мне двое часов, карманные и наручные. За свои деньги он купит мне билет до Праги, а там я все это должен ему вернуть. Он же подарит мне свой поношенный костюм, который, разумеется, куда лучше моего. Я немедленно согласился.

Не успел я оглянуться, как уже сидел в вагоне третьего класса, одетый в новые, замечательные вещи и ежеминутно сверял наручные и карманные часы.

11 ноября 1922 года, под вечер, мы вышли из поезда недалеко от чешской границы. Границу нужно было перейти лесом, расстояние, примерно, километров десять, а на другой стороне леса уже находилась Чехословакия. Мой покровитель предупредил, что опасаться следует немецких пограничников, которые не любят перебежчиков с вещами, купленными в Германии. Но чешские пограничники, после недавнего получения независимости от Австро-Венгрии, переполнены восторженными чувствами славянофильства. Мы пошли в гору через маленький лесок, по обочине дороги. Стемнело, дорога круто поворачивала вправо, и я решил перейти на другую сторону, чтобы точнее узнать направление. И тут же прямо передо мной будто из-под земли вырос

немецкий пограничник с винтовкой наперевес и скомандовал:

— Руки вверх!

На его вопрос, куда я иду, я соврал, что приехал на работу в кузницу, которая должна быть где-то поблизости. Пограничник заявил, что здесь только лес и граница и никакой кузницы нет. На станции он передал меня полицейскому, который повел меня в здешний городок, разыскал кузницу и кузнеца и спросил, выписывал ли он себе помощника. Тот отрицательно покачал головой и сказал, что сейчас здесь шатается много таких кузнецов, которые отродясь не держали молота в руках. Я стал доказывать, что работал с автоматическим молотом и что я фабричный кузнец. Но иностранный акцент в моем немецком окончательно разочаровали и кузнеца, и полицейского.

На следующее утро меня привели в местный суд. Там обыскали, отобрали всю одежду, оставив только рубаху и штаны, вынули даже шнурки из моих исторических ботинок и в таком виде втолкнули в комнату с железными решетками на окнах. Войдя туда, я чуть не свалился от изумления: на полу в углу сидел мой покровитель, полуголый и совершенно обезумевший. Увидев меня, он стал биться головой о стенку, захлебываясь в рыданьях, повторяя, что через два дня у него ответственный экзамен в Пражском университете, а его теперь не скоро выпустят, да еще моя судьба сейчас тоже на его совести. Он проклинал тот день и час, когда решил поехать в Берлин.

На допрос нас водили по очереди. Вскоре моего покровителя увели, и я его больше не видел. Через несколько дней следователь тихим, ровным голосом стал читать приговор, из которого следовало, что за нелегальный переход границы с целью контрабанды (доказательство — двое часов и новое пальто на два размера больше, чем нужно) я приговариваюсь к году тюрьмы с конфискацией контрабандного товара.

На другой день мне вернули одежду, кроме пальто и часов, и старик полицейский повел меня на вокзал, скрепив наручниками мою руку со своей. В вагоне третьего класса мы приехали в Дрезден. Шествуя через весь вокзал в наручниках и прикрепленный к руке полицейского, я умирал со стыда, я готов был провалиться сквозь землю перед снующей вокруг публикой. Наконец, полицейский привел меня в вагон для арестантов.

Поезд прибыл на станцию Бауцен.

Наш автобус остановился во дворе огромного пятиэтажного здания крестообразной формы. Подростков от десяти до семнадцати лет сажали отдельно от взрослых. Нас, молодых, оказалось человек шесть. Всех сразу заставили раздеться, помыться под душем, потом остригли и устроили медицинский осмотр, всем выдали номера и сказали, что теперь обращаться к нам будут по номеру, а не по фамилии. Мой номер был 1151. Потом нам выдали черные штаны, черную короткую куртку и нижнюю рубаху и повели бесконечными коридорами и железными лестницами. Наш флигель оказался на пятом этаже — ровно сто одиночных камер. В одну из них мне и приказал войти надзиратель.

Немедленно откуда-то появился подросток в такой же форме, как моя, с синим шарфом вокруг шеи, и стал объяснять, как нужно откидывать на ночь койку, как утром ее убирать, как у двери с миской в руках ожидать, когда раздают еду, и как пользоваться ведром с крышкой, называемым в СССР "параша". Он предупредил, что в случае плохого исполнения этих премудростей будут наказывать очень строго, оставлять без еды, а еще хуже — сажать в холодный карцер.

Это огромное здание, битком набитое людьми, у которых вместо имени был номер, напоминало кладбище, а человек в своей камере оставался как в могиле. Многие новички колотили кулаками в дверь, бились головой об стены и готовы были покончить с собой. Но через несколько дней, измученные, они входили в ко-

лею тюремной жизни. Единственным моральным спасением здесь была работа. А за перевыполнение нормы следовало поощрение в виде полтарелки супа.

Рано утром, после подъема, давалось десять минут, чтобы одеться, умыться, застелить койку и ожидать у двери с ведром-уборной в руках. Когда надзиратель отпирал дверь, нужно было быстро стать в очередь в коридоре в метре друг от друга, затем вылить содержимое ведра в большую уборную и, быстро ополоснув ведро, возвращаться в камеру. Затем следовала раздача утреннего кофе с дневной порцией хлеба. В коридоре можно было видеть всех обитателей нашего этажа и, хотя разговаривать между собой было запрещено, все же мы кое-что узнавали друг о друге.

Основное различие заключалось в шарфах, наподобие галстуков, которые арестанты носили на шее. Они были пяти цветов: черный, розовый с черными полосами, розовый, синий и белый. Черный галстук носили самые непокорные, которые постоянно порывались протестовать против тюремных порядков и правил. Розовый с черными полосами — попавшие в тюрьму вторично. С розовыми галстуками ходили уголовники, в основном воришки. В синих галстуках, а их оказалось немного, — преступники вроде меня, попавшие в тюрьму за нелегальный переход границы, бродяжничество, спекуляцию и просто не имевшие документов. Белые галстуки носило несколько человек. Белогалстучник — арестант, просидевший в тюрьме длительный срок и зарекомендовавший себя с положительной стороны. Их камеры не закрывались на ночь на ключ, и они не работали, как все, а скорее находились на побегушках у надзирателей и администрации тюрьмы.

На следующий день в мою камеру пришел человек и стал показывать, как плести коврики из разноцветных веревок. Коврики были разных рисунков, и в зависимости от рисунка и размера назначалась дневная норма выработки. Чтобы выработать норму, нужно было работать

быстро, целый день стоя у маленького станка с железными спицами.

В один из дней дверь в камеру открылась, и надзиратель объявил:

— Господин главный учитель!

В камеру вошел подстриженный бобриком костлявый господин с выправкой прусского офицера. Он осмотрел меня с ног до головы, затем провел пальцем по полке, где стояли тарелка и чашка, поднес палец мне под нос, злобно крикнул:

— Грязь! — и, прибавив: — Русская свинья! — вышел из камеры.

Два раза в неделю в небольшом зале, где стояли маленькие столики, мы занимались. Главный учитель что-то долго и грозно говорил, потом читал отрывки из книг и в конце урока задавал арифметическую задачу, которую нужно было решить устно и ответить на следующем уроке. Я всего не понял, но все же уяснил суть задачи. На следующем уроке на вопрос учителя — кто решил задачу? — поднялось всего несколько рук, и моя в том числе. Он начал спрашивать всех, оставив меня напоследок. И оказалось, я был единственным, кто решил задачу верно. Учитель потребовал повторить задачу громко, надеясь, что я собьюсь, и весь передернулся от того, что я повторил ее в точности. Он не мог примириться с тем, что русский мальчик решил задачу лучше немецких. Однако ему на помощь пришли хихиканья и смешки всего класса над моим произношением. Он сделал вид, что и сам смеется, зло стукнул кулаком по столу и вышел из класса, на этот раз не задав устной задачи. Но после этого случая, сколько бы я ни поднимал руку, учитель делал вид, что меня не замечает, и больше никогда не вызывал отвечать.

Однажды учителю довелось проявить свои ораторские способности. В то время германские шахтеры устроили всеобщую забастовку и отказались добывать уголь, который весь до последней крошки отправлялся

во Францию как военная контрибуция. Получали они по карточкам паек настолько мизерный, что для работы у них не оставалось никаких сил.

Учитель ворвался в класс со злобно сверкающими глазами, он грозил кулаком невидимому врагу, бил себя в грудь и отрывисто выкрикивал:

— Мы — немцы! Нас не заставят голодными спускаться в шахты и отдавать все проклятым французам! Они очень скоро забыли, с кем имеют дело! Мы не раз им сворачивали шею! Придет время, и мы их заставим работать голодными! Тогда они заплатят за это в десять раз больше, чем получают сейчас!

Эта речь породила настоящий массовый психоз. Все повторяли одну фразу: "Мы — немцы!", вскакивали, снова садились, бледнели, краснели и при этом злобно смотрели на меня. Тюремная атмосфера словно бы испарилась, и я боялся, что в патриотическом экстазе они набросятся на меня и растерзают. Тогда бы им никто не помешал...

Вскоре со мной очень тепло и доверительно говорил пастор. Он внимательно выслушал мою историю о том, как я попал в тюрьму, и посоветовал быть трудолюбивым, аккуратно исполнять все тюремные правила и требования. Он же, в свою очередь, постарается мне помочь и, может быть, выхлопочет досрочное освобождение. С этих пор по воскресеньям я стал посещать лютеранскую мессу.

Каждый вечер, в четыре часа, нас гоняли на получасовую прогулку во двор тюрьмы. Когда мы спускались во двор одной лестницей, по другой поднимались взрослые арестанты. Вдруг я услышал, как кто-то громко по-русски позвал меня:

— Николай!

Это оказался мой недавний "покровитель", студент из Праги. Я помахал ему в ответ. Тогда он закричал на всю тюрьму:

— Меня выпускают досрочно! Хлопочи! Тебя тоже

должны выпустить!

За нарушение правил его наверняка отправили в карцер, в особенности за русскую речь, впервые прозвучавшую под сводами немецкой тюрьмы.

Наступило Рождество, и работы прекратились на целую неделю. Я подставлял стол к крошечному, забранному железной решеткой окну и, взобравшись на него, смотрел на волю. В маленькой щели, между двух тюремных зданий, виднелся кусочек поля и железная дорога, по которой иногда проходили поезда. Сердце сжималось от тоски и в голову лезли безумные планы и мысли о бегстве.

К Рождеству некоторым арестантам родственники присылали скудные пакетики с лакомствами. Но тюремное начальство все эти посылки объединяло и делило поровну между всеми арестантами. Я получил три яблока, несколько печений и две конфеты. Подарок невольно напомнил мне о том, как я одинок. Ведь обо мне никто из моих родных ничего не знал!

Я никогда не был лентяем, и теперь легко вырабатывал норму и даже больше, получая за это лишних полтарелки супа. За прилежный труд я получил нашивку на рукав "похвальный знак", и меня назначили коридорным. Нужно было разносить еду арестантам, подносить материалы для работы и забирать готовую продукцию. Теперь все это входило в мои новые обязанности.

Весь наш этаж приходил в ужас от слова "карцер" и от маленького седого старичка, заведующего карцером. Его фамилия — Манн — осталась в памяти до сих пор. Он славился непомерной жестокостью. Его не трогали мольбы и крики заключенных, и он никогда не открывал дверь карцера до положенного срока. Еще одной моей обязанностью было ходить в подвал к этому Кащею и относить просидевших в карцере прямо в тюремную больницу. Все они были в беспамятстве или в лихорадке, а некоторые, совершенно обезумев, не хотели никого к себе подпускать.

Начался 1923 год. Тащились погрязшие в тюремной рутине дни. Приблизительно в середине февраля меня вызвали в кабинет, где сидели за столом лютеранский пастор, ксендз, главный надзиратель и главный учитель, который упорно не хотел меня замечать и смотрел в потолок. Пастор начал говорить о том, что за мое примерное поведение и хорошую работу все присутствующие решили хлопотать за меня перед судом о сокращении срока.

Наконец, пришла весна, а с нею и мое освобождение. Я побывал в кабинетах всего начальства, причем все они делали вид, что лично добились для меня милости. Я пропускал мимо ушей их ''отцовские'' наставления о том, что наказание пойдет мне на пользу и я позабуду склонность к преступлениям, так как такой склонностью никогда не обладал.

И вот настал долгожданный день. Я получил старую одежду чистой и даже отглаженной, переоделся, и, шагнув за ворота тюрьмы, увидел деревья, покрытые свежей зеленью. Тогда, как никогда остро, я почувствовал себя человеком, выздоравливающим после долгой, тяжелой болезни.

На вокзале надзиратель вручил мне билет на поезд до чешской границы, маленькую булочку и старый данцигский документ, на котором стояла огромная печать города Бауцен и приписка о том, что для меня въезд в Германию воспрещается на всю жизнь.

Чешскую границу мне так или иначе приходилось переходить нелегально. С таким документом я нисколько не боялся немецких пограничников, что же касается чешских, то я рассчитывал на их знаменитое славянофильство. Чешский пограничник действительно стал расспрашивать, куда, откуда и зачем я иду. И когда, стуча зубами от страха и холода, я честно рассказал, что шесть месяцев просидел в немецкой тюрьме, что мечтаю учиться и попасть для этого в Прагу, он растрогался и объяснил, что дорога, по которой я так бодро шагаю, ведет к

немецкой стороне. Он рассказал, как дойти до станции, и попросил поторапливаться, пока не закончилось его дежурство, не то явится другой и чего доброго завернет меня обратно в Германию.

На маленькой пограничной станции я стал нахально просить бесплатный билет в Прагу. Кассир недовольно от меня отмахнулся, однако подошедшие к кассе железнодорожники сказали, что попытаются помочь ''братушке''. Они поговорили с кондуктором подоспевшего поезда, усадили меня в купе, и кондуктор, узнав обо всем, что со мной приключилось, подарил мне пять крон. Так я доехал до ''златой Праги'', города редкой красоты и своеобразия. В те первые годы независимости Чехословакии чехи во главе с обожаемым президентом Масариком, большим русофилом, принялись строить свое государство дружно, умно и весело.

С вокзала я сразу отправился в русскую эмигрантскую организацию ''Земгор'', которая занимала недалеко от Вацлавского проспекта обширное полуподвальное помещение, с большой столовой, библиотекой, залом и множеством всевозможных бюро. Мне выдали талоны на три дня для бесплатных обедов в ''Земгоре'' и пропуск в общежитие, находившееся в районе Грачан, недалеко от знаменитого замка. В столовой, декорированной в русском лубочном стиле, я съел тарелку хорошего борща с мясом, две рубленых котлеты с гречневой кашей и кисель. Окружающее казалось мне сном, я не мог поверить, что слышу русскую речь и вижу доброжелательные лица. Это производило такой контраст с тюрьмой, что я, забравшись в темный угол, не выдержал и расплакался.

Общежитие было переполнено, однако койка для меня нашлась. Ко мне тотчас подсело несколько человек, и я рассказал мою историю, умолчав, впрочем, о тюрьме. Один из ребят, показавшийся мне самым веселым и симпатичным, одолжил у меня две кроны, как он сказал, только до завтра. Больше я его никогда в жизни не видел.

Долго наслаждаться беспечной жизнью мне не дали, и однажды усердные деятели ''Земгора'', несколько бородатых Иванов Ивановичей и Петров Петровичей, усадив меня в большом кабинете, стали решать мою дальнейшую судьбу. Мне уже пошел семнадцатый год, и продолжать образование в гимназии оказалось слишком поздно. Учитывая мое знакомство с машинами, они предложили мне подготовиться для сдачи экзаменов экстерном за четыре класса гимназии. Тогда я смогу поступить в школу механиков и получить диплом мастера. Давался месяц на зубрежку в Праге, а потом мне надлежало отправиться в городок Моравска Чебово, где находилась русская гимназия.

И вот я в Моравской Чебове. Гимназия готовится к последним экзаменам перед летними каникулами, ставится торжественный спектакль — одноактные пьесы, танцевальные номера... На меня тотчас же набросились две гимназистки, одной из которых нужен был партнер для исполнения роли нищего старика, а другой — партнер для украинского танца.

Я — старый нищий скрипач. Зима... идет снег... Я играю на скрипке, а моя дочь, босая, продрогшая, танцует и просит милостыню. С нами странствует наш любимый пес. Темнеет. Мы укладываемся прямо на снегу. Дочь прижимается к холодеющему телу отца. Утром прохожие находят несчастное семейство. Дочь и собаку подбирают добрые люди, но из рук замерзшего старика не могут вытащить скрипку, так крепко он прижимает ее к своей груди.

На репетициях ''моя дочь'' так тесно прижималась к моему ''холодеющему телу'' и так горячо дышала мне в затылок, что я еле сдерживался, чтобы не схватить ее в объятия, о чем она, наверное, мечтала. К удивлению второй моей партнерши, нашей примы-балерины, украинский танец я знал не хуже ее. Высокая грудь ''примы'' дразнила меня во время репетиций и снилась по ночам.

Я был физически здоровым, широкоплечим, семнадцатилетним парнем, и стоило мне хорошо отоспаться и поесть, как я начинал бредить женщинами. После репетиций, ложась спать, я мучительно боролся с собой, чтобы выбросить из головы партнерш, падающих в мои объятия. Как хорошо, что в Праге я так много занимался! Здесь заниматься так же прилежно не было никакой возможности. На ежедневных репетициях я все сильнее прижимал к себе партнерш, которые делали вид, что ничего не замечают. Благодаря успехам в актерском мастерстве меня прозвали ''артистом'', и в гимназии эта кличка осталась за мной: ''Скажи артисту, позови артиста, спроси артиста!''

Экзамены я сдал со средними отметками. Сразу после них состоялся долгожданный спектакль. Меня загримировали дряхлым стариком, скрипку я умел держать в руках и, наверное, мой образ был правдив и трагичен. Оркестр с надрывом исполнял Сен-Санса, ''моя дочь'' выплясывала босиком и в лохмотьях вакхическую пляску в стиле Айседоры Дункан, но больше всех отличился старый пес. Услышав жалобную песнь скрипки, он запрокинул голову и завыл. Зал замер.

Успех оказался грандиозным, пьеса признана лучшим номером программы. С другой девушкой я станцевал украинский танец со всеми полагающимися присядками и падебасками. Аплодировали много, и номер пришлось бисировать. За кулисами моя партнерша, не в меру возбужденная успехом, с жаром шептала мне на ухо:

— Давай удерем!

Совершенно потеряв голову, я даже не соображал, что она говорит, еле удерживаясь от желания сжать ее в объятиях.

— Бежим в Прагу! — продолжала она шептать.

— Но что мы будем там делать?

— Танцевать в кабаре! Продай на базаре свое и мое одеяла! Этого хватит на билет!

Тут подошла моя партнерша по пьесе и с видом превосходства положила мне руки на плечи:

— Знаешь, Коля, — патетически воскликнула она, — когда на сцене ты умирал от холода, мне захотелось умереть вместе с тобой!

После спектакля устроили обед с пирогами и пирожными, и мои партнерши про меня забыли, обходя присутствующих и с наслаждением выслушивая многочисленные комплименты. Меня подвели к столику, за которым сидели директор гимназии, священник, профессора и учителя. Все дружно поздравляли меня с успехом, а директор сказал:

— Ты — настоящий артист, и тебе нужно лучше подумать, прежде чем стать мастером-механиком.

Я взглянул на священника, который одобрительно кивнул головой. Значит, директор не шутил! От волнения у меня задрожали колени. Боже мой! Неужели я мог бы стать артистом!

Приехав в Прагу, я узнал в ''Земгоре'', что занятия в школе механиков начнутся только с пятнадцатого сентября. У меня оставалось шесть свободных недель. Три дня я проработал на сельскохозяйственной выставке, торжественно открытой самим президентом Масариком.

В один из вечеров я побывал на концерте Александра Вертинского в зале филармонии. Там я увидел почти всех гимназисток из Моравской Чебовы, которые истерически кричали и бесновались, не отпуская Вертинского с эстрады. Сидели там и мои партнерши, однако меня не заметили.

Для постройки узкоколейной дороги в Словакии требовались рабочие. Записалось тридцать студентов на месяц, и я с ними. У Карпатских гор на станции Мезелаборцы мы и стали прокладывать железную дорогу. Студенты впервые узнали, что значит работать с киркой и лопатой, и с первых дней натерли на руках кровавые мозоли. Ночевали мы в бедном селе за небольшую плату в амбарах, сараях, а иногда и в крестьянских хатах.

На лесных полянах все еще виднелись давно обвалившиеся окопы и траншеи, огромные воронки. Все это напоминало о недавней войне. В зарослях кустарника мы находили то заржавевшую русскую винтовку, то котелок или просто какие-то лохмотья и ремни. Местные жители рассказали, как венгерская кавалерия, окружив большой отряд русских, перерубила всех до последнего человека. Убитых похоронили на склоне горы, и в первое воскресенье мы отправились навестить их могилы, которые вытянулись ровными линиями вдоль всего склона.

Работая на узкоколейке, я откладывал каждую копейку, чтобы начать учебу в Праге хоть с какими-то деньгами. Недели за две до нашего отъезда появился некий субъект из русских и устроил всеобщую карточную игру. Все, в том числе и я, ему проиграли все сбережения до последней копейки. Пришлось работать аккордно, то есть получать деньги за каждую вагонетку земли, высыпанную в овраг. Не рассчитав своих сил, я за неделю до отъезда надорвался, и меня отправили в больницу для операции в паху. Когда я вернулся в Мезелаборцы, студенты уже уехали. У меня не было денег на билет, не было работы, к тому же я пропустил день поступления в школу механиков.

В ноябре я, наконец, добрался до Ужгорода, который тогда принадлежал Чехословакии. Через несколько дней туда приехали студенты из Праги с поручением от известного русского художника Сергея Маковского посетить как можно больше карпатских деревень и собрать материал для выставки "Жизнь и искусство Прикарпатской Руси", которую Маковский собирался устроить в Праге. Я упросил студентов, чтобы меня взяли с собой, и работа началась. Она оказалась небезопасной, ибо в глухих деревнях крестьяне нас вполне могли убить, приняв за воров или бандитов. Приходилось брать с собой "четника" — так чехи называли жандармов.

Каждый раз крестьянам приходилось подолгу объяснять, для чего мы пришли, но когда они, наконец, впускали нас в хаты, студенты замирали от восторга. Каждый дом являлся настоящим музеем прикладного искусства. В одном нас встретила древняя старушка, одетая в черную юбку и кофту из домотканого материала, искусно вышитую желтыми, зелеными и красными нитками. Студенты стали предлагать сыну старухи соблазнительную сумму за этот наряд. Тот долго чесал затылок, а потом объявил:

— Сто крон вместе со старухой, иначе не продам!

Старушка улыбалась беззубым ртом, кланялась и совершенно не понимала, о чем идет речь.

Один из студентов изучил архитектуру здешних деревянных церквей, построенных триста лет назад, и сделал для выставки точные их модели. А сейчас эти церкви вошли в число редчайших и оригинальнейших памятников древнего зодчества.

Из Ужгорода в Прагу отбыли два вагона всевозможных вышивок, деревянных изделий, икон и церковных книг. Выставку Сергея Маковского открыл президент Масарик, и она имела большой успех. Потом она экспонировалась в Брно, Братиславе, Кошицах и в Ужгороде.

Чтобы заработать денег на проезд в Прагу, я устроился работать к разорившемуся венгерскому помещику, хозяину бакалейной лавки. Я исполнял обязанности и приказчика, и посыльного, развозил и разносил по домам товары. Хозяин часто посылал меня рубить дрова и топить печи в его богато убранном доме. У него служила кухаркой смазливая тридцатилетняя венгерка Марго. Мы с ней познакомились в сарайчике, когда я колол там дрова, а она пришла, чтобы попросить принести дров для кухни. Когда я колол дрова, она ухитрялась по нескольку раз прибегать в сарайчик. Потом ей понадобилось, чтобы я помогал ей развешивать хозяйское белье на чердаке. Бросив белье в кучу, она падала на него, увлекая меня за собой. Разливая в погребе вино из бочек в бу-

тылки, мы пили прекрасное белое вино и предавались любви тут же под бочками. Хозяин, конечно, знал, почему Марго так настойчиво требовала моей помощи в домашней работе, и посылая меня из магазина в дом, всегда хитро подмигивал. Однако и сам хозяин, и его жена не утруждали себя супружеской верностью. Я часто замечал, как мой патрон закрывался в маленьком бюро с хорошенькими посетительницами, а когда приходилось топить печь в спальне хозяйки, я постоянно спугивал какого-то мужчину, который, полуодетый, прятался за шкаф или удирал в другую комнату, а хозяйка притворялась больной.

Весной в Ужгород приехал русский театр миниатюр во главе с Зелинским. Были показаны комедийные номера с пением, а также танцевальная пара, исполнявшая классическое па де де, украинский танец и танец-гротеск. Я не пропустил ни одного представления и вновь, как одержимый, стал мечтать о сцене. Вскоре я изучил все номера танцевальной пары и, начиная с этого времени, в любом спектакле старался зрительно схватывать любые па и всякие замысловатые коленца, какие только возможно.

Летом в Ужгород вернулась выставка, организованная Сергеем Маковским. Ее разместили в здешней гимназии, и я, как один из создателей, стал сторожем и гидом. В будние дни посетителей почти не было, и я отдавался танцам, упражняясь в пустых залах в пируэтах, прыжках и воздушных турах.

В начале августа я снова отправился в Прагу. На этот раз в ”Земгоре” мне ничем не могли помочь и предложили отправиться на шестимесячные курсы в автотракторную школу. Я сдал экзамен и был зачислен, но до занятий еще оставалось две недели. В один прекрасный день я познакомился в столовой с парнем, который пожаловался, что пропустил экзамен в автотракторную школу и теперь снова должен вернуться в провинцию, где работает в маленьком ансамбле, дающем спектакли

в провинциальных городах. Мой новый знакомый работал "позванщиком", то есть в течение дня ходил по домам и предлагал билеты на предстоящий спектакль, а вечером принимал участие в представлении. Мне его работа так понравилась, что я тут же предложил ему обменяться: пусть он берет мои документы и учится в автотракторной школе, а я поеду в провинцию, где находится его труппа. Только пусть он купит мне билет и проэкзаменует, гожусь ли я для выступлений? Посмотрев мою неимоверную смесь из всех виденных мною танцев, мой экзаменатор заявил, что я не больше не меньше как второй Нижинский. Я отдал ему мои документы, он мне деньги на билет, и я отбыл на свои первые в жизни "гастроли". Смог ли парень поступить в школу с моими документами, осталось для меня загадкой.

Приехав утром в большую деревню, я из вывешенных афиш узнал, где выступает ансамбль, и сейчас же направился по указанному адресу. Это был маленький зал при местной церкви, а вместо сцены — сколоченные на скорую руку подмостки. Я разыскал заведующего труппой, бывшего также и певцом-басом. Ему я отрекомендовался исполнителем украинских танцев, заметив при этом, что готов исполнять обязанности позванщика. Он тут же заставил меня протанцевать гопак, спросил, есть ли у меня сапоги и украинский костюм. Получив отрицательный ответ, он порылся в потрепанном чемодане и извлек оттуда красную русскую рубаху и огромного размера сапоги, заявив, что одалживает эти вещи до тех пор, пока я сам не приобрету костюм для выступлений. Вручив мне также пачку билетов на предстоящий концерт, заведующий сказал, что я получу десять процентов от вырученной суммы.

Я принялся барабанить в двери всех домов, предлагая билеты и рекламируя "изумительное представление, с участием мировых знаменитостей". К четырем часам, продав пятьдесят билетов и побив все рекорды

бывшего позванщика, падая от усталости, я вернулся на репетиции.

В четыре часа собралась труппа, состоящая из трех женщин и пяти мужчин. Артисты вели себя очень развязно и здорово смахивали на одесситов. Мне дали балалайку, показали, как исполнять четыре аккорда, аккомпанируя на домре солисту, исполнявшему "Ах вы, сени мои сени" и "Светит месяц, светит ясный". После оркестровой состоялась репетиция хора. Меня заставили петь партию второго голоса в терции сопрано, что я делал совершенно невпопад и при этом невероятно фальшивил. Однако мое пение близко к сердцу никто не принял. После, под аккомпанемент хора, я должен был танцевать мой танец. Но дело было в том, что артисты пели в одном ритме, а хлопали в ладоши в другом, и я несколько раз останавливался в полнейшем недоумении. Однако артисты покрикивали одобрительно и старались меня приободрить.

Вечером я обрядился в гигантскую красную рубаху и огромные сапоги. Кто-то попытался меня загримировать, насовав мне полные глаза вазелина. Когда начался концерт, публика все еще бесцеремонно шумела, рассаживаясь по местам. Кое-как я высидел первое отделение с балалайкой в руках, но во втором, стоя рядом с сопрано, я так часто фальшивил, что все артисты поворачивали головы в мою сторону, вызывая в публике хохот. В антракте наша сопрано готова была меня убить. В третьем отделении исполнялись цыганские романсы и пляски. Наступил мой черед, но не тут-то было. На меня вдруг нашел столбняк. Стоя с разведенными в стороны руками и открытым ртом, я не мог заставить себя сдвинуться с места. Кто-то подталкивал меня сзади, над ухом ревел "бас":

— Пляши немедленно, или я тебе шею сверну!

Я продолжал стоять истуканом. Даже злившаяся на меня сопрано, приплясывая и пристукивая каблучками, прошлась по сцене, приглашая меня танцевать, а я

все еще стоял окаменевший и не мог сделать ни шагу. Спасли положение все члены ансамбля, пустившись в пляс. В это время опустили занавес, и директор-бас дал волю гневу. Он гремел, что мне не видать сцены в жизни, что я тупое, ни к чему не пригодное создание.

В те времена актеры нашей труппы отправлялись на ночлег к славянофильствующим чехам. Нас разбирали обыватели побогаче. Нередко случалось, что приходя домой, они будили домочадцев с просьбой уступить ложе одному из артистов. Так и приходилось ложиться в согретую кем-то постель.

После первого выступления, прошедшего так неудачно, я задавал себе вопрос, почему, выступая в гимназии и получая комплименты от самого директора, я сдрейфил здесь, на жалких подмостках, перед примитивной публикой. Может, потому, что сам продавал билеты и рассказывал небылицы о качестве спектакля?.. Впрочем, я очень быстро перестал смущаться. Несколько сельских жительниц состряпали мне зеленую рубаху, красные шаровары и подходящие сапоги. Теперь, в собственном костюме, я отплясывал свои номера со все возрастающим успехом. Меня даже стали первым выбирать на ночлег. Постепенно я начал становиться в театре "фигурой" и отказался делать "позванки". Меня произвели в должность заведующего сценой. Я развешивал декорации, заботился об освещении, добывал пианино или фисгармонию. Дел было много, и я чувствовал себя по-настоящему счастливым.

В то время в Чехии процветало спортивное общество "Сокол", а его спортивные залы, большие и со сценами, назывались "Соколовни". Давая концерт в такой "Соколовне", мы чувствовали себя большими артистами. Мне неимоверно льстили мои успехи у публики. Стараясь привлечь к себе внимание, я выдумывал новые, совершенно потрясающие трюки. Иногда надевал зеленую рубашку с сапогами задолго до спектакля и ходил так по улицам. Прохожие на меня глазели, а я радовал-

ся. Переезжая из одной деревни в другую, мы перевозили наш жалкий реквизит в повозке, запряженной волами. Я шел вдоль поля, усеянного сахарной свеклой, и, воображая, как выхожу кланяться перед беснующейся публикой, раскланивался перед грядками.

Наша труппа пополнилась еще двумя артистами: певцом-тенором и бывшей цирковой танцовщицей. Ей было около сорока, звали ее Ольгой Николаевной. Когда-то она занималась в балетной школе, слепленные мною танцы подвергла большой критике, однако мой талант одобрила. Ольга Николаевна стала давать мне уроки везде, где позволяло помещение и время. Танцевали мы с нею в паре, хотя она и выглядела моей мамашей.

Летом 1925 года наша труппа прекратила выступления до осени. Я снова отправился в пражский "Земгор" с парой крон в кармане. Русское население Праги здорово поредело, многие перебрались во Францию, в новом помещении "Земгора" шла запись желающих отправиться туда на полевые работы.

В один из дней в столовой "Земгора" к моему столику подошел высокий господин с прелестной маленькой дамочкой. Господина звали Александр Николаевич Цветнов, а даму Мария Георгиевна Мурская. Он был директором театра миниатюр "Арлекин", а Мария Георгиевна — танцовщицей и исполнительницей ролей субреток. "Арлекин" считался хорошим ансамблем, и я очень много слышал о нем. Цветнов тут же предложил мне поступить в его театр и танцевать с Мурской. Она взглянула на меня, и я понял, что без этой женщины не смогу жить. Точеный носик, огромные карие глаза, хрупкая изящная фигурка... От нее веяло такой теплотой, нежностью и мягкостью, что показалось, будто я знаю ее всю жизнь.

Уже на следующий день я отправлялся с "Арлекином" в Карлсбад, где предстояли двухнедельные гастроли в городском театре. В "Арлекине" работали настоя-

щие профессионалы, а репертуар состоял из оперных и опереточных фрагментов, инсценировок, с хорошими декорациями и костюмами, сделанными по эскизам известных художников. Я очень волновался, попав в настоящую труппу, но Мурская ободряла меня и с помощью бывшего танцовщика, русского опереточного комика Дмитрия Ермиловича Баратова, взялась за мое обучение. И я безумно в нее влюбился. Мурская же питала ко мне лишь братские чувства. Я сгорал от ревности, когда Мария Георгиевна разговаривала с мужчинами, когда они могли любоваться ее прелестным лицом. Однако Марии Георгиевне было не до любовных утех — у нее в Москве от рака умирал отец. Вскоре она уехала к нему. Прощаясь со мной, она подарила мне иконку и перекрестила, как родного.

Чтобы как-то успокоиться после ее отъезда, я всецело отдался чтению. В Карлсбаде, в помещении великолепной русской церкви, находилась огромная библиотека, за которой никто не присматривал, и я увез оттуда два чемодана книг, из которых некоторые храню до сих пор.

Я очень тосковал по Маре — так я называл Мурскую. Сейчас я танцевал с женой нашего певца, ходившей постоянно в синяках от побоев ревнивого супруга. Часто мне приходилось жить в одной комнате с нашим тенором Горянским. В большинстве случаев он пел в концерте лишь две арии — из ''Риголетто'' и ''Паяцев'', но исполнял их так замечательно, что его всегда вызывали на бис. Он был уже немолод, но все еще обожал женщин. Нередко мне приходилось выходить из комнаты, когда к нему забегала молоденькая певица, муж которой жил в Праге...

Наша труппа давала очень много концертов, переезжая из города в город. Мы работали на товарищеских условиях: каждый имел от сборов свой пай, разумеется, разный. Так, Горянский, к примеру, получал в два раза больше меня. Однако концы с концами я все

же сводил и даже приобрел два новых костюма.

Как-то Цветнов сказал мне, что получил письмо от Мурской из Москвы. Она просила срочно прислать ей контракт, по которому могла бы получить выездную визу из СССР. В апреле, когда наша труппа была в Праге, вернулась Мара. Она очень изменилась за эти восемь месяцев, но как только я ее увидел, то сейчас же почувствовал, что люблю эту женщину попрежнему. Однако наши отношения продолжали оставаться братскими. На русскую Пасху мы выступали в Пильзене. После богослужения, когда все стали христосоваться, я нашел местечко поукромней, где бы никто не видел, как я христосуюсь с Марой. После трех положенных поцелуев я сжал ее в объятиях и стал покрывать поцелуями нежное, прекрасное лицо. Она не отстранялась, однако потом сказала:

— Довольно... Ведь сегодня только праздник!..

Но с этого дня я начинал целовать Мару, едва представится случай. Я добился своего, и мы стали жить вместе.

Быстро пролетело лето, и мы с Марой решили, что осенью я должен поехать в Прагу поступать в балетную школу. Мара первое время должна была продолжать работу в "Арлекине" и помогать мне деньгами, пока я не устроюсь. Я поступил в частную школу балетмейстера Народного театра Казимира Ремеславского и уже исполнял двойные туры, пять пируэтов с прыжки с заносками, но все это было так кустарно, что бедный Ремеславский проклинал всех моих учителей, которых в общем-то не было. Однако я мог сыграть любую мимическую роль, чего не могли его ученики, мои однолетки, и на сцене я держался не как ученик, а как профессионал. Не прошло и двух месяцев, как Ремеславский дал мне большую мимическую роль в своем новом балете "Пан Твардовский". Воспитанник Варшавской императорской балетной школы, Ремеславский и сам был отличным танцовщиком. Стать знаменитостью, как он рассказывал, ме-

шал ему маленький рост. Несмотря на все мои недостатки, я ему очень нравился и нужен был для многих ролей. Он советовал мне как-нибудь продержаться до осени, а там я буду зачислен в его труппу, но мне надлежит очень многое исправить и работать, работать, работать...

Неожиданно заболевает танцовщик, ведущий партию шута в "Лебедином озере". Ремеславский хватает меня, и всю ночь мы работаем над этой партией. Он включает туда мои пируэты, воздушные туры, показывает и объясняет стиль шута, и я танцую спектакль. На спектакль приехала Мара. Когда я станцевал первую вариацию и заслужил дружные аплодисменты, то едва не заплакал от счастья. Невозможно было поверить, что это *я* танцую на сцене Государственного народного театра! Ремеславский дружески хлопал меня по плечу, говоря, что сегодня произошло мое посвящение в танцовщики. У Мары сияли глаза. Теперь нам нужно продержаться до осени, когда с поступлением в театр я начну свою карьеру.

С этого дня я почувствовал, что мое желание, призвание и цель всей жизни — танец! Я хотел стать настоящим танцовщиком, и я стал им! Это звание гордо пронесено мною через многие годы тяжелого, неблагодарного, порой мучительного труда. Однако и сейчас, в возрасте семидесяти пяти лет, я не жалею ни единого дня, затраченного на продвижение к заветной цели, отданного овладению любимой, трудной и прекрасной профессии танцовщика и балетмейстера.

* * *

Мара осталась со мной в Праге. Я не пропускаю ни одного урока у Ремеславского, участвую во всех его спектаклях. Кроме этого мы с Марой танцуем в маленьком ревю, но получаем такие гроши, что почти голодаем. За приличную плату устраиваемся танцевать на месяц в кабаре, но мне приходится пропускать уроки, так

как в кабаре нужно оставаться до четырех-пяти часов утра.

1927 год. Остается восемь месяцев до моего поступления в театр, тоже на крошечное жалованье. К весне мы окончательно обнищали, но появился Цветнов и предложил контракт для гастролей в Германии на все лето. Там уже давно кончилась инфляция и страна быстро залечивала раны минувшей войны. Тяжело было бросать налаженные уроки. Из частной школы Ремеславского меня перевели для уроков в труппу театра. Но делать было нечего, и вот мы снова у Цветнова, в знакомой обстановке, прилично зарабатываем в новых немецких марках. Каждую неделю переезжаем из города в город по всей Германии. Мы с Марой пользуемся большим успехом, и Цветнов начинает уговаривать нас продлить контракт на весь год. Конечно, мы знали, что по возвращении в Прагу нас ждет крошечное жалованье в Народном театре, нужда, тоскливые будни для Мары. Вернуться же в Прагу без нее я даже не помышлял и, получив прибавку к гонорару у Цветнова, мы подписали с ним контракт, отложив на неопределенный срок мою карьеру в большом театре.

Мы выступаем в Дрездене. В городе два оперных театра и драматический, считавшийся в то время одним из ведущих в Европе. Я ищу балетную школу, где мог бы брать уроки, и попадаю в школу Мэри Вигман. Меня поражает стиль и характер ее уроков. Босые, полуодетые ученики выделывают какие-то странные, не совсем приличные телодвижения, сама же Вигман сидит на полу, поджав под себя ноги, и бьет в тамбурин. После урока ученики Вигман, узнав, что я танцовщик, окружили меня и в один голос стали убеждать, что классика больше никому не нужна, а танцевать нужно только так, как учит Вигман. Две недели я честно старался заниматься под личным наблюдением Вигман, но так и не понял, в чем заключалось преимущество ее метода над классическим. Однако, когда позднее я видел Вигман,

Ивонне Георги и Херолда Крентсберга в балете ”Дон-Жуан”, они произвели на меня большое впечатление.

В марте и апреле 1928 года мы выступаем в Брюсселе. Сюда ко мне добирается, наконец, брат Иван. Семь лет он проработал в Польше простым батраком. В крепости Батория мы расстались подростками, а сейчас мне уже двадцать второй год, а Ване двадцать третий. Трогательной и радостной была наша встреча. Несмотря на его солидный для балета возраст, мы с Марой беремся его обучать нескольким танцевальным трюкам в характерных танцах. Он поступает в ”Арлекин” как заведующий сценой, а вскоре начинает понемногу танцевать в номерах ”Украинские вечера” и ”Русские посиделки”. Осенью мы с Марой уходим в другую компанию, директор которой, Аптекарев, платит в два раза больше, чем Цветнов. Ваня остается в ”Арлекине”, много танцует и добивается больших успехов.

В мае 1929 года компания Аптекарева сидит в Берлине без ангажемента. В одном из берлинских театров выступает Дягилевский балет. Я беру несколько уроков вместе с артистами Дягилева. Мужской состав кордебалета, состоящий в основном из поляков, большой техникой не обладает. Я моложе их и своими восемью пируэтами и двойными воздушными турами, которые делаю подряд восемь раз, превосхожу их в технике.

Режиссеру Григорьеву я сказал, что готов подметать сцену, только бы танцевать у них, пусть в последней линии кордебалета. Как-то раз в конце урока в зал вошел сам Дягилев. Он оглядел всех танцовщиков, и его взор остановился на мне. Я сразу же невпопад завернул свои восемь пируэтов и кончил двойным воздушным на колено, постаравшись поймать общую комбинацию. Это шарлатанство получилось очень ловко. После урока Дягилев подозвал Григорьева и, указывая на меня, стал что-то говорить. Когда репетиция подходила к концу, Григорьев сказал, что я должен приехать в Монте-Карло к первому сентября, где после летнего отпуска начнут-

ся репетиции и меня, может быть, зачислят в труппу.

Захлебываясь от восторга, я рассказал Маре, что произошло и как я счастлив. Позже, анализируя все сказанное мне Григорьевым, я понял, что твердой гарантии поступления в труппу Дягилева у меня нет, но все же решил отправиться в Монте-Карло. Тогда мне и в голову не пришло, что Мара переживает. Она была хорошая характерная танцовщица и замечательная актриса, но этого было недостаточно, чтобы поступить к Дягилеву. Значит, при моем поступлении к нему нам придется расстаться. Мара искренне любила меня и готова была на любую жертву. Мне же казалось само собой разумеющимся, что мы будем вместе и никогда не расстанемся.

Как только мы начали работать с ''Арлекином'' в Германии, я сразу стал посылать в Литву деньги родителям. Отца за его русское происхождение литовцы не принимали на службу, хотя он был уроженцем Литвы и прекрасно владел литовским языком. Он начал хлопотать о пенсии, которую выслужил еще до войны, но не находились какие-то документы, и пенсию ему не давали.

В июне мы с Марой получили приглашение в Каунас — тогдашнюю столицу Литвы, в театр ''Метрополитен'', танцевать между фильмовыми антрактами и немедленно подписали контракт. Во-первых, я страстно хотел увидеть семью, с которой не виделся уже десять лет, а во-вторых, мечтал найти хорошего адвоката, чтобы помочь отцу получить пенсию. Выданные нам в Чехии паспорта выглядели как чешские заграничные, только в графе ''подданство'' стояло ''бесподданный''. Зачастую чиновники этого не замечали и быстро ставили визы. Но уж если замечали, то чинили всевозможные препятствия, почему я и решил, как уроженец Литвы, хлопотать о получении литовского паспорта.

Уже через несколько дней после встречи мама с папой стали относиться к Маре тепло и сердечно, а круглая сирота Мара сразу же полюбила нашу большую семью.

В конце июня нам удалось съездить в город Биржи, где жила наша семья. Как все были рады видеть меня и красавицу Мару! Сестры Надя и Ира учились в гимназии, и на них шло все, что мы с Марой посылали из Германии. Я увидел двух братьев Жоржа и Геню, которые родились, когда я уже находился за границей. Мама изощрялась в кулинарном искусстве, а отец выхлопотал метрику моего рождения, по которой я мог получить в Берлине у литовского посла литовский паспорт.

Вернувшись в Берлин и работая в варьете на Фридрихштрассе, мы узнали из газет, что в Вене умер Дягилев. Ехать сейчас в Монте-Карло было бессмысленно, и мы подписали контракт на сентябрь в варьете в Дюссельдорфе.

1930 год. Мы с Марой в Берлине и без контракта. Берлин стал для нас в какой-то степени родным. Но как он выглядел в эти дни: настоящий город космополитов, мировой вертеп, в котором иностранцев стало больше, чем немцев. На знаменитой Фридрихштрассе торгуют бриллиантами, золотом, наркотиками, дефилируют толпы девиц, к ним присоединились "дамы" в мехах с утонченными манерами — переодетые в женское платье юноши.

Артисты варьете собюраются в кафе, где можно узнать новости со всего мира. Здесь происходят встречи артистов, работавших когда-то вместе, сюда забегают мелкие агенты, чтобы найти подходящий номер для срочного выступления, здесь, за чашкой кофе, безработные артисты просиживают целыми днями в ожидании случайного ангажемента, здесь хвастают большими гонорарами и удачными контрактами. Театральная жизнь в городе бьет ключом.

Режиссером Парнелем инсценированы "Три мушкетера", "Белый жеребенок", "Ночь в Венеции" с танцами, поставленными Б. Нижинской. В театре "Аполло" идет только что выпущенная в свет оперетта Легара со знаменитым тенором Рихардом Таубером, исполнявшим свою

арию на бис по четыре раза. Из Москвы приезжает театр Мейерхольда, который своей новизной покоряет и изумляет западных театралов. Все говорят о новом нашумевшем романе Эриха М. Ремарка ''На западном фронте без перемен''.

По всему городу расклеиваются афиши о приезде на двухнедельные гастроли гениальной Анны Павловой. Мы немедленно относим в ломбард все, что можно заложить, чтобы на вырученные деньги посмотреть как можно больше спектаклей. Перед первым спектаклем проходим за кулисы, чтобы поприветствовать знакомого по Пражскому Народному театру Эдуарда Борованского. Он очень нам обрадовался, но волновался неимоверно, так как в этот вечер должен был быть партнером Павловой в двух номерах. Выходя от Борованского, мы в коридоре встретились с Павловой. Она по-русски спросила:

— Вы — танцовщики? — и, получив утвердительный ответ, жестом попросила подождать. Через минуту она вернулась и подарила нам подписанные фотографии.

Мы смотрели все спектакли с участием гениальной балерины и на нее буквально молились, но никогда не ходили за кулисы, где всегда стояла огромная толпа поклонников. Павлова любила выходить на бис, и мы с Марой уходили из театра почти последними, отбивая до красноты ладони, чтобы еще раз видеть эту богиню.

В Европе, в особенности в Германии, продолжалась мода на все русское. В программе каждого варьете или концерта обязательно выступали русские певцы, балалаечники или танцоры. В оперных театрах шли оперы Римского-Корсакова, Чайковского, Бородина, Глинки. В драматических — самыми популярными считались пьесы А.П. Чехова. В витринах магазинов красовались книги Льва Толстого, М. Горького, Ф. Достоевского, который всех сводил с ума. На концерты хора Донских казаков Сергея Жарова нельзя было достать билетов. Во всех больших оперных театрах Германии шел ''Борис Году-

нов'' с участием легендарного Шаляпина. Массу посетителей привлекали русские рестораны с концертной программой — ''Медведь'', ''Самовар'', ''Балалайка'' и ночные клубы — ''Шехеразада'', ''Бахчисарайский фонтан'', ''Казбек при луне'', где выступали цыганские ансамбли, Александр Вертинский и Лев Лещенко.

Вся Германия напевала ''Очи черные'', а модницы одевались ''а ля рюсс'' или ''а ля казак''. Но так продолжалось недолго: к власти уже рвался человек с перекошенным лицом фанатика — Адольф Гитлер.

1931 год нас застал в Копенгагене. Мы танцуем с русским театром миниатюр, директор которого Искольдов, бывший опереточный актер, с большой ловкостью устраивает короткие контракты для своей труппы. В конце января узнаем из газет о внезапной кончине Анны Павловой. Весь мир потрясен этим известием. В то время гениальной балерине было уже около пятидесяти, однако изяществом, легкостью и замечательным телосложением она напоминала юную девушку. О павловской технике танца нельзя судить в нескольких словах, так как все, что она делала, было от начала и до конца полно красотой, грацией и обаянием. В 1969 году о ней писали:

''Она родилась в Петербурге 31 января 1885 года. Маленькая, хрупкая, бледная девочка была столь нежного сложения, что была предметом вечных опасений за ее жизнь. Ее увезли в провинцию. Она выросла в сельском доме, среди березового леса и пахучих полей. Когда ей было восемь лет, ее взяли в Петербург и однажды она присутствовала на представлении ''Спящей Красавицы'' Чайковского. Балет произвел на нее потрясающее впечатление — ее судьба была решена. Через два года она поступила в театральное училище, которое окончила четырнадцати лет, в 1899 году. В следующем году она уже выступала на сцене, а в 1905 году была уже прима-балериной Императорского Мариинского театра. Она не отличалась ни родовитостью, ни красотой, но сразу же

выделилась изумительной грацией и божественным вдохновением. С первых же своих шагов на подмостках Императорского балета она зажигала своими танцами сердца зрителей, она жила в танце, каждым своим движением пела гимн Красоте и в глазах толпы сразу же стала символом того воздушного и неуловимо прекрасного, имя чему Грация. Грацией ее назвала толпа, Грацией ее называли критики, Грацией ее признали сотоварищи по сцене, у которых не было чувства зависти к ней, потому что они видели, что в ней заключен поистине Божий дар — неповторимый, чудесный, более ни в ком не возможный.

Преклонение перед ней все крепло и усиливалось с годами. Она шла по театральным подмосткам красиво, спокойно и уверенно. Своим талантом она была спасена от всей грязи кулис, от всякого соприкосновения с театральной клоакой. Ее путь был радостный, красивый, без бурь и гроз. Без всякого труда она завоевала Петербург, потом Москву, потом всю Россию, покоренную ее "умирающим лебедем". Своим гением она создала этот потрясающий по красоте и настроению танец, и его название осталось неразрывно связанным с именем Анны Павловой. Даже необъятные российские просторы стали тесны для нее. В 22 года она завоевала такую славу, которой никто до нее не видел. С труппой Дягилева она отправилась в заграничное турне. Первый триумф ее был в Лондоне, в балете "Осенняя вакханалия". Толпа в Ковент-Гарденском театре устроила ей такие овации, которые до сих пор доставались немногим. Лондонские критики признали ее величайшей балериной мира. Ее дальнейшие поездки превратились в всесветные триумфы. Она стала "своей" во всем мире. Ее принимали с восторгом все народы, своей гениальностью она давно уже поднялась значительно выше понятия о ней, как только о "русской балерине". Она стала ценностью общечеловеческой, как один из лучших бриллиантов в той сокровищнице, которую имеет человечество со дня сво-

его сотворения. Не стало "Умирающего лебедя", но его место занял Лебедь Бессмертный..."

Искольдов на все лето подписал контракт с народными парками в Швеции. Мы с Марой поехали в Стокгольм всего на один день и отправились с маленькую, но красивую русскую православную церковь, где добрый батюшка обвенчал нас без лишних хлопот, взяв в свидетели свою попадью да церковного старосту. Оттуда мы отправились к литовскому послу получать для Мары литовский паспорт. Посол оказался бывшим директором Ковенского государственного театра, и через полчаса Мара стала литовской подданной с заграничным паспортом. Однако посол предупредил, что мне нужно будет отправиться в Литву для отбывания воинской службы.

Осенью мы с большим успехом выступали в Норвегии, объездили почти все большие города страны, а в начале октября я уехал в Литву, в город Биржи для призыва на службу в литовскую армию.

В Биржах я окунулся в милую семейную обстановку. Родители постарели, братья и сестры подросли. Несмотря на крайнюю бедность, все были жизнерадостны и здоровы. Мне хотелось помогать им всем, чем только смогу, чтобы сестры закончили литовскую гимназию.

На призывном пункте я уверял комиссию, что никак не могу служить в армии, что от моей работы зависит содержание большого семейства в Биржах, что моя карьера танцовщика ставится под угрозу, однако ничего не помогло. Службу удалось отложить всего лишь на год. С этой новостью я и вернулся в Норвегию, где меня ждала Мара.

1932 год мы снова встречаем в Берлине. Но обстановка в городе резко изменилась и с каждым днем изменялась все больше. Многие немцы носили сейчас свастику, в артистическом кафе на Фридрихштрассе бывшие немецкие коллеги, всегда радушные и веселые, сейчас, в военной форме со свастикой на рукаве, еле узнавали нас и не хотели вступать в разговоры. Даже от быв-

ших коллег не немецкого происхождения слышалось только: "Проклятые евреи!", "Иностранцы, вон из Германии!", и опять: "Проклятые евреи!" Эти фразы слышались всюду — в ресторанах, трамваях, на улицах. Берлин вдруг стал чужим, враждебным и жестоким. Мы ведь тоже иностранцы, значит и нам следовало убираться вон и как можно скорее. Схлынула знаменитая мода на все русское. Театры немедленно переменили весь репертуар. В опере идет только Вагнер, а в драматических театрах пьесы Шиллера, Гете и других немецких авторов.

Мы с Марой решаем вернуться в Литву. Так или иначе, нам придется туда переехать из-за моей службы в армии. К тому же большое желание Мары иметь ребенка может наконец исполниться. Мы не поддаемся на уговоры Искольдова подписать годовой контракт и двенадцатого мая танцуем наш последний спектакль в немецком городе Любек. До моего поступления в армию оставался еще год, и я надеялся, что зимой смогу получить работу в Государственном театре, где находилась балетная труппа под управлением бывшего дягилевского солиста Николая Матвеевича Зверева. Прима-балерина Вера Николаевна Немчинова пришла тоже из труппы Дягилева, а ее партнером стал солист Мариинского театра Анатолий Николаевич Обухов.

Однако мои планы полностью не осуществились. Несмотря на то, что литовский балет нуждался в таком танцовщике, как я, и обо мне хлопотал балетмейстер Зверев, на постоянную службу меня не брали из-за русского происхождения. В балете уже числилось четверо танцоров с русскими фамилиями, и это считалось предельной нормой, хотя кандидатов с литовскими фамилиями не было вообще. Звереву удалось меня устроить как свободного служащего на один год, с крошечным ежемесячным окладом.

Двадцать четвертого сентября 1932 года я стал отцом. Мара родила дочь, которую мы назвали Светланой. Как ни старались мы подготовиться заранее к этому со-

бытию, но рождение ребенка поставило нас перед серьезными проблемами. Нужно было срочно снять двухкомнатную квартиру, как-то ее обставить. Пришлось истратить на это все сбережения. Мне было очень обидно, что имея все обязанности литовского гражданина, я не имел возможности постоянно работать в театре.

Наступил 1933 год. Мы с Марой снова вместе танцуем в гостинице "Метрополь", это наш побочный заработок, чтобы расплачиваться с кредиторами. В мае мне предстоит служба в армии.

Служба в армии оказывалась совершенно нелепой, ибо войны не предвиделось, мне стукнуло уже двадцать шесть лет и я стал семейным человеком. Мара принялась хлопотать о досрочном ее окончании. К тому же в результате всех передряг я заболел — вдруг стал катастрофически худеть и был отправлен в госпиталь на строжайшую диету. Через две недели я похудел на десять килограмм и стал похож на обтянутый кожей скелет. Главный врач ковенского гарнизона в присутствии комиссии немедленно подписал документ о моем досрочном освобождении из армии.

К нам приехала из Бирж моя сестра Сусанна, Зуня, чтобы хоть как-то помочь Маре по хозяйству и с ребенком. Средств было так мало, что взрослым приходилось буквально голодать для того, чтобы девочка могла нормально питаться. Она росла быстро, была здоровой и веселой. Больше всех в это тяжелое время нам помогали местные торговцы-евреи. Они не требовали уплаты долгов в срок, постоянно одалживали деньги и вообще были единственными людьми, понимавшими наше положение. Они часто приглашали нас на чай, с удовольствием слушали рассказы о кочевой жизни артистов.

11 июля нас постигло огромное горе — покончила с собой Зуня. Мы не могли понять причину, толкнувшую ее на этот поступок, однако остро чувствовали ответственность перед всей семьей, ибо трагедия произо-

шла именно тогда, когда сестра жила у нас. Мы с Марой тяжело переживали случившееся.

Знакомый еврей-музыкант Хофмеклерис устроил нас с Марой танцевать в эстрадной программе. Он сам и аккомпанировал нам. Эта работа нас воскресила. Море, дюны, сосновые леса вдоль пляжей, хорошая погода, празднично настроенная публика делали постепенно свое дело. Мы стали улыбаться десятимесячной дочери, которая всегда первая норовила улыбнуться нам. Мы бесконечно были благодарны Хофмеклерису, отнесшемуся к нам так чутко и человечно.

Наступила осень, но мое положение в Государственном театре не изменилось. На гастроли в театр был приглашен Федор Иванович Шаляпин. Его приезд явился огромным событием в культурной жизни Каунаса. Шаляпин выступил с сольным концертом, а потом пел две партии в "Князе Игоре" — Галицкого и Кончака, и Мефистофеля в "Фаусте". Какое было счастье выступать в одном спектакле с этим гением! Сами спектакли стали неузнаваемы. Шаляпин магически действовал на всех, кто был с ним рядом на сцене. Но и Литовский театр не мог жаловаться на плохие силы: ведущие партии пел знаменитый тенор — Кипрас Петраускас, декорации и костюмы исполнялись по эскизам С. Добужинского, который лично наблюдал за всеми работами и даже гримировал артистов. Он первый помог сделать мне грим Кота в "Спящей красавице". Балет тоже находился на довольно высоком уровне. Кроме дягилевских артистов Веры Немчиновой и Николая Зверева, премьером был солист Мариинского театра А. Обухов и талантливые литовские танцовщики. Я был популярен и среди актеров, и у публики, однако полноценного контракта для спокойной работы в театре получить так и не мог. Уезжать из Литвы с годовалым ребенком на руках, не имея постоянной службы, было немыслимо. Так прошел целый год в надеждах на лучшее.

В августе 1934 года меня вызвал директор театра

Олекас Зелинскас и посоветовал подписать контракт на весь сезон на тех же условиях, сказав, что уезжает в США, а его заместитель контракта со мной не подпишет. Зелинскаса заменил чиновник из Министерства просвещения, который с первых же дней стал увольнять из театра всех артистов, не носивших литовской фамилии. Мне посоветовали на всякий случай переменить фамилию, и я стал Биржайтисом, по названию города, в котором жила наша семья.

Единственным приятным событием 1934 года был приезд на гастроли советских танцовщиков Асафа и Суламифи Мессерер. По тем временам техника классического танца у Мессерера была невиданной. Его прыжки, пируэты, заноски поражали зрителей. Особенным успехом пользовался гротесковый танец "Футболист", в котором Мессерер подражал футболисту во время матча. Я выучил этот танец и исполнял его как лучший номер в дивертисменте балета Монте-Карло.

К первому декабря, когда государственные служащие с нетерпением ожидали месячного жалованья перед Рождеством, приключился трагикомический случай: Литва как аграрное государство существовала лишь благодаря экспорту сельскохозяйственных продуктов. Отправив в Голландию целый поезд живых гусей, государство намеревалось вырученными деньгами выплатить служащим жалованье. Но в Германии гитлеровцы решили, что литовские гуси путешествуют в антисанитарных условиях, и вернули весь состав обратно в Литву. В Каунасе сразу распространился слух, что жалованье выдадут живыми гусями. Стали прикидывать, сколько каждый получит гусей, и подсчитали, что балерина В. Немчинова заработает около сотни. Сейчас же преподнесли ей хорошую хворостину — оберегать стадо. К счастью, проблема с гусями скоро разрешилась, на них нашлись покупатели, и жалованье, хотя и с опозданием, все же выплатили.

В декабре праздновали двадцатипятилетие сценической деятельности Кипраса Петраускаса. Он любил по ста-

ринке хорошо пожить и задолжал чуть не каждому лавочнику на главной каунасской улице. Но какой раздался гром аплодисментов, когда юбиляру преподнесли поднос со всеми его подписанными векселями! Публика его любила, им гордилась, и он как певец это заслуживал.

В 1935 году литовский балет, благодаря балетмейстеру Звереву и балерине Немчиновой, приглашают на три недели в Монте-Карло. Устроил это приглашение господин Рене Блюм, директор театра при казино в Монте-Карло и большой поклонник Немчиновой. Он же содействовал приглашению молодого литовского балета в Лондон.

Мы выехали из Каунаса 8 января, и после занесенной снежными сугробами Литвы попали в сказочную страну, где светило теплое солнце и цвели мимозы. Я так жалел, что Мара должна была остаться со Светланой в Каунасе! В течение трех недель мы дали двенадцать спектаклей. Танцевали ''Жизель'', ''Лебединое озеро'' и ''Коппелию''.

В Лондоне к нашему репертуару прибавили ''Раймонду'', одноактный балет ''Гренадер'', поставленный Зверевым, и большой дивертисмент. В ''Гренадере'' я вел большую комическую роль Капитана, в дивертисменте танцевал ''Солдата на рандеву'' на музыку Чайковского в постановке Баланчина и ''Кукол'' Лядова в постановке Зверева. В дивертисменте огромным успехом пользовалась Немчинова, исполнявшая ''Танец Шмеля'', построенный на па дебуле в быстром темпе, и па де де Коломбины и Арлекина с А. Обуховым.

Лондонские критики отнеслись к нам очень сдержанно. Один из них заявил, что литовскому балету чересчур рано было приезжать в Лондон. И тут же все недруги балета в Каунасе развернули широкую кампанию, в результате которой Немчинова, Зверев и Обухов не подписали контракта на будущий сезон. Я тоже получил от нового директора отказ. В сентябре нам с Марой уда-

лось подписать контракт в театре "Тиволи" в Копенгагене. Распродав все имущество, мы с Марой и трехлетней Светланкой пароходом через Клайпеду отправились в Копенгаген. Пока мы выступали, девочку приходилось оставлять одну в номере гостиницы. В перерыве между концертами мчались домой, однако дочка, понимая положение, терпеливо нас поджидала. Ни капризов, ни слез мы от нее не слышали.

В начале ноября мы через Берлин решили ехать в Париж. От Берлина пришли в ужас. Город напоминал огромную казарму. Многие магазины закрылись, улицы были угрюмы и зловещи, на каждом прохожем красовалась свастика. В театре "Скала" начинались гастроли балетной труппы бывшего дягилевского танцовщика Леона Вуйциковского. Артисты балета все в основном очень молоды, многие из них подают большие надежды — Игорь Юшкевич, Валентин Форман, Белова, юная Тараканова... Меня Вуйциковский сразу берет к себе, а Мару обещает взять весной. Уже на следующий день я танцую в "Половецких плясках".

Однажды в театре "Скала" состоялся многолюдный митинг во главе с самим Гитлером. Всех нас сразу после утреннего спектакля попросили уйти. Я с одним из танцовщиков остался в толпе. Моего коллегу, еврея, звали Шапиро. Но вот подкатили два открытых автомобиля. Первый — набит юнцами в форме СС, во втором восседает Гитлер в окружении таких же юнцов. Все они разбежались по переходам театра, а некоторые, взявшись за руки, стали оттеснять ревущую толпу. Гитлер со счастливой улыбкой на холеном лице прошел в полуметре от нас, чуть наклоняя голову и то и дело вскидывая правую руку. Когда мы с Семеном позднее вспоминали этот эпизод, то он, скрипя зубами, говорил, что без труда мог вонзить в Гитлера нож, если бы только мог представить, какое чудовище проходило мимо. Семен потерял жену и дочь, которых растерзали в Риге фашисты.

Почти на каждом нашем спектакле присутствовал

кто-нибудь из нацистской верхушки. От фашистского вельможи балеринам преподносились цветы, а в антракте солисты приглашались в ложу пить шампанское. Чаще всех на спектакли приезжал Геринг.

В начале декабря Мара со Светланой уехали в Каунас, а наша труппа отправилась на гастроли в Испанию. 1936 год мы встречали в Мадриде. По испанскому обычаю в двенадцать часов артисты вышли на балкон с двенадцатью виноградинами в руках и с каждым ударом колокола проглатывали одну виноградину.

Вуйциковский выплачивал нам жалованье крайне нерегулярно. Сам он постоянно торчал в казино, надеясь выиграть большую сумму и расплатиться с артистами, но этого почему-то не случалось. Мне становилось совершенно невмоготу, ибо я все деньги посылал Маре и, не получая жалованья, не мог помогать семье.

Мои друзья танцоры Еглевские решили уйти от Вуйциковского и поступить в новую труппу ''Балет Монте-Карло'' во главе с Рене Блюмом, главным балетмейстером Михаилом Фокиным, солистами Немчиновой и Обуховым и режиссером Зверевым. Я тоже решил попытать там счастья.

Новая труппа только что начала репетиции в Париже, в зале Плейель. Я пришел, когда урок уже заканчивался. Зверев сразу схватил меня за руку и потащил к Михаилу Михайловичу Фокину, который просматривал какие-то ноты. Это был господин с благородным профилем римского патриция и большими внимательными глазами. Зверев скороговоркой стал объяснять Фокину, что я за танцор и какими отличаюсь качествами. Наконец, Фокин сказал:

— Пусть что-нибудь покажет.

Я завертел свои пируэты, закончив двойным воздушным туром на колено, и остановился, не зная, что делать дальше. Фокин сделал вид, что мои пируэты его не тронули, исподлобья взглянул на меня и сказал Звереву:

— Для чего он здесь стоит? Пусть переодевается и начинает репетицию.

Репетировали ''Петрушку'', и меня сразу поставили в танец маленьких кучерят. Это партия для двух танцоров, поставленная Фокиным довольно заковыристо с точки зрения ритма. Но я оказался, как говорится, в своей тарелке и придал танцу все те оттенки, которые требовались Фокину. Когда репетиция закончилась, мне показалось, что он остался мной доволен.

Так в моей жизни открылась новая страница, начался принципиально новый этап в работе, которая базировалась теперь на фокинском понимании музыки, фокинской теплоте души и фокинской интерпретации образов. А это создавало совершенно исключительный тип балета — *фокинский балет*.

Часть третья

БАЛЕТ

Когда я начал работать во вновь созданной балетной труппе, у меня закружилась голова: работать под непосредственным наблюдением знаменитого дягилевского хореографа Михаила Михайловича Фокина, репетировать его балеты, танцевать с бывшими дягилевскими танцорами!.. Разговоры идут о том, что мы будем выступать в Монте-Карло и в Лондоне, а потом, может быть, в Соединенных Штатах. Я отдался работе целиком и репетировал все ''в полную ногу'', а тогда еще не было профсоюзов и мы репетировали нередко с 9 часов утра до 11 вечера, с маленькими перерывами на обед. Из бывших дягилевцев, кроме В. Немчиновой, Н. Зверева и А. Вилзака, были господа Савицкий, Язвинский, Федоров, Сергеев, Скибен (отец Жоржа Скибена). Ко всему, что происходило сейчас в новой молодой труппе, бывшие дягилевцы относились крайне скептически. Фокин их недолюбливал и предпочитал ставить свои балеты, по возможности, с такими еще ничем не искушенными энтузиастами, как я.

Четыре недели выступлений в Монте-Карло. Затем — лондонский театр ''Алгамбра''. Репертуар состоял почти целиком из фокинских балетов: ''Сильфиды'' Шопена,

''Карнавала'' Шумана, ''Шехеразады'' Римского-Корсакова, ''Петрушки'' Стравинского, ''Половецких плясок'' Бородина, ''Видения розы'' Вебера. Фокин специально поставил для новой труппы ''Дон-Жуана'' на музыку Глюка и ''Терзания любви'' на музыку Моцарта. Зверев поставил ''Утреннюю серенаду'' Равеля и возобновил в трех актах ''Коппелию'' и в одном акте ''Лебединое озеро''. Борис Романов поставил ''Щелкунчика'' в двух актах.

Как я уже говорил, мы репетировали с утра до вечера, но я ухитрялся в течение двух недель выступать с ансамблем русского танца в огромном кинотеатре ''Бабилон''. Четыре раза в день я на полчаса отлучался с репетиций, ехал на метро с площади Терн до площади Клиши, десять минут танцевал, затем возвращался. Все знали о моем семейном положении и сочувствовали мне. А я из сил выбивался, чтобы заработать Маре со Светланкой на дорогу из Каунаса в Монте-Карло. К концу второй недели я уже еле волочил ноги, но билеты для них здесь, в Париже, купил и выслал в Литву. Жена с дочерью приехали в Монте-Карло 1 апреля. Как мы были счастливы кинуться наконец-то друг другу в объятья! Южное солнце сияло, цвели мимозы. Мы проходили цветущими парками мимо разноцветных ярких клумб. Мара, которая никогда не бывала на юге Франции, вдруг после заснеженного Каунаса очутилась в этом земном раю. Потрясенная, она не могла произнести ни слова. Девочка сидела на моих плечах и что-то бормотала — не то пела, не то плакала. Я привел семью в залитую солнцем комнату с выходящими на море окнами, а сам немедленно отправился на очередную репетицию.

Помню нашу первую репетицию в Монте-Карло, как будто это было вчера. Балетная студия находилась в полуподвале с очень низким потолком, та самая, где дягилевская труппа четверть века назад создавала фокинские шедевры: ''Жар-птицу'', ''Шехеразаду'', ''Петрушку'' и пр. Молодые танцоры, придя сюда впервые,

шумно и жизнерадостно обменивались своими впечатлениями от Монте-Карло, но бывшие дягилевцы входили в эту студию чуть ли не на цыпочках, как в храм. Вошел Михаил Михайлович Фокин с женой Верой Петровной. Все почему-то затаили дыхание. Вера Петровна уткнулась глазами в пол, а Михаил Михайлович, оглядывая голые стены, словно что-то вспоминал. Когда-то он в разгаре молодых творческих сил создавал здесь свои шедевры. И получалось так, что Дягилев пожинал его лавры. Теперь ни один даже самый посредственный хореограф не согласился бы ставить балеты таким образом, чтобы успех приписывался почему-то в первую очередь импрессарио.

Михаил Михайлович сидел явно чем-то подавленный. Мы наблюдали это впервые, но бывшие дягилевские танцоры наверняка догадывались о причине. Фокин сознавал, что как гениальный хореограф, новатор, выразитель новейших веяний в балетном искусстве, великолепный знаток музыки, живописи и танца, он был обобран и унижен Дягилевым. Он был оскорблен еще и потому, что Дягилев не хотел искренне признать фокинские постановки как фундамент и успех своего балетного предприятия. Фокин оказался морально обобранным, потому что в течение двадцати лет именно фокинские балеты были тем единственным, что выручало Дягилева в его постоянных попытках показать новинки, которые в большинстве случаев имели мало успеха у публики.

При таких денежных срывах Дягилев всякий раз прибегал к ''Шехеразаде'', ''Петрушке'', ''Жар-птице'', ''Половецким пляскам'', чтобы вновь привлечь публику, восстановить хорошие сборы и прежнюю репутацию. После ухода Михаила Михайловича дягилевское предприятие существовало еще пятнадцать лет. Все эти годы Дягилев распоряжался фокинскими балетами, как собственными. По его желанию балеты сокращались, удлинялись, меняли мизансцены, но неизменно они остава-

лись балетами Фокина, и только их предпочитала публика, только они приносили Дягилеву полные сборы, а Фокин, хореограф, не получал ни гроша.

4 апреля 1936 года на сцене театра Монте-Карло состоялся наш первый спектакль. Предприятием руководил Рене Блюм, балетмейстером был Фокин, режиссером — Николай Зверев, прима-балеринами — Вера Немчинова и Мария Руанова, первыми танцорами — Анатолий Обухов, Анатолий Вилзак и Андрей Еглевский. Дирижером — наш ковенский балетный дирижер Хофмеклерис. Тогда-то мы познакомились с замечательным художником Андре Дэреном, который проектировал декорации и костюмы к балету "Терзания любви", и с художником Мариано Андреу, который проектировал декорации и костюмы для "Дон-Жуана" Глюка. Впервые проявила свои способности создавать удивительные балетные костюмы Варвара Каринская.

Театр был переполнен дамами в сверкающих драгоценностях и мужчинами во фраках и смокингах. Вообще в то время в Казино впускали только шикарно одетую публику. После Второй мировой войны все изменилось, и сейчас Казино с мелькающими повсюду джинсами и поношенными ботинками выглядит, как зал ожидания третьего класса. Богачи, наоборот, стараются ничем не отличаться от толпы обыкновенных туристов, которые летом через всю Европу движутся с севера на юг.

Этот сезон проходил с большим успехом, но казалось, что это только генеральная репетиция для предстоящего сезона (десять недель) в Лондоне в театре "Алгамбра". Фокин спешил поставить свой новый балет "Дон-Жуан". Параллельно Борис Романов ставил "Щелкунчика" целиком в двух актах и десяти картинах. Хореография, костюмы и декорации были для того времени ультрасовременными, в стиле театра Мейерхольда. Мы работали с утра до поздней ночи и часто от усталости едва добредали до своих гостиниц, но атмосфера в труп-

пе была добрая, жизнерадостная, насыщенная творческим подъемом.

Ведь для тех, кто стал танцором из-за любви к танцу, репетировать и танцевать на сцене — высшее счастье в жизни, и они не считаются ни со временем, ни с физической усталостью, сколько бы часов в сутки им не приходилось репетировать и выступать. А я лично был именно таким энтузиастом и остался им на всю жизнь.

Сезон в Монте-Карло проходил в сплошных премьерах. Если Фокиным и были повторены балеты дягилевского репертуара — ''Сильфиды'', ''Шехеразада'', ''Петрушка'', ''Половецкие пляски'', ''Видение розы'' — то к ним заново делались костюмы и декорации. Варвара Каринская переехала из Парижа в Монте-Карло со своим ателье и призвала к работе всех, имеющих хоть какое-нибудь отношение к балету и способных держать иголку в руках. Костюмы приносили перед самым началом спектакля, и часто случалось, что мы, танцоры, стояли за кулисами, ожидая выхода на сцену, а на нас еще прикалывали и подшивали костюмы. Иногда так и приходилось выступать с булавками и иголками, а костюм заканчивался лишь через несколько дней после первого появления на сцене.

Мара не избежала общей участи, и Каринская засадила ее шить балетные пачки. Марин заработок, конечно, помогал нашему скромному семейному бюджету, но из-за этого пришлось отводить Светлану на весь день в детский сад, что очень нас угнетало. Девочка словно предчувствовала свою будущую участь провести почти все детство в разных детских домах и пансионах, откуда ее забирали только на время отпуска. Она любила детей и отдавала им все свои игрушки, но в общих играх не участвовала и лишь ждала, когда за ней придут. Каждое утро перед тем, как ее отводили в детский сад, она серьезно, не по-детски упрашивала нас, чтобы ее не оставляли на весь день в саду, что она будет хорошей девочкой и останется тихо сидеть у мамы в ателье или с папой на

репетиции. И никогда не обманывала. Все виденное на репетициях и спектаклях она делила на красивое и некрасивое. Танцоры, которые медленно разучивали и вяло танцевали, относились к категории некрасивого, а те, которые танцевали уверенно и законченно, считались красивыми. Я был тогда для нее самым лучшим, самым ''красивым'' танцором, и она по-детски гордилась своим папой. На вопрос, кто самый лучший танцор, Светлана с убедительной уверенностью отвечала: ''Мой папа''.

Наш первый монте-карловский сезон подходил к концу. Все готовились к лондонскому и только об этом и говорили. Последний спектакль — большое гала-представление — состоялся 6 мая в присутствии монакского принца и шведского короля.

Пробыв проездом четыре дня в Париже, мы 11 мая прибыли в Лондон. Три дня ушло на репетиции. 15 мая 1936 года мы дали наш первый спектакль в бывшем Театре ''Алгамбра'' на площади Лестер Сквер.

Труппу по-прежнему возглавляли балерина Вера Немчинова, которую лондонская публика помнила еще со времен дягилевских гастролей, молоденькая балерина Мария Руанова из Буэнос-Айреса, австралийка Кирсова, главные танцоры Анатолий Обухов, Анатолий Вилзак, юный, но первоклассный классический танцор Андрей Еглевский, а из молодых — Рая Кузнецова, Люся Нифонтова, Татьяна Семенова, Миша Панаев, Бартолин, я собственной персоной и многие другие.

Лондонский сезон открыли ''Сильфидами'' на музыку Шопена, ''Терзаниями любви'' и ''Шехеразадой'' Римского-Корсакова. С ''Сильфидами'' и ''Шехеразадой'' лондонская публика была знакома еще с дягилевских гастролей, но ''Терзания любви'' Фокин только что поставил и заинтересовал ими всех любителей балета и балетную критику. Этот веселенький балет сразу приняли как его новый шедевр. В ''Сильфидах'' главные роли танцевали: Немчинова — прелюд, Руанова — мазурку и

Кирсова — вальс. Анатолий Обухов выступал в роли мечтательного поэта.

В "Терзаниях любви" главную роль, дочь мандарина, танцевала Немчинова, ее любовника Кули — Андрей Еглевский. Анатолий Обухов танцевал западного посла, а Иван Язвинский — жадного мандарина.

В "Шехеразаде" танцевали Анатолий Вилзак — золотой раб, Генева — жена шаха, Иван Язвинский — шах, Федоров — его брат. Главным визиром был Николай Зверев, бывший дягилевский солист, который стал сейчас вторым балетмейстером после М.М. Фокина.

Специально для Лондона готовился "Дон-Жуан". Михаил Михайлович в особенности волновался, подготовляя этот балет, так как считал его крупной постановкой в четырех картинах. Роль Дон-Жуана танцевал Анатолий Вилзак. Этот балет, где я танцевал одного из буфонов, прошел с большим успехом.

В Лондоне мы снимали комнату рядом с театром. Мара по-прежнему работала у Каринской. Уходя, мы закрывали Светлану, оставляя открытым маленький балкон со стороны улицы. Тут Светланка покорно просиживала в ожидании, пока Мара или я не забегали ее навестить. Сердобольные девицы легкого поведения, которыми славилась эта улица, частенько подкидывали ребенку шоколадки и останавливались с ней поболтать. Иногда Мара брала дочку с собой в театр, где на четвертом этаже находилось ателье для костюмов. Здесь у Светланы иногда появлялся товарищ для игр, годом ее старше, сын нашего директора Блюма. Мальчика звали Минушу. Минушу и Светлана сразу же начинали дуэль из "Дон-Жуана". Дрались они вокруг стола, под столом и на столе, с вешалками вместо шпаг. Потом Светлана перевоплощалась в сильфиду и начинала порхать по всему ателье, а Минушу изображал половецкого воина из "Князя Игоря". Так они перетанцевали почти весь наш репертуар. Дети танцевали с большим увлечением, и ни во что другое, кроме балета, не играли.

Думается, небезынтересен портрет самого Рене Блюма, хозяина и директора нашей труппы, которая тогда называлась ”Балет Монте-Карло”. Ему было под шестьдесят. Брат Рене — Леон Блюм — в ту пору являлся министром французского социалистического правительства, проведшего немало реформ для улучшения жизни рабочих. Братья Блюмы происходили от старой богатой еврейской семьи. Сначала они владели фабриками лент в Лионе, потом остались лишь главными акционерами. Итак, Леон занимался политикой и, будучи миллионером, стал социалистом, а наш директор Рене стал большим поклонником театрального, а в особенности балетного искусства. Он держал также акции многих французских казино и считался артистическим директором Театра Казино в Монте-Карло. Когда-то он был в приятельских отношениях с Дягилевым и часто устраивал хорошие контракты для его труппы. Рене Блюм был высокого роста, не очень полный, с подстриженными седеющими усами. Ко всем танцорам он относился с одинаковой теплотой, называя нас ”мои дети”. Однако, выросши в роскоши и богатстве, не мог понять наших повседневных забот о куске хлеба. Скорее всего он просто не знал, как тяжело было прилично прожить на то жалование, которое мы тогда получали.

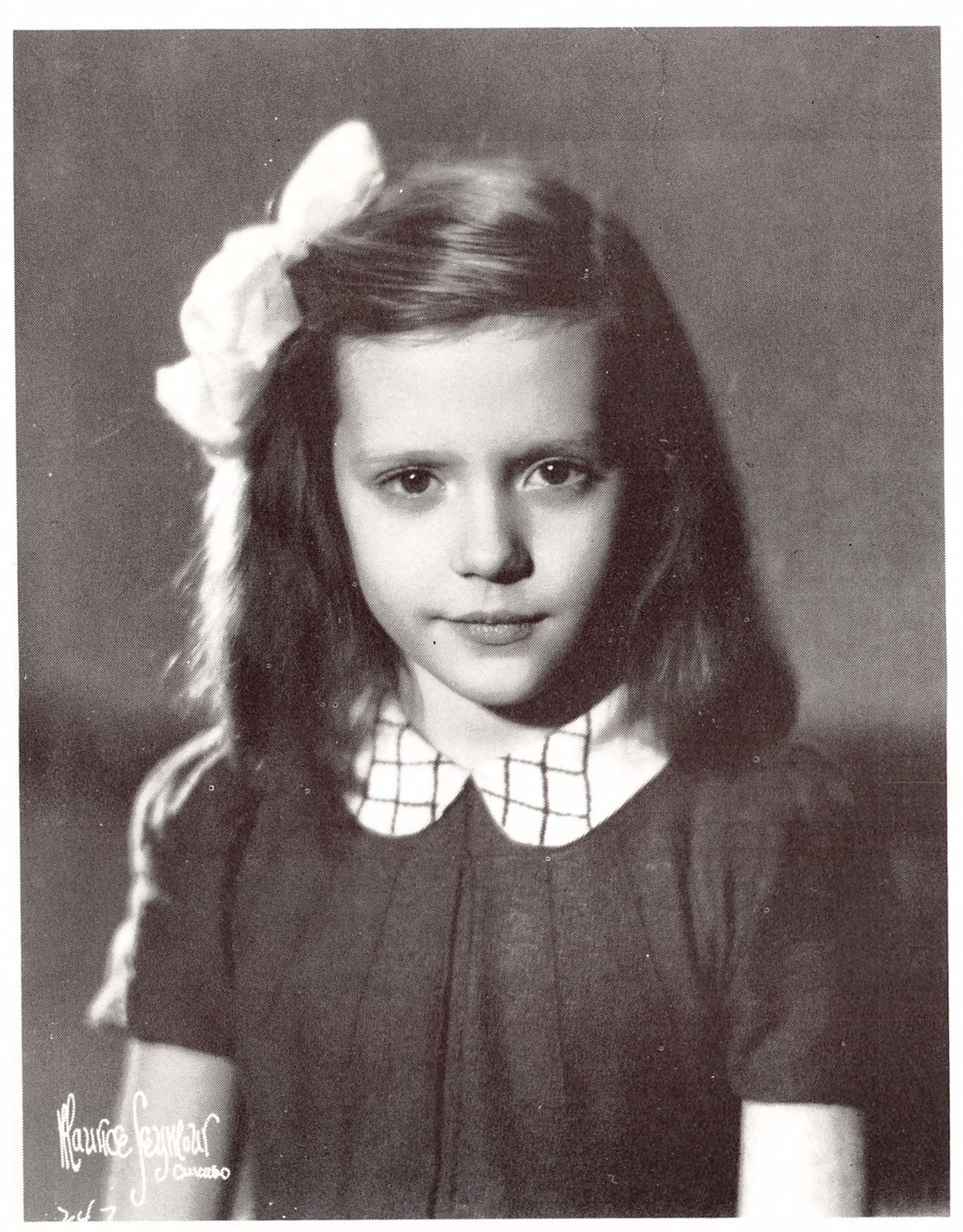
После смерти Дягилева в августе 1929 года дягилевский балет прекратил существование, но в 1933 году русский эмигрант под псевдонимом полковник де Базиль объединил бывших дягилевских танцоров, дополнил труппу молодыми исполнителями и вместе с Рене Блюмом возобновил балетную труппу под именем ”Русский балет Монте-Карло”. Она воспитала у себя трех ”бебе-балерин” — Туманову, Боронову и Рябушинскую, — которым было тогда по пятнадцати лет. С ними, а также с бывшими дягилевскими балеринами — Даниловой и Спесивцевой, с полным дягилевским репертуаром, с костюмами и декорациями, и с режиссером Р. Григорьевым, восстанавливающим по памяти мно-



Мясинский балет "Саратога" в Нью-Йорке, 1941 г. В центре — Шура Данилова, крайний справа Николай Березов.



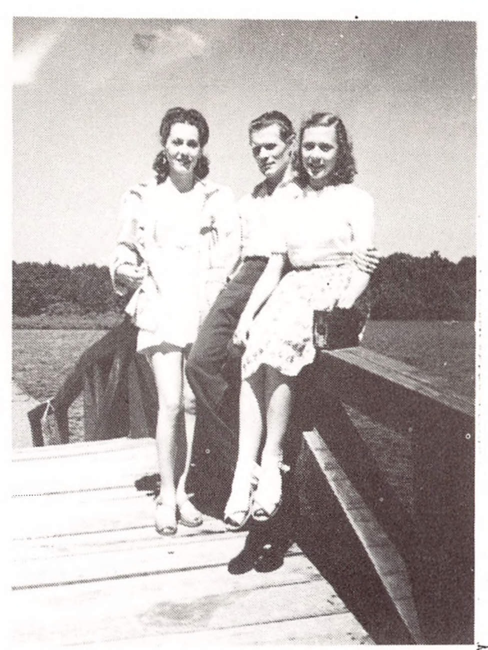
Автор с женой Марой, Чикаго, 1941 г.



Дочь автора Светлана, Чикаго, 1941 г.



На одном из выступлений во время гастролей для американской армии, 1942-43 гг.



Автор с женой Лилин и дочерью Светланой, лето 1946 года.

Автор со своей второй женой Лилин, Нью-Йорк, 1946 г.



Светлана Березова в роли Девушки из балета ”Семь грехов”, Лондон, 1948 г.



Автор в роли Пигмалиона из балета "Пигмалион", Лондон, 1948 г.



Николай Березов — второй слева (Силач) и Светлана Березова в цен-



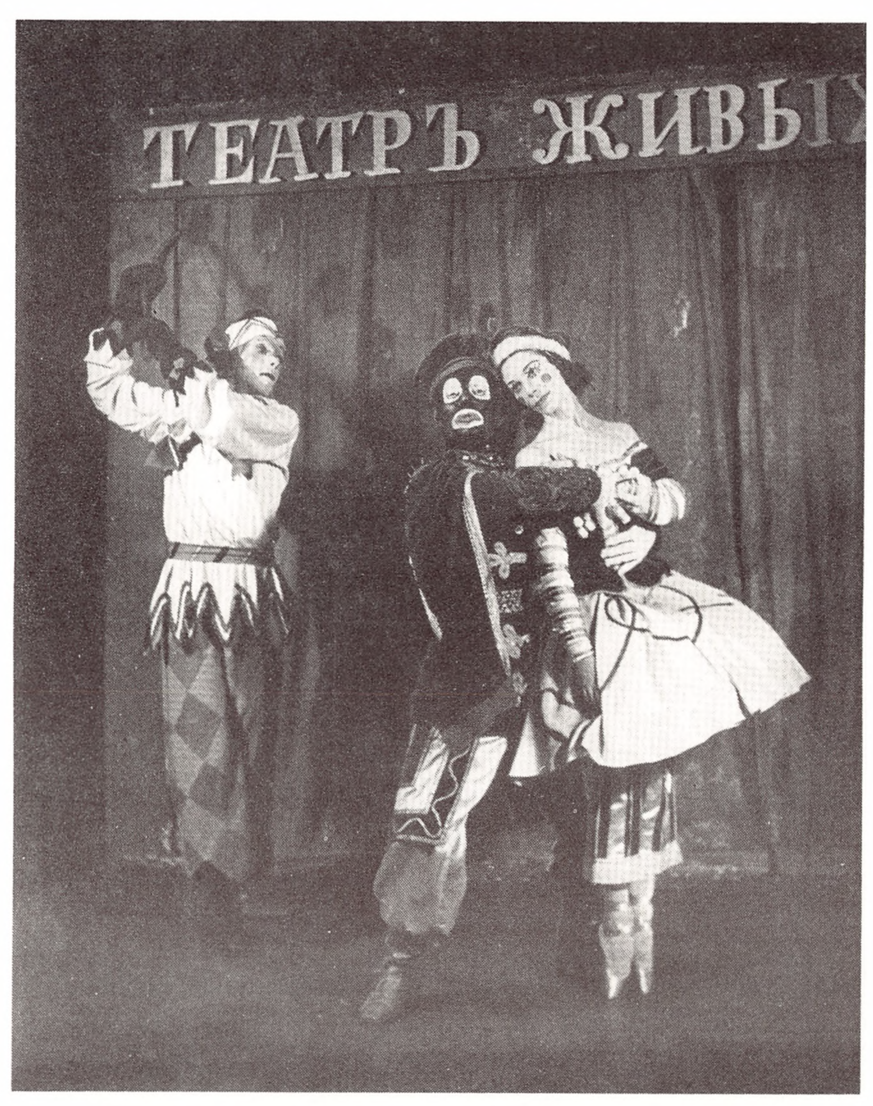
тре (Кокетка) в балете Л. Мясина "Голубой Дунай", Лондон, 1948 г.



Светлана Березова в роли Одетты с Александром Калужным в балете "Лебединое озеро", Лондон, 1948 г.



Директор "Лондонского фестивального балета" Юлиан Браунсвайг. 1949 г.



"Петрушка" в постановке Н. Березова "Лондонским фестивальным балетом". Петрушка – Л. Мясин. Арап – Н. Березов. Балерина – А. Маркова. Лондон, 1950 г.



Николай Березов с Ивет Шовире. Лондон, 1950 г.



Николай Березов с балетмейстером Борисом Ломановым в театре "Скала", Милан, 1951 г.



Николай Березов с группой танцовщиц театра "Скала" в постановке балета в опере "Невидимый град-Китеж". Милан, 1951 г.



Н. Березов при постановке "Половецких плясок" в "Скала".
Милан, 1951 г.

гие дягилевские балеты, новая труппа быстро стала пользоваться большим успехом у публики, но де Базиль поссорился с Блюмом и целиком захватил в свои руки управление труппой. В 1936 году Блюм создал свою собственную труппу под названием "Балет Монте-Карло", а базилевская труппа стала называться "Оригинальный русский балет". Разница между Блюмом и Базилем была большая: хотя Базиль и не был таким искушенным балетным искусствоведом, как Блюм, его руководство оказывалось для танцоров более выгодным. Для Базиля труппа являлась насущным куском хлеба и потому работала куда интенсивнее, чем блюмовская. Для Блюма же балет был всего лишь хобби, из-за чего мы нередко сидели без работы, а значит и без денег.

Единственному сыну Блюма, Минушу, исполнилось тогда шесть лет. Нас всех коробило, когда Блюм кричал Минушу, что его мать проститутка. Жутко было слушать такое от этого в общем доброго человека. Мальчик рос, по всей вероятности, без матери и без всякого родительского присмотра. Вот почему Минушу и болтался целыми днями в театре и никто за ним особенно не смотрел.

Наши первые две недели в Лондоне проходили с большим успехом, однако в оперном театре "Ковент Гарден" 1 июня открылся шестинедельный сезон "Оригинального русского балета" де Базиля. Фокин страшно нервничал, так как у де Базиля шли его балеты, возобновленные Григорьевым. Базилевская труппа была больше и сильнее нашей во всех отношениях. Наши сборы сразу упали чуть ли не наполовину. Фокин с жаром нас уговаривал не ходить в "Ковент Гарден" и не смотреть, как неправильно и плохо танцуют его балеты у Базиля. В газетах критики стали сравнивать, где что лучше танцуется. Балетный критик Харолд Хаскэл, который две недели назад хвалил наши спектакли, теперь написал статью о базилевских спектаклях, которые предпочел нашим. На следующий день Хаскэл, как всегда, появился после спектакля за кулисами, и наш второй

балетмейстер Николай Зверев, муж балерины Немчиновой, набросился на бедного критика и вытолкал его из театра на улицу.

Михаил Михайлович Фокин все это время был страшно возбужден, что проявлялось на репетициях. Он доводил танцовщиц до слез. Особенно доставалось молодой солистке Тате Красовской-Лесли. Фокин репетировал с ней "Видение розы" и кричал на весь театр, что она корова, а не романтическая барышня. Во время спектакля Фокин сидел всегда в ложе, ближайшей к сцене, или в первом ряду, сразу за спиной дирижера. Однажды во время представления "Шехеразады", где пленные негры в гареме не должны были много себе позволять, лежа на подушках с женами шаха, танцор Шебешевский обнял свою партнершу не так, как поставил Фокин. Тот прибежал за сцену, схватил Шебешевского за ногу так, чтобы публика не видела, вытащил за кулису, ткнул кулаком в нос и вытолкнул опять за сцену. Другой случай произошел с дирижером. К нам на несколько дней пригласили бывшего дягилевского танцора Леона Вуйцеховского, который танцевал главного воина в "Половецких плясках". Этот балет имел всегда огромный успех у Дягилева, и его танцевали все двадцать лет подряд, пока существовало дягилевское предприятие. Но для Фокина этот балет был больным местом. Несмотря на его популярность в оригинальной постановке, Дягилев решил его удлинить и поручил Брониславе Нижинской сделать прибавку. В балете стала звучать ария Кончаковны, а "персидские пленницы" до начала танца сидели полукругом и под пение делали руками разные движения восточного псевдожанра. Дягилев на три минуты удлинил сцену, и эти три минуты удлинения Фокин принимал как самое тяжкое оскорбление, нанесенное ему Дягилевым.

Теперь здесь, в "Ковент Гарден", танцевали дягилевскую интерпретацию, и в программе объявлялась хореография Нижинской и Фокина, однако Фокин хо-

тел доказать лондонцам всю несправедливость к нему Дягилева. У господина Столя, которому принадлежал театр "Алгамбра" и много других театров, был сын, молодой дирижер, которому Блюм обещал дать дирижирование несколькими балетами в течение этого сезона. Первыми оказались "Половецкие пляски". В тот вечер Михаил Михайлович сидел сзади за дирижером, в первом ряду. После увертюры, не знаю почему, молодой Столь стал дирижировать так медленно, что половецкие девушки не знали, продолжать им танец или остановиться. Михаил Михайлович вскочил с кресла, схватил Столя за руку и стал ею махать в два раза быстрее. Столь опустил палочку, и оркестр перестал играть. Впрочем, молодой дирижер быстро нашелся, постучал палочкой о пюпитр, и оркестр подхватил мелодию, но одни музыканты стали играть с начала, а другие с того места, где остановились. Получилась какофония. Михаил Михайлович снова схватил сзади дирижера и на весь зал прокричал по-русски: "Занавес!" Мы на сцене принимали всевозможные позы, чтобы не выглядеть как стадо баранов. Занавес опустился. Фокина силой оторвали от Столя и привели на сцену. Он то бледнел, то краснел. Лондонская публика показала себя с лучшей стороны: сделала вид, что ничего не видела и не слышала, и после занавеса, прилично, без особых возражений и споров, разошлась.

По воскресеньям мы не работали. Я забирал Светлану на весь день в лондонские парки, которые становились для нас настоящим убежищем от убогой нашей улицы. Мара и по воскресеньям шила у Каринской, которая была перегружена работой и никогда не успевала вовремя сдать очередной заказ.

В последние две недели публики на наших спектаклях заметно прибавилось. Успех, в общем, был большой. Фокин изредка стал улыбаться.

Хочу рассказать один из эпизодов того сезона. На репетиции "Карнавала" бывший дягилевский танцор

Федоров, который исполнял роль Пьеро, взмолился:

— Ради Бога, Михаил Михайлович, разрешите мне танцевать эту роль так, как я ее танцевал уже двадцать лет!

Фокин ему ответил:

— Вот видите, вы танцуете эту роль уже двадцать лет. Вы постарели, и я постарел на двадцать лет, а публика сейчас на двадцать лет моложе, и ей нужно показать Пьеро так, как они понимают его сегодня, а не так, как понимали двадцать лет назад.

А ведь Фокин всегда всех уверял, что никогда ничего не меняет в своих старых балетах. На самом деле оказалось иначе. С каждым годом, возобновляя балеты, он не менял их в корне, но всегда прибавлял небольшие детали, в зависимости от исполнителей, старался придать хореографии максимум эффекта.

18 июня 1936 года мы давали в Лондоне последний спектакль. Уже на утреннем спектакле стали прибывать за сцену колоссальные букеты и корзины с цветами. Весь этот последний день проходил в особенно возбужденной атмосфере. Только лондонская публика умеет так хорошо и торжественно праздновать последние спектакли. Публика была самая первоклассная, судя по вечерним туалетам и сверканию драгоценностей. Танцовщиков вызывали на бис даже после маленьких ролей. В конце последнего балета "Дон-Жуан" овации не прекращались. Стали выносить на сцену цветы, так что вскоре она превратилась в огромный сад. Фокина вывели на сцену Немчинова и Руанова. Он появился во фраке, и ему с зачесанными висками на высоком красивом лбу так шел этот фрак! Глаза его сияли. В те минуты, должно быть, забылись все неприятности, которые накопились за годы его нелегкой артистической жизни.

Наконец, занавес опустился, и Михаил Михайлович обратился с речью к окружавшим его танцорам. На следующий день он уезжал в Соединенные Штаты и должен был вернуться лишь через шесть месяцев. Фокин произ-

нес короткую речь, которую мы запомнили на всю жизнь. Прежде всего, он попросил прощения у тех, которых особенно много ругал на репетициях. Он сказал, как много пришлось всем нам пережить за это время, как нас сплотила общая работа и общие переживания, сколько сил и бессонных ночей заняла она у всех. Зато какое счастье для хореографа, когда он видит на сцене танцоров, превращающих его идеи и фантазию в реальность, когда то, что он воображал, воплощается в жизнь. "Это самое мое большое счастие, и им я обязан только вам, дорогие исполнители!" Многие, не выдержав, плакали. Все чувствовали себя потрясенными.

Как не хватало нам Михаила Михайловича, особенно первое время! Забылись изнуряющие долгие репетиции, его вспыльчивость и порою грубость. Теперь каждый из нас высчитывал, когда мы опять будем работать с этим необыкновенным, дорогим человеком!

После этого сезона мы выступали с 20 по 25 июля в северном районе Лондона Гольденс Грин, а с 27 июля по 1 августа в южном районе Стратгам. Оттуда наша труппа вернулась в Париж, где мы пробыли без работы до 30 августа. На это время мы с Марой решили отвезти Светлану в специальный летний детский дом в горах на швейцарской границе, где она могла бы играть с детьми на свежем воздухе. Однако из этого ничего не получилось. Через несколько дней нам позвонили из пансиона, чтобы мы приехали забрать девочку, так как она сильно тоскует.

31 августа мы опять давали спектакли в Англии, в Лидсе, а 11 сентября наша труппа отправлялась на пятимесячные гастроли в Южную Африку, однако из-за моего скудного жалованья Маре пришлось вернуться к Каринской в Лондон, а бедную Светлану снова определили в детский пансион, на сей раз при русской церкви в Медоне под Парижем. Мара уехала в Лондон, и мне одному пришлось расставаться со Светланой, которая вцепилась в меня и не отпускала, несмотря на все мои уговоры и

обещания. Так случается с детьми очень бедных людей. Не веря ни во что лучшее, малыши боятся расстаться с родителями. Четырехлетняя Светлана, в свою очередь, пробовала уговорить меня по-своему:

— Ты, папа, никуда не уезжай. Я буду с детьми здесь жить, а ты — видишь окошко в чердаке? — можешь там спать. А когда я выросту и заработаю много денег, то куплю нам дом, и мы будем жить все вместе.

С самого рождения дочери я не раз пытался найти постоянную работу, чтобы можно было создать нечто вроде семейного очага. О том же мечтала и бедная Мара. Но в те времена весь мир переживал невиданную доселе депрессию, найти работу было почти невозможно, и оставалось одно — держаться нашей балетной труппы.

С тяжелым сердцем я уезжал тогда из Парижа. Светлана и Мара не выходили у меня из головы. Ни веселые возгласы и добрые пожелания коллег на вокзале, ни их жизнерадостность не могли меня отвлечь от горьких мыслей. Мара приехала всего за час до отхода нашего парохода. Мы сидели с ней в салоне первого класса, мимо носились танцоры, восторгаясь роскошью обстановки и предвкушая прекрасное путешествие. Оглядывая богатый салон, я чувствовал себя виноватым перед женой, которая должна была возвращаться в Лондон и просиживать целые дни за шитьем в маленькой душной комнатке. Заливаясь слезами, Мара сбежала по сходням на набережную и, не оглядываясь, исчезла в толпе.

Итак, 11 сентября 1936 года наш пароход отплыл из Саутгемптона в Кейптаун. По тогдашним правилам пассажиры первого класса должны были одеваться к обеду в вечерние платья, и мы, танцоры, тоже соблюдали этот этикет. Наши девушки щеголяли перед пассажирами то чересчур задрапированными, то слишком декольтированными нарядами и оказались для публики главным развлечением. По вечерам я наряжался в белый смокинг, который купил в Лондоне у старьевщика за пять шиллингов, и устраивался на палубе так, чтобы как

можно лучше наблюдать за происходящим. Казалось, все чего-то выжидают, присматриваются друг к другу.

На четвертый день мы остановились в порту Мадейры. Почти все отправились на берег осматривать замечательный португальский остров. А когда вернулись, увидели, что палуба украшена гирляндами и фонариками, а бассейн наполнен водой. С каждым часом становилось жарче. После обеда танцы для пассажиров первого класса перенесли на палубу, под лунный свет и мерцание огромных южных звезд. Атмосфера на пароходе располагала к романтике, появилось много влюбленных парочек, которые проводили вместе целые дни, держась за руки и нежно глядя в глаза друг другу. Все наши танцоры неожиданно оказались влюбленными. Ведь труппа существовала всего несколько месяцев, и при постоянных напряженных репетициях некогда было думать о любви.

Однажды, рассматривая чей-то альбом, я очутился рядом с большеглазой девушкой, которая нежно ко мне прижалась, делая вид, что тоже рассматривает альбом. Меня словно током ударило. Большеглазую девушку звали Лилин. Ей исполнилось восемнадцать. Шатенка с вьющимися волосами и белоснежными зубами, Лилин всегда была оживлена, весела и остроумна. Она помогала нашей гардеробщице в костюмерной. Вечером после обеда Лилин вновь присела рядом со мной, и когда заиграла музыка, я не удержался и пригласил ее танцевать. От прикосновения жаркого тела молоденькой южанки (Лилин была родом из Монте-Карло) я почувствовал, что лечу в какое-то пространство, откуда не смогу и не захочу возвращаться. И так шли вечер за вечером... Но днем, оставаясь один, я вспоминал Мару, и сердце мое сжималось. Хотелось немедленно прекратить всякие отношения с Лилин и забыть о пароходной интрижке, как о дурном сне.

Когда проплывали экватор, команда устроила пышное традиционное торжество, и наша дирекция решила

дать маленький дивертисмент из балетных номеров.

Балетмейстер Николай Зверев попросил меня станцевать ''Футболиста'', которого он помнил еще со времен выступлений в Литве. Здесь же, на главной палубе, было сооружено что-то вроде сцены, дирижер Ленард Пирс написал музыку, и я со своим ''Футболистом'' имел самый большой успех, так что назавтра оказался героем дня. Впоследствии этот танец прочно вошел в репертуар нашей труппы.

27 сентября мы, наконец, приплыли в Кейптаун и 30-го прибыли поездом в Иоганнесбург — огромный город, населенный исключительно белыми. Лишь прислуга и чернорабочие состояли из чернокожих. Хорошо, что у нас оказалось четыре дня для репетиций, потому что Иоганнесбург расположен очень высоко, 1500 метров над уровнем моря, и эта высота тяжело действует на тех, которые к ней не привыкли, особенно на танцоров. Когда прыгаешь, то впечатление такое, будто теряешь вес, зато через несколько минут задыхаешься, не хватает кислорода. На первых спектаклях некоторые танцоры после особенно бравурных танцев теряли сознание.

В первый спектакль вошли ''Сильфиды'', ''Терзания любви'' и короткий дивертисмент из пяти номеров, законченный ''Половецкими плясками''. Я, конечно же, танцевал ''Футболиста'' и имел неизменный успех.

Здешняя публика видела балет до наших выступлений всего лишь один раз — впервые здесь побывала со своей труппой незабвенная Анна Павлова. Это было десять лет назад, но ее здесь помнили и рассказывали о ней, как о чуде.

Тогда в Иоганнесбурге не было настоящего театра, и мы выступали в огромном кинотеатре, однако смогли показать весь привезенный репертуар. Успех был огромный, к тому же здешняя публика оказалась очень гостеприимной. После спектакля вокруг театра стояли автомобили, хозяева которых наперебой приглашали танцо-

ров домой к обильному ужину, а если не хотелось ехать в частный дом, то нас везли в рестораны или в ночные клубы, где шел кутеж до утра.

Однажды маленький господин в роговых очках подошел ко мне и попросил, чтобы я уговорил человек двадцать танцоров поехать к нему в гости. Он приходил несколько раз с одной и той же просьбой, уверяя, что в его загородном доме мы исключительно весело проведем время. После последнего спектакля человек восемь отправились к нему с условием, что будут в гостях не больше часа. И вот на двух лимузинах мы подкатили к роскошному особняку, который сиял всеми своими окнами. Подбежали слуги в ливреях, белых париках и белых перчатках. Нас повели мимо освещенного изнутри и снаружи, окруженного цветами бассейна. Гигантские двери на террасе вели в столовую в стиле рококо с поистине королевским столом. В старинных канделябрах мягко горели свечи. Нам прислуживали четыре лакея в золотых ливреях с белыми париками, которые резко выделялись, благодаря черным лицам. Не прошло и получаса, как мы захмелели и все увиденное показалось волшебным сном, а может, сценой в фантастическом кинофильме.

Подавались все новые и новые блюда. Ко мне нагнулся слуга и объяснил, что хозяин вот уже четыре недели велел им быть готовыми к приему гостей, и теперь наконец-то свершилось! Светало. Мы продолжали шуметь и веселиться. От выпитого в глазах двоилось. Кто-то разделся догола и полез в бассейн. Хозяин, как был, в очках и вечернем костюме, тоже бухнулся в воду. За ним последовала пожилая дама в роскошном туалете — его жена, а потом и все остальные. Как мы, мертвецки пьяные, не захлебнулись, до сих пор не могу понять. Впрочем, пьяных Бог бережет. Слуги принялись нас вылавливать и отпаивать горячим черным кофе. Кто-то вдруг спохватился, что труппа рано утром уезжает в Преторию. Нас, мокрых, вежливо рассовали в два ли-

музина и отправили сначала в гостиницу за вещами, а потом прямо в Преторию, до которой, к счастью, было не очень далеко. Голова моя раскалывалась на части, глаза слипались. Рядом сидели девушки, стуча от озноба зубами. Так мы вкатили в столицу Южной Африки.

Чем объясняется такое гостеприимство южноафриканского населения к нам, артистам? Скорее всего тем, что местные жители живут богато, но чувствуют себя заброшенными на край света, и каждое новое свежее лицо из Европы, а в особенности артисты, вносит в их жизнь то, чего им здесь так не хватает.

В Претории мы дали три спектакля. На каждом присутствовал губернатор Южной Африки со своей многочисленной свитой. Держался он не хуже короля Великобритании.

12 ноября мы приехали в чудесный, расположенный на берегу Индийского океана Дурбан, где оставались десять дней. Небольшой театр постоянно был переполнен. Гостиница находилась возле пляжа, и мы целыми днями загорали и купались, а вечерами, полные свежих сил, выступали перед публикой. Я аккуратно писал письма и каждую неделю посылал половину жалованья Маре в Лондон. Начавшаяся на пароходе интрижка с Лилин не прекращалась. В Иоганнесбурге кто-то позаботился, чтобы наши комнаты в гостинице оказались рядом. В Дурбане, где развлечений и приемов было меньше, чем в Иоганнесбурге, маленький флирт превратился в какую-то вакханалию. Мне постоянно хотелось быть рядом с Лилин, безумно возбуждал ее низкий мягкий голос, даже запах ее духов. До поры до времени я старался ни о чем не думать.

После Дурбана мы дали три спектакля в Питермарицбурге, затем приехали в Кейптаун, где провели выступления с 1 по 12 декабря. И вот — последний спектакль: второй акт "Лебединого озера", "Терзания любви" и "Дон-Жуан". Жалко было расставаться с гостеприимной публикой, теплой погодой и красивыми пляжами.

В Европе стояла хмурая зима, ждали постоянные заботы и неизбывная нужда. 4 января 1937 года после изнурительной, длившейся целую ночь качки мы, наконец, прибыли в Саутгемптон. На берегу меня встречала Мара. Изящная, тоненькая, благородная, она стояла в толпе, ища меня глазами. Лилин, зная, что я встречусь с женой, рыдала навзрыд, ни на кого не обращая внимания. Ко мне то и дело направлялись посыльные с упреками и советами, чтобы я шел ее утешать.

Я крепко обнял Мару. Слезы меня душили. Опять мы вместе. Опять впереди ничего утешительного. Опять предстоят разлука и отчаянная борьба за кусок хлеба. А дочь Светлана? Мысль о ней заставила меня взять себя в руки. Сегодня едем в Париж, а завтра с самого утра в Медон. Ведь девочка с сентября не видала ни меня, ни маму, и каково ей там, в бедном детском доме при русской церкви!

В Париже, как всегда, остановились в гостинице "Парм" на улице Клиши. Хозяева знали о наших финансовых проблемах и не очень надоедали с просьбами об уплате в срок. Поэтому сюда вновь въехала чуть не половина труппы, и маленькая гостиница зашумела, как пчелиный улей. Нам хотелось сначала подыскать более или менее сносную квартирку и лишь потом забирать девочку, однако не тут-то было! Светлана, увидев нас, подпрыгнула, обхватила меня руками и ногами и больше не отпускала. Отцепить ее не было никакой возможности.

И вот мы втроем в маленькой комнате. Мара готовит на маленьком столике ужин, Светлана сидит в углу и за нами наблюдает. Она боится пошевельнуться, чтобы за какую-нибудь шалость мы опять не отослали ее в детдом. Садимся ужинать. Семья в полном составе. Марины печальные глаза часто останавливаются на мне. Я чувствую себя виноватым перед этими двумя бесконечно дорогими мне существами. Последние четыре месяца я находился в богатой Южной Африке, "наслаждался жиз-

нью'', а они?.. Стало скверно и стыдно. Лучше бы я и не ездил в Южную Африку! Лучше бы я остался с ними, пусть бы даже пришлось голодать и нищенствовать!..

На следующий день я срепетировал с нашей солисткой Раей Кузнецовой три танцевальных номера, и через неделю мы устроились танцевать в одном из варьете на Елисейских полях, что дало семье средства прожить шесть недель в Париже. Светлану мы решили отвезти на юг Франции в маленький городок Салис де Беарн, где герцог Лихтенбергский устроил приличный пансион для русских детей.

Шесть недель пролетели незаметно. Иногда коллеги передавали мне записки от Лилин, которая жила с матерью в Монте-Карло. На каждой записке было нарисовано сердце, пронзенное стрелой. Я не вникал глубоко в смысл ее писем. Важнее всего для меня вновь стало ''ремесло'' моей жизни — танцы.

В турне по Южной Африке было пропущено много времени без тренировки. В Париже, с такими профессорами, как Ольга Преображенская, Егорова, Кшесинская, Волынен и другие, я делал по два-три урока в день, нагоняя пропущенное и стараясь приобрести больше техники. К этому надо прибавить два выступления в день в варьете по три танца в каждом со всеми технически сложными трюками. Вечерами я приходил в гостиницу еле волоча ноги, но на душе было легко от сознания, что я вновь всецело посвящен танцу и ничего другого мне в жизни не нужно.

20 февраля 1937 года наша труппа отправилась на две недели в Манчестер. Перед началом спектакля Рене Блюм вдруг в панике объявляет, что наши главные танцоры Вера Немчинова, Анатолий Обухов и балетмейстер Николай Зверев не приехали и приезжать не собираются, и что придется отменить спектакль, пока не найдется замены. Труппа в один голос заявила, что спектакль не нужно откладывать, ибо хорошие танцоры, которые сумеют заменить солистов, найдутся, и тут же указали на

меня, хорошо зная, что с моей техникой и хорошей способностью запоминать балеты я отлично справлюсь вместо Обухова, а заменить Немчинову были готовы и знали все ее партии наши солистки Мария Руанова и Нана Голлнер.

Спектакль состоялся, и я танцевал в этот вечер вместо Анатолия Обухова роль главного посла в "Терзаниях любви" и Петрушку в "Петрушке". Мой личный успех и успех труппы был огромным. Все меня поздравляли и радовались. После спектакля Блюм сговорился со мной встретиться у него в гостинице. За завтраком он меня хвалил, выражал сожаление, что не обратил на меня должного внимания раньше, и объявил, что с сегодняшнего дня я становлюсь солистом. Моими ролями будут теперь Петрушка, главный воин в "Половецких плясках", золотой раб в "Шехеразаде" и главный посол в "Терзаниях любви". Чисто классические роли Обухова он поделит между Андреем Еглевским и Мишей Панаевым. Сразу же после этого разговора я отправился в театр и в темноте на сцене стал репетировать новые роли. Я их знал хорошо, однако никогда не думал, что они так внезапно на меня обрушатся.

Публика полюбила меня, отклики в газетах были самые благоприятные. Особый успех имел дивертисмент, который давался перед последним балетом спектакля. Он состоял из пяти-шести различных сольных номеров, в которых я всегда танцевал любимый номер футболиста.

После спектакля я стал теперь задерживаться у выхода, где всегда толпилась группка любителей, просивших автограф. В Англии это очень популярно. Таким образом зрители еще раз дают артисту ощутить радость от спектакля, а он, в свою очередь, хочет потом сыграть еще лучше.

Достиг ли я какой-то особенной цели? Думается, нет. Просто мне всегда хотелось танцевать и только танцевать, а то, что я стал внезапно солистом, что мне при-

бавили жалованья, стали давать отдельные уборные, писать имя большими буквами в программах и на афишах, — не имело особой ценности. Будь счастлив, что ты танцор и можешь танцевать. Во время танца ты получаешь огромное удовольствие, удовлетворение — в этом и заключается счастье.

После Манчестера давали представление в Глазго, где на мою долю вновь выпал огромный успех, и, как всегда, в роли футболиста, Петрушки и воина в "Половецких плясках". Никогда не забуду, как однажды, когда мы давали "Петрушку", в одну из лож театра вошел Федор Шаляпин с его тогдашним импрессарио Евгением Искольдовым. Искольдова я давно и хорошо знал. После спектакля Шаляпин пришел на сцену и, вызвав меня, сказал много добрых слов о моем исполнении Петрушки, тронувших меня до слез. Ведь Шаляпин пел у Дягилева, когда тот привозил в Париж из России и балет, и русскую оперу. Шаляпин насмотрелся тогда на исполнение Петрушки Нижинским и вообще как большой артист умел оценить танцоров по достоинству. На следующий день он прислал мне большую фотографию (которую я и по сей день храню) с надписью: "Юному коллеге Коле Березову на добрую память от Федора Шаляпина".

После Глазго мы возвращались в Монте-Карло, где нас ждал Михаил Михайлович Фокин, чтобы репетировать новые балеты для предстоящего сезона в Монте-Карло, затем короткого периода в парижском Театре на Елисейских Полях и четырехнедельного сезона в лондонском театре "Колизеум".

Я волновался, не зная, как Михаил Михайлович отнесется к тому, что за время его полугодового отсутствия я стал солистом и без его ведома исполнял главные роли в его балетах. Однако мои волнения оказались напрасными. До постановки новых балетов он захотел проверить, как мы танцевали старые. И мы танцевали, стараясь изо всех сил.

После каждого номера Михаил Михайлович широко

улыбался, но тут же делал маленькие поправки и советы, которые мы с восторгом принимали. Глядя, как я танцую, он делал вид, что ничем не удивлен и готов с меня спрашивать, как с каждого солиста, однако после репетиции все же меня позвал и сказал слова, которые я никогда не забуду:

— Я не ошибся, предполагая, что мои балеты вы, как никто другой, чувствуете и понимаете. Господин Блюм правильно сделал, доверив их вам. Что касается вашей техники, то у меня есть для вас специальный балет, где вы сможете показать себя особенно эффектно.

Я не верил собственным ушам. Ведь отпускать танцорам комплименты было вовсе не в принципах Михаила Михайловича. Наоборот, он держал их в строгой дисциплине и требовал от них максимум того, что они могут дать.

Теперь Михаил Михайлович должен был в короткий срок поставить четыре одноактных балета:

1. "Эльфы" на музыку Мендельсона, костюмы и декорации Виале, декорации Висконти.

2. "Элементы" на музыку И.С. Баха, костюмы и декорации Димитри Бушен.

3. "Русские деревенские игрушки" на музыку Римского-Корсакова, "Русскую рапсодию", костюмы и декорации Натальи Гончаровой.

4. "Арагонскую хоту" на музыку Римского-Корсакова, костюмы и декорации Эмиля Бертен.

В начале репетиций Михаил Михайлович однажды пригласил меня на завтрак. Они с женой снимали здесь маленькую, но красивую виллу с садом, террасой и видом на море. Я аккуратно явился в назначенное время и вначале держал себя, как на репетициях, не начинал первым говорить, да и не сиделось как-то в кресле напротив Михаила Михайловича. Все хотелось встать и исполнять его приказания. Но Фокин был чутким человеком, и через несколько минут я чувствовал себя, как у отца родного. Конечно, мы говорили только о балете. Михаил

Михайлович похвалил кое-какие трюки в моем исполнении характерных танцев, попросил, чтобы я рассказал, что знаю о русских танцах, и я тут же, после завтрака, стал на террасе отплясывать и показывать все, чему научился за последнее время. Единственное, что мне не удавалось, — это высокие прыжки. Быстротой же и ловкостью природа меня не обделила.

После моих плясок вокруг стола и стульев хозяева радушно отпустили меня домой. На другой день мы начинали с репетиции "Русских деревенских игрушек". Я танцевал в этом балете роль деревенского паренька. Нана Голлнер была моей партнершей, а кроме нее участвовало еще девятнадцать девушек. К моему большому удивлению, Михаил Михайлович стал показывать мне многое из того, что я вчера у него дома отплясывал. Репетиции шли с большим подъемом. Михаил Михайлович находился в хорошем настроении и с каждой репетицией давал мне все более сложные па, например, четыре двойных тура подряд с русским поклоном в конце и сразу двойной тур на колено и с колена опять двойной тур, и вновь русский поклон.

Товарищи предсказывали мне большой успех в Лондоне. В этом балете мне удалось сочетать большую технику с комизмом, и в то же время быть словно деревянная игрушка вроде Ваньки-Встаньки. Михаил Михайлович репетировал "Игрушки" всегда сразу после тренажа, когда у меня все мускулы были хорошо разогреты, и казалось, что я не прилагаю никаких особых усилий, чтобы протанцевать этот балет.

Однажды Михаил Михайлович окончил репетицию и объявил перерыв, а сам пошел в контору к Блюму. Кончив репетицию, мы всей труппой высыпали на большую террасу подышать свежим воздухом и полюбоваться морем. Хотя солнышко грело, с моря всегда тянуло сырой прохладой. Это особенно ощущалось мокрыми от пота танцорами. За четверть часа я успел здорово остыть. Мимо нас прошли в студию Михаил Михайлович, Блюм и

директор ''Колизеума'' сэр Столь. Михаил Михайлович подмигнул мне, мол, ''покажи им''. По сюжету я должен был прыгнуть в колодец, вроде бы покончив самоубийством, а потом из него выпрыгнуть и сразу пуститься в заковыристые русские присядки. Когда с большого прыжка я перешел сразу на глубокую русскую присядку, в моих коленях словно что-то лопнуло и порвалось. Я не смог встать, и меня отнесли в сторону. Оказалось, что в коленях порвались ''мениски''. В репетиции танцевал за меня заместитель, но с очень слабой техникой, так что балет не имел никакого вида.

У меня сразу вспухли колени, и я насилу мог передвигаться. Доктора в то время еще ничего не знали о ''менисках'' и начали меня лечить каждый по-своему, ставя разные диагнозы. Блюм решил отправить меня в Лондон, где лечили лучше. Он хотел, чтобы к премьере ''Игрушек'' я выздоровел. Однако, до Лондона наша труппа две недели провела в Париже, дебютируя в Театре на Елисейских Полях и, несмотря на то, что я хромал на обе ноги, на меня взвалили мимические роли Панталоне в ''Карнавале'' Шумана и главного демона в ''Дон-Жуане'' Глюка.

Наш сезон в Париже посещали плохо. В это время в Париже проходила Всемирная выставка, и все оправдывались, что из-за нее парижане не ходят на балет. А где же тогда находились тысячи туристов?

Я уехал в Лондон лишь на несколько дней до приезда всей труппы. Мара работала у Каринской. Мои колени попрежнему болели, надежда, что я смогу танцевать премьеру ''Игрушек'', становилась маловероятной, несмотря на то, что я попал в лучший лондонский госпиталь. Профессора крутили мои ноги во все стороны и под наркозом, и просто так, и после подобных докторских атак я со страшными болями мог глубоко присесть и встать, однако мне становилось еще хуже. Колени сразу опухали, и гасла всякая надежда, что я смогу танцевать премьеру.

Второй сезон нашего балета в Лондоне открылся в "Колизеуме" 31 марта 1937 года. Как новинку для лондонской публики, мы впервые поставили "Эльфов". Публика большого энтузиазма не проявила, и весь сезон шел довольно вяло. В конце нашего сезона в оперном театре "Ковент Гарден" открывался сезон "Русского балета" де Базиля, который лондонские балетоманы явно считали лучше и интереснее нашего. Михаил Михайлович очень нервничал и был на этот раз как никогда вспыльчив и раздражителен. Он почти не кланялся Рене Блюму и имел на это веские основания. Рене Блюму предложили продать его компанию вновь созданному обществу Ballet Guild в Америке во главе с известным хореографом и танцором Леонидом Мясиным при финансовой поддержке американского миллионера Флейшмана. Блюм согласился на продажу, и поэтому Леонид Мясин уходил из компании де Базиля, готовясь стать артистическим директором и хореографом нашей труппы. Де-Базиль, в свою очередь, немедленно пригласил Михаила Михайловича ставить балеты в его труппе.

В такой атмосфере проходил наш второй сезон в Лондоне. Я выступал лишь в мимических ролях. Подошел день премьеры "Игрушек". Я находился на сцене во время генеральной репетиции, чтобы в случае необходимости подсказать перепуганному заместителю, что делать. Перед самым началом репетиции ко мне подошел Михаил Михайлович и каким-то незнакомым мне голосом стал говорить, словно никогда меня раньше не видел:

— Послушайте, Березов, я никогда в жизни не менял хореографию моих балетов, но на сей раз из-за ваших больных колен решил переменить. Все-таки именно вы должны будете сегодня протанцевать премьеру!

Я со слезами в голосе возопил:

— Михаил Михайлович! Разве вы не видите, что я еле передвигаю ноги? Не смогу я ничего сделать!

Михаил Михайлович вдруг побледнел и громким

высоким голосом стал кричать такое, чего я никак не ожидал от этого властного, умного и столь обожаемого мною человека:

— О чем возомнила попрыгунья-стрекоза? Ведь у вас, кроме ваших пируэтов, ничего нет! О чем вы думали перед тем, как стать танцором и какая пьяная башка надоумила вас танцевать?!..

Я остолбенел. Судьба часто обрушивалась на меня со всей дьявольской силой, но на этот раз меня тронуло, как лезвием бритвы по сердцу. Дело моей жизни — танцы, и я слышу от главного жреца, от моего кумира такие обвинения! Звуки увертюры заглушили голос разбушевавшегося Михаила Михайловича, меня подхватили под руки двое товарищей и увели со сцены.

Вечером я сидел в театре на галерке с Марой и мы смотрели премьеру "Игрушек". Мара заливалась слезами. Мой успех и положение в труппе чудились ей безвозвратно утерянными.

Балет прошел с приличным успехом. Лондонцам понравились и сюжет, и декорации, и костюмы по рисункам Натальи Гончаровой. Мой коллега Макс Кирбос более или менее справился с упрощенной для него хореографией, однако балет не произвел фурора, на который рассчитывал и сам Фокин, и многие другие, видя репетиции в моем исполнении.

На другой день шел фокинский балет "Испанское каприччио", и режиссер Язвинский попросил меня просто стоять на сцене и во время исполнения танцев вертеть плащом. Я эту роль статиста добросовестно исполнил. Потом, когда опустился занавес, ко мне, широко улыбаясь, подошел Михаил Михайлович и опять как ни в чем не бывало заговорил низким бархатным баритоном.

— Хочу вас попросить... Вы, наверное, слышали, что я покидаю эту труппу. После этого сезона у вас будет новая дирекция. Мне хотелось бы, чтобы вы здесь присматривали за моими балетами. Об этом я уже сказал

господину Блюму. Постарайтесь, чтобы на репетициях точно выполняли мою хореографию. Помогайте сами тем, кто будет их разучивать, и если кто-нибудь захочет что-нибудь менять, немедленно пишите мне. Я знаю, что оставляю свои балеты в хороших руках, танцору, который прекрасно их исполнял и превосходно запомнил. Желаю вам от всей души как можно скорее справиться с коленями!

Увидев, что я весь дрожу от волнения, он дружески обнял меня и сильно похлопал по спине. Он не извинился за вчерашнее, но мне и не требовалось его извинений. Фокин для меня был гением и таким остался, а им нужно многое прощать.

Я остался в труппе как бы наследником фокинских балетов, и выполнил просьбу Михаила Михайловича присматривать за ними со всей строгостью к самому себе и к другим. Я записал все па и счет, на какой они делаются, в клавирах, с зарисовкой движений и форм групп, и по сей день я считаюсь в балетном мире знатоком фокинских балетов.

Это был мой последний разговор с Михаилом Михайловичем. Через несколько дней он уехал отдыхать в Швейцарию. Там он сочинил новую версию ''Золотого петушка'', которую поставил для труппы де Базиля. Премьера состоялась в лондонском театре ''Ковент Гарден'' 15 сентября 1937 года и прошла с огромным успехом.

В отпуск мы с Марой поехали на шесть недель в Салис де Беарн к нашей Светлане. Сюда к детям на летние отпуска приезжали многие родители, и за стол садилось нередко человек двадцать. Светлана разлучалась с нами лишь для еды и сна. Время в Салис де Беарн промчалось неимоверно быстро, и вот надо было возвращаться в Париж, чтобы за полжалованья с 1 сентября начать репетиции. 12-го уже начиналось турне по английской провинции.

При расставании со Светланой состоялась настоя-

щая драма. Дочка в меня вцепилась, и ее, рыдающую, насилу от меня оторвали.

В Париже выяснилось, что я все же могу с горем пополам танцевать Петрушку и главного посла в "Терзаниях любви", однако ни "Игрушек", ни "Половецких плясок", ни "Шехеразады" я танцевать не мог.

"Футболиста" я упростил, и он по-прежнему имел успех, но танцуя его, я удовольствия больше не получал, сознавая, что раньше исполнял его куда лучше и со всеми трюками, от которых теперь пришлось отказаться.

Все очень волновались, что с нами будет, когда с нового года придет другая дирекция, которая, может быть, не захочет с нами работать, но Рене Блюм всех уверял, что продавая труппу, он позаботился об этом, и что никто не будет уволен.

Осенний сезон начался 13 сентября в Эдинбурге, где мы выступали две недели. В это турне я взял с собой Мару, чтобы она хоть немножко могла отдохнуть. Во время турне, 11 ноября 1937 года, я получил из Литвы печальное известие — после долгих страданий моя мама скончалась от рака.

После Эдинбурга наше турне состояло из однонедельных выступлений в Абердине, Скарборо, Саутпорте, Нотингхеме, Манчестере, Глазго, Брайтоне и Саутси, откуда мы прибыли в Амстердам, где в театре "Карре" выступали одну неделю. После Амстердама — Цюрих, выступления в театре "Корсо" в течение десяти дней, с 13 по 23 декабря. Рождество встретили в Базеле и 29 декабря прибыли в Монте-Карло. Весь январь 1938 года продолжался бесплатный отпуск, а с 1 февраля мы уже работали под управлением новой дирекции.

Леонид Мясин присылал в Монте-Карло новых танцоров, нанятых в Нью-Йорке и Париже. С каждым приездом нового танцора мы гадали, на чье место Мясин его принял, но догадки ни к чему не вели. Пока что Миша Панаев и я ездили каждый день автобусом в Ниццу брать уроки у бывшей солистки Мариинского театра Юлии Се-

довой. Хотя мои колени и не давали мне танцевать как следует, все-таки я старался поддерживать технику, как мог, перед предстоящими в труппе переменами.

Безденежный январь прошел быстро. К 1 февраля Мясин приехал сам и привез более двадцати танцоров, среди них таких балерин, как Александра Данилова, Алисия Маркова, Тамара Туманова, Мия Словенская, Нина Теилади, Игорь Юскевич, Фредерик Франклин, Георг Зорич, Роланд Герард, Марк Платов, а также целый букет шестнадцатилетних дочерей русских эмигрантов из Парижа вместе с мамашами. Там были Женя Меликова, Наташа Келеповская, Катя Железнова, Еланда Лака, Таня Докудовская, Нина Строгонова, Розелла Хайтауер, Млада Младова и другие. Наши бывшие балерины Мария Руанова и Нана Голлнер, а также солист Гранд Монрадов из труппы ушли. Остались из солистов только Нина Тараканова, Наталья Красовская-Лесли, Андрей Еглевский, Миша Панаев и я.

Репетиции начались со старых балетов, чтобы ввести новых танцоров в курс дела. Мясин решил заменить наших кордебалетчиц десятью привезенными девушками. Наш кордебалет раньше состоял в большинстве из англичанок. Теперь бедных барышень Барри, Элиас, Ферминову, Грантам, Ламонт, Зорину, Безобразову, Дроздову, Яковлеву и Сиепеву заставили сначала показать свой репертуар новоприбывшим, а к концу монте-карловского сезона уйти из труппы. Для них это была настоящая трагедия.

Как я и предполагал, со мной случилось следующее: господин Мясин меня вызвал и объявил, что ввиду моих поврежденных колен я должен, пока не поправлюсь, показать все свои сольные партии новоприбывшим солистам Ф. Франклину и Р. Герарду. Он сказал также, что несмотря на мое состояние с коленями, он меня оставляет в кордебалете, а когда я поправлюсь, то вновь смогу танцевать соло. Жалованье мне предложили минималь-

ное. Через час я уже учил Франклина танцевать "Шехеразаду" и "Петрушку".

С первых же дней репетиций Леонид Федорович Мясин стал ставить балет на музыку "Седьмой симфонии" Бетховена, "Nobilissima visione" Хиндемита, "Веселом Париже" Оффенбаха. К тому же еще возобновлялись старые балеты Мясина: "Le Tricorne", "Голубой Дунай", "Жизель" (2 акта) и весь прежний репертуар. Мы, как всегда, работали с 9 утра до 10 вечера, трудились напряженно и приподнято. Новые девицы дружно тренировались в балетном зале, а снаружи, на свежем воздухе, сидели мамаши и до хрипоты спорили, каждая восхваляя свою дочь и утверждая, что не пройдет и года, как ее чадо станет примой-балериной. 1 апреля открылся наш третий монте-карловский сезон и продолжался до 15 мая.

Этот период репетиций и выступлений в Монте-Карло оказался очень интересным. Приехал композитор Пауль Хиндемит, прибыли художники, которые рисовали макеты для костюмов и декораций: граф Э. де Бомон, Кристиан Бернар, Наталья Гончарова, Анри Матисс, Пауль Челичев. Все они целыми днями проводили на репетициях, принимая во всем живейшее участие, присутствовали на всех примерках и придирались к каждой плохо пришитой пуговице. Их замечания и указания, восхищение или неодобрение здорово нас подбадривали, в особенности когда Пауль Хиндемит садился сам за рояль во время репетиций и часами аккомпанировал, играя свою музыку.

Самой важной персоной в труппе стала новая прима-балерина Шура Данилова. Воспитанница легендарной балетной школы Мариинского императорского театра в Петербурге, а потом солистка дягилевского балета, она имела особый стиль во всем, танцевала с огромным темпераментом и вкусом. Ей не было равных в исполнении веселых ролей, таких как уличной танцовщицы в мясинском балете "Голубой Дунай", продавщицы перчаток в

”Веселом Париже” или Сванильды в ”Коппелии”. Она также совершенно по-своему танцевала Одетту во втором акте ”Лебединого озера”. Профессионалы могли критиковать ее за эксцентричность в классических балетах, что особенно нравилось публике, зато от формы ее ног в короткой пачке нельзя было оторвать глаз.

Мы скоро освоились с системой мясинских хореографий, хотя сначала было трудновато. Во время постановок, на репетициях, Мясин держал в левой руке партитуру, а в правой тетрадь с приготовленной записью движений. Он насвистывал мелодию, шаркал ногами, а затем обращался к нам, чтобы мы сделали то или иное движение. В большинстве это были маленькие, но очень заковыристые движения — мы их называли ”движения под себя”. Однако, когда все хорошо разучивалось и эти движения соединялись с предыдущими, получались интересные хореографические комбинации. Оттуда потом выливались целые мясинские балеты на симфоническую музыку, например, ”Седьмая симфония” Бетховена.

Годом позднее достаточно было, чтобы Мясин, глядя в партитуру, посвистел и пошаркал ножкой, как мы сразу догадывались, что он изобретает. Не дожидаясь, когда он начнет объяснять, мы делали то, о чем можно было догадываться, и шли дальше в движениях, которых Леонид Федорович еще не досвистел и не дошаркал ножкой. Получалась целиком законченная танцевальная фраза. Леонид Федорович смотрел на нас огромными добрыми глазами и не протестовал против нашего сотрудничества в его хореографическом творении. Однако понять было нелегко, доволен он нами или смущен, что его хореографический гений так легко расшифровывается обыкновенными смертными.

Эта группа танцоров, которых я назвал ”мы”, а в сущности называю ”вечными студентами”, и к которым причисляю себя после моего несчастного случая с коленями, — фактически ядро балетной труппы. Это исполни-

тели, любящие балетное искусство и всей душой преданные ему. У них большой опыт, они отлично знают репертуар и принимают близко к сердцу все, что происходит в труппе. В большинстве случаев они танцуют в кордебалете либо небольшие соло, однако именно они составляют душу труппы и прежде всего от них зависит успех или провал спектакля, так как своим рвением и опытом они тянут за собой менее опытных коллег и создают на сцене особую атмосферу, благодаря которой солистам легче покорить публику.

15 мая мы закончили выступление в Монте-Карло и вновь перешли на половину жалованья, репетируя девять недель и готовясь к лондонскому сезону. Наконец, 18 июля мы открыли четырехнедельный сезон в театре Друри Лейн. Труппа хорошо к нему подготовилась. Во многих балетах Мясин танцевал сам. В жизни он был скромным, даже застенчивым, а на сцене проявлял невероятный темперамент, особенно в таких ролях, как мельник в ''Треугольной шляпе'', гусар в ''Голубом Дунае'', перуанец в ''Веселом Париже''. Он исполнял их с неимоверной четкостью и музыкальностью, зажигал всех участников и давал пример того, с какой аккуратностью и любовью нужно относиться к работе. Его спектакли проходили с большим успехом у публики.

Одновременно, в нескольких десятках шагов от нашего театра, в театре ''Ковент Гарден'' открылся продолжительный сезон нашего соперника де Базиля. Лондонские балетоманы совершенно обезумели — до сих пор у них считалось, что труппа де Базиля по сравнению с прошлогодней, блюмовской, превосходит ее почти во всем. Однако сейчас, с уходом самого Мясина, Даниловой и одной из трех ''бебе-балерин'', Тамары Тумановой, в бывшую блюмовскую компанию с новым репертуаром и почти новым кордебалетом, впечатление изменилось. Ни один самый черствый балетоман или критик не мог не растаять, видя, например, ураганное вторжение на сцену дюжины шестнадцатилетних русских парижанок,

танцующих с Мясиным канкан, и очаровательной кокетки Шуры Даниловой в ”Веселом Париже”. Балетоманы хвастались, что за один вечер успевали посмотреть обе труппы: начало спектакля в ”Ковент Гарден” и конец в ”Друри Лейн”, или наоборот.

Нашу труппу субсидировали богатые американцы, и знаменитый американский импрессарио Сол Юрок собирался везти нас на целых семь месяцев в Соединенные Штаты, не жалея средств на рекламу. И при всем при том наш соперник в ”Ковент Гарден” не терял популярности. Особенно большой успех имел фокинский балет ”Золотой петушок”. Юрок возил труппу де Базиля в прошедшем зимнем сезоне в Америку и знал, каким успехом пользовался там ”Золотой петушок”. Поэтому он стал настаивать, чтобы наша труппа тоже имела в репертуаре для Америки что-нибудь вроде ”Золотого петушка”. Дирекция пошла навстречу этому желанию, и скоро Борис Кохно написал либретто на тему русской былины ”Три богатыря”. Хореографию, конечно, оформлял Мясин, музыку взяли из ”Второй” и ”Третьей” симфоний Бородина, костюмы и декорации заказали у самой Натальи Гончаровой, работа которой в ”Золотом петушке” пользовалась огромным успехом.

Репетировали мы этот балет в очень неудобных условиях, так как в ”Друри Лейн” своего помещения для репетиций не было и мы работали в маленьких запасных залах ресторанов. Скользко, тесно, душно. Мясин, поставивший за последние пять месяцев так много балетов и танцуя при этом сам, заметно напрягался при этой постановке. Однако все было задумано грандиозно, чтобы затмить ”Золотого петушка”. Выступали все до единого члены труппы и во всех трех сценах меняли костюмы. Постановка оказалась самой дорогой из всех наших постановок.

Премьера состоялась 20 октября 1938 года в театре ”Метрополитен Опера” в Нью-Йорке. Отдельные сцены и артисты имели успех, но превзойти успех ”Золотого пе-

тушка" нам не удалось, несмотря на сходство жанра и великолепные декорации и костюмы Гончаровой.

Я описываю этот случай с "Богатырями" для того, чтобы показать, что балетную постановку, предназначенную лишь для "побития" другой, ожидает всегда большая неудача. Это подтвердил мой долголетний опыт работы в балете. Мы танцевали этот балет всего один сезон и только в больших городах, и больше к нему не возвращались.

Лондонский сезон закончился 13 августа, и благодаря огромному успеху у публики, труппа, несмотря на физическую усталость, была полна бодрости и сил. Получив неделю отпуска, конечно, бесплатного, мы сразу вернулись в Париж и немедленно отправились в Салис де Беарн. Неделя пролетела как один день. Хотелось непрерывно находиться с дочерью, однако она была вынуждена подчиняться общему распорядку детского дома.

5 сентября мы открыли в "Ковент Гарден" новый лондонский сезон. Этот трехнедельный сезон ничем особенным себя не проявил. Несмотря на то, что настоящая лондонская театральная публика разъезжалась в сентябре на летние каникулы, театр всегда был полон и спектакли проходили с успехом.

24 сентября Светлане исполнилось шесть лет, но мы все трое находились в разных местах, я с трудом репетировал за полжалованья, поджидая парохода, чтобы впервые отправиться в Соединенные Штаты в шестимесячное турне.

8 октября мы прибыли в Нью-Йорк. На океане нас здорово укачало, и сойдя с парохода, не все чувствовали себя готовыми к танцу, но с нашими чувствами мало кто считался, и уже через четыре часа мы стояли в репетиционном зале "Метрополитена" и репетировали. Некогда было даже одним глазком взглянуть, что же это такое Нью-Йорк и Америка.

12 октября 1938 года открылся наш новый амери-

канский сезон. Зрительный зал ”Метрополитена” был переполнен разодетой публикой, куда более громкой, развязной и веселой, чем в чопорном лондонском ”Ковент Гардене”. Американцы сразу начали показывать, что они большие знатоки балета и постоянно аплодировали, иногда совсем не к месту. В то время в Америке своего балета, за исключением маленьких непостоянных групп, вроде балета Катерины Литфилд, не существовало. Америка тогда набирала в свою здоровую грудь побольше ”балетного воздуха”, чтобы через пару лет создать собственные балетные труппы типа ”Американского балета” или ”Нью-Йорк Сити балета”, которые сегодня считаются одними из ведущих в мире.

Наш сезон проходил с большим успехом. Публика устраивала шумные овации главным танцорам. Сергей Лифарь, первый парижский танцор и балетмейстер, должен был с нами танцевать в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анжелесе. В Лондоне он участвовал в ”Жизели” в роли Альбрехта и в ”Сильфидах” в роли поэта, очень понравился публике, но держался несколько в тени. Однако в нью-йоркский сезон был включен поставленный им балет, задуманный без оркестра, лишь под гром барабанов и литавр. Единственным действующим лицом являтся Икар, роль которого исполнял господин Лифарь.

Между Лифарем и Леонидом Мясиным шел горячий спор о том, с какими другими балетами в той же программе будет представлен ”Икар” и пойдет ли он как первый, второй или последний номер. Лифарь не соглашался ни с одним предложением Мясина. Разговор происходил перед всей труппой в репетиционном зале. Лифарь стоял перед Мясиным и, бравурно жестикулируя, переходя с русского на французский, оглядывался по сторонам с очевидным желанием, чтобы все слышали его аргументы. Мясин сидел неподвижно, положив руки на колени, как сфинкс, и мерным тихим голосом возражал Лифарю, сверкая большими глазами.

Накануне "Икара" ставилась "Жизель", где Лифарь должен был танцевать с Алисой Марковой, но ему хотелось танцевать с Тамарой Тумановой. На репетиции второго акта, когда Жизель прыгает подряд в арабеске с поддержкой Альбрехта, Лифарь так "старательно" приподнял и опустил Маркову, что она серьезно подвернула ногу. Одновременно из другой кулисы стала прыгать в арабеске Тамара Туманова, и Сергею нужно было только переменить руки с талии одной партнерши на талию другой. Вечером Лифарь танцевал "Жизель" с Тумановой. Маркова с вывихнутой ногой на несколько дней вышла из строя.

На следующий день ожидалась премьера "Икара". Лифарь страшно нервничал. В костюме Икара с огромными крыльями на руках он выглядел как настоящий греческий бог. Да он, почти обнаженный, и красив был, как греческий бог. Загремели барабаны, и мы не успели оглянуться, как Лифарь уже летел по не видимому для публики желобку с высоких подставок чуть ли не прямо в оркестр. Полет, или лучше сказать, падение, — этот главный смысл сюжета, в чем-то не удался. Он не произвел на публику того эффекта, какой предполагался. Раздались жидкие рукоплескания. После фортиссимо всех барабанов и литавр аплодисменты показались довольно слабенькими.

Лифарь оставался за сценой в своем костюме до конца спектакля, и во время "Веселого Парижа" каждый раз, когда Мясин, танцующий роль перуанца, возвращался со сцены за кулисы, набрасывался на него с упреками, стараясь перекричать музыку. Как только занавес опустился, Лифарь выпрыгнул на сцену и перед всей труппой вызвал Мясина на дуэль, которая должна была состояться на следующее утро.

Не успели мы снять грим и переодеться, как в мужскую ложу вошел взволнованный Мясин и попросил самых высоких и сильных танцоров Костенко и Петровского быть завтра его секундантами на дуэли с Лифарем.

На следующее утро, во время репетиции, появились Костенко с Петровским в лучших костюмах, напомаженные и очень важные. Они стали поджидать секундантов Лифаря, чтобы вместе отправиться в Центральный парк на место дуэли. Мясин сидел почему-то на сцене в одном из кресел из "Веселого Парижа" и, как Иван Грозный, недвижно смотрел в одну точку. Время шло, а лифаревские секунданты не появлялись.

Через час явились основательно подвыпившие секунданты Лифаря и объявили, что Сергей Павлович десять минут назад отбыл пароходом в Европу и просил передать всем наилучшие пожелания. Так закончилась, слава Богу, "балетная" дуэль. Лифарь, уезжая, нарушил контракт и к нам в Америку больше не возвращался. О Лифаре можно было бы много написать, но он сам о себе, да и другие о нем много писали. Лифарь — целая эпоха парижского балета.

Мы закончили наш первый сезон "Русского балета Монте-Карло" в Нью-Йорке 30 октября 1938 г. и двинулись в турне, которое продолжалось вплоть до Рождества, по всей Америке, давая спектакли в больших и маленьких городах, где редко задерживались больше, чем на три дня. Наконец добрались 18 декабря до Чикаго, где должны были пробыть три недели.

Турне по Америке здорово нас измотало. Кончаем спектакль — и сразу же на вокзал, где нас уже ожидает собственный поезд со спальными вагонами. Однако мужская часть труппы немедленно садится за карты и режется в покер до последнего гроша, пока поезд не остановится в следующем городе, где надо вновь выступать, а потом опять повторяется та же самая история. Сол Юрок не очень хорошо организовал это турне. Спектакли были заранее распроданы, и импрессарио хорошо зарабатывал на нашем балете, да и все хорошо зарабатывали, кроме нас, танцоров. Например, двадцатилетний барабанщик в оркестре получал в два раза больше, чем опытный танцор, который работал с чрезвычайным фи-

зическим, да и не только физическим, напряжением. Один день работы танцора равняется по усилию неделе работы фабричного рабочего. Нам приходилось всячески ухищряться, чтобы отложить хоть пару долларов на неигранные дни, когда вообще не платили. Мне было особенно трудно, так как больше половины жалованья я отсылал семье.

Из Франции я получал самые тревожные и мучительные известия. У Мары открылась кровоточащая язва в желудке. Она лежала в больнице. Когда мы выступали в Филадельфии, я получил письмо, в котором сообщалось, что у Светланы обнаружили перитонит в последней степени. Ее срочно увезли из детского дома в город, где в последнюю минуту успели сделать операцию. Нас разделял Атлантический океан, я ничем не мог помочь самым дорогим для меня людям. В отчаянии я готов был броситься под поезд. Однако, спектакли и физическое напряжение в танцах как-то заглушали на время душевную боль.

В Чикаго мы сразу окунулись в праздничную атмосферу. На улицах и в магазинах — толпы шумных, веселых людей. Все несут пакеты с подарками, миниатюрные елочки. Мы выступали в театре ''Аудиториум'', в том же здании, где находилась наша гостиница. Первый спектакль состоялся 19 декабря. Публика на премьере в Чикаго ничем не уступала нью-йоркской. В зрительном зале видны только смокинги, фраки, вечерние туалеты дам и сверкающие драгоценности. После представления, здесь же, в гостинице, в огромном зале миллионер Флейшман устроил самый шикарный прием, какой только можно было себе представить. Вместе с нами за длинным столом сидело около тридцати миллионеров, известных каждому в Америке. Миллионеры танцевали и веселились и вообще вели себя, как молодые студенты. А нам было не до танцев. Мы всецело отдались еде и старались не пропустить ни одного изысканного блюда, которое нам подавали.

К вечеру 24 декабря опустели улицы, погасли искусно освещенные витрины магазинов. С озера Мичиган подул свирепый ветер и забелил улицы снегом. В окнах зажглись разноцветные огоньки рождественских елок. Чикагцы в семейном кругу справляли Рождество.

Выйдя из поезда в Лос-Анжелесе, мы не поверили своим глазам: январь, а тут светит теплое яркое солнце, цветут мимозы, растут пальмовые аллеи, кактусы, цветы, апельсиновые и лимонные деревья. Климат чем-то напоминает Монте-Карло. Жители кажутся куда веселей и приветливей, чем в Нью-Йорке или Чикаго. Где-то на окраине города находится знаменитый Голливуд со своими киностудиями и кинозвездами.

На первом спектакле в театре "Shrine Auditorium" мы глядели в дырочки в занавесе, ища среди публики известных кинозвезд. А звезды, в свою очередь, не стеснялись и приходили каждый вечер на наши спектакли. В особенности часто бывал Чарли Чаплин. Каждый раз после представления или в перерывах он заходил на сцену и держал себя как старый знакомый.

Затем — недельные выступления в Сан-Франциско. Оперный театр в Сан-Франциско тогда только что отстроили. В то время это был самый усовершенствованный театр в Америке. Публика относилась к нашим балетам с особенным вниманием и пониманием. Возможно, потому, что в Сан-Франциско уже существовал свой балет, созданный недавно тремя братьями — Вильямом, Гарольдом и Лео Кристенсенами. Мы репетировали наши балеты в кристенсеновских студиях, так как в театре не хватало места. Я заглядывал в зал, где параллельно с нашим шли репетиции местного балета. По сравнению с нашими шумными лихорадочными репетициями здесь репетировали в каком-то медленном, тихом экстазе. Сегодня эта труппа считается старейшей американской труппой и заслуживает всяческих похвал.

После Сан-Франциско мы объездили множество городов и 23-го марта дали второй спектакль в Нью-Йор-

ке, в том же "Метрополитене". Труппа была изнурена ежедневными переездами, мы танцевали, напрягая последние силы. Даже в прессе писали, что нам необходим отдых.

Наш пароход прибыл в Канны 1 апреля 1939 года. На берегу меня ждали Мара и Светлана. Мара после болезни осунулась, а Светлана здорово подросла. В Монте-Карло сезон начался сразу. Одновременно готовились новые балеты: "Красное и черное" на музыку "Первой симфонии" Шостаковича и "Вакханалия" на тему "Тангейзера". Сальвадор Дали рисовал эскизы к костюмам и декорациям и принимал горячее участие в постановке, вмешиваясь даже в хореографию Мясина и показывая, как нужно исполнять. Этот вагнеровский балет был весь составлен из символических кусочков, но мы репетировали с большой охотой: уж очень много Дали придумывал для наших аксессуаров и костюмов.

Неделя во Флоренции. Фашистский режим Муссолини, и порядка в стране больше, чем макарон. Улицы во Флоренции чистые и пустые. В театре много народу, но аплодисменты весьма сдержанные. Балет на "Седьмую симфонию" Бетховена публика освистала: не понравилось, что для балета взята симфония.

1 июня — семь спектаклей в Париже. Успех потрясающий. Каждый спектакль распродан. После представления огромная толпа балетоманов поджидает у выхода из театра и аплодирует исполнителям больших и малых ролей. В прессе пишут, что каждый кордебалетчик нашей труппы стоит солиста балета парижской оперы. Балеты давались в таком порядке:

1-го июня: II акт "Лебединого озера", "Седьмая симфония" Бетховена, "Веселый Париж" Оффенбаха.

2-го июня: "Карнавал" Шумана, "Святой Франсис" Хиндемита, "Голубой Дунай" Штрауса.

3-го июня: "Седьмая симфония" Бетховена, "Сильфиды" Шопена, "Треугольная шляпа" Фалья.

5-го июня: II акт "Лебединого озера", "Красное и

черное'' Шостаковича, ''Треугольная шляпа'' Фалья.

6-го июня: ''Эльфы'' Мендельсона, ''Святой Франсис'' Хиндемита, ''Петрушка'' Стравинского.

7-го июня: последний спектакль — ''Сильфиды'' Шопена, ''Красное и черное'' Шостаковича, ''Веселый Париж'' Оффенбаха.

Приблизительно в это время приехал к нам из Лондона скромный, молодой, только что начинающий хореографическую деятельность Фредерик Аштон. Он ставил у нас балет ''Дьявол забавляется'' на музыку Паганини. Несмотря на скромность, он ставил балет уверенно и быстро. Премьера должна была состояться в сентябре в Лондоне, на деле она состоялась в Нью-Йорке в ''Метрополитене'' 26 октября 1939 года под заглавием ''The Devil's Holiday'' без Аштона, который из-за войны остался в Англии.

Надвигалась война. 2 сентября 1939 года во Франции была объявлена всеобщая мобилизация. В Париже на улицах полно народу, кто-то куда-то уезжает, кто-то приезжает... Настроение у всех подавленное. Наша дирекция вместе с Мясиным немедленно погрузилась на первый пароход, уходящий в США. Выяснилось, что все наши танцоры с французскими паспортами подлежат мобилизации и их из страны не выпустят. Со своим литовским паспортом я выехать мог, но что делать с Марой и Светкой? Взять их с собой нет никакой возможности, дирекции нет, и не с кем разговаривать. Я обещаю Маре ''разорваться на части'', но сразу же после приезда в США выслать ей необходимые бумаги для приезда в Америку. Жаль до слез расставаться в такое время с женой и дочерью, жаль коллег, которые не могут уехать со мной. Их оказалось много: М. Панаев, С. Тумин, Н. Орлов, В. Костенко, Г. Скибен, Н. Иванжин, Климов, Гудович и другие. Они были уверены, что их возьмут на фронт. Однако, благодаря энергии и находчивости де Базиля и Сергея Лифаря, кумира парижской публики, директора и первой звезды французского национального

балета при парижской опере, власти разрешили всем этим танцовщикам покинуть Францию. Де Базиль вывез их в конце ноября через лондонский порт в Австралию. Ему вовсе не требовалось столько артистов, он решил просто помочь людям. Теперь мало кто из них вспоминает с благодарностью Базиля и Лифаря за их бескорыстные заботы и напряженные хлопоты.

Северными путями, подальше от немецких подводных лодок, лишь через двенадцать суток мы доплыли до Нью-Йорка.

АМЕРИКА

Автобус забрал нас с пристани и отвез прямо в театр. И мы немедленно принялись репетировать. После морской качки на пароходе ноги не чуяли под собою земли. Первым спектаклем был "The Devil's Holiday" Аштона, имевший большой успех, но из-за отсутствия хореографа, как это всегда бывает, постепенно сошедший с репертуара.

9 ноября мы дали премьеру "Вакханалии" на музыку Вагнера с декорациями и костюмами Сальвадора Дали. Большой магазин в Нью-Йорке, в самом престижном месте на 5-ой Авеню, заказал Дали эскизы для декорации витрин. Дали приехал в Нью-Йорк приблизительно за неделю до нашей премьеры и сразу же отправился на 5-ую Авеню, чтобы посмотреть витрины, сделанные по его эскизам. Тут он стал палкой разбивать стекла, крича, что магазин исковеркал его работу. Примчалась полиция, фотографы, вообще произошел грандиозный скандал на 5-ой Авеню. На следующий день газеты полны фотографиями разъяренного Дали, а через час билеты на все представления "Вакханалии" оказались уже распроданными. Публика познакомилась с Дали через газеты и теперь жаждала видеть его произведение на сцене и его самого лично.

Декорации и костюмы были и в самом деле пре-

красны. Мясин дал себе зарок больше с Дали балетов не ставить, так как зритель совершенно очаровывался декорациями, от которых нельзя было оторвать глаз. Изумительны были перспективы, тени фигур и сочетания красок. После этого я никогда не видел в декорациях Дали ничего лучшего.

Как я и обещал Маре, я стал сразу энергично хлопотать, чтобы как можно скорее вывезти их в Америку. Уговорив дирекцию дать мне большой аванс с постепенным вычетом из жалования, я заплатил итальянской пароходной фирме за переезд Мары и Светланы, а также взял адвоката, который помог получить им визы на въезд в США. Маре и Светлане удалось сесть на последний пароход, уходивший из Генуи. После этого Италия вступила в войну и всякое сообщение с США прекратилось.

26 марта я ждал Мару и Светлану на нью-йоркской пристани. С палубы они мне махали руками и что-то кричали. Обе сияли от счастья. Однако, все пассажиры сошли с парохода, а Мары со Светланой с ними не оказалось. Официальным властям понадобилась письменная гарантия и залог в 500 долларов. А пока их, как арестантов, отправили на знаменитый "Остров слез" и заперли там, как в тюрьме, пока я не внесу требуемую сумму. Получение гарантии от нашего импрессарио Юрока на 500 долларов заняло пять дней. С этим документом и моим горе-адвокатом я и отправился на злосчастный остров забирать родных на свободу. Когда, наконец, внесли в номер последние чемоданы, я едва не упал в обморок от нервного перенапряжения.

В течение зимы в Париже Светлана взяла несколько балетных уроков, и теперь, не откладывая, продемонстрировала мне свои достижения. Я был поражен ее пониманием и острым чувством танца.

Однажды перед спектаклем на сцене появился Рене Блюм, который каким-то чудом сумел достичь Нью-Йорка. Его сразу окружили, затормошили. Радостно

всех приветствуя, он обращался к бывшим своим танцовщикам со словами: "дети мои", как всегда делал раньше. Он объявил, что на днях опять возвращается в Париж. Все хором запротестовали, предупреждая его, что если он попадется гитлеровцам, то ему не спастись. На это Блюм с улыбкой отвечал:

— Но что они могут мне сделать? В чем обвинить?

Рене Блюм вернулся тогда во Францию и через два года умер в концентрационном лагере в Германии. Он был слишком добр и культурен, чтобы допустить мысль, что гитлеровцы его уничтожат лишь за то, что он еврей.

Теперь я стал брать Светлану с собой в театр. Она этим только и жила и, стараясь никому не помешать, стояла в кулисах и жадно смотрела на сцену. Дома она наряжалась в какие-то тряпки, имитируя всех наших балерин. Светлана очень нас рассмешила и удивила, протанцевав для самой себя партию "Уличной танцовщицы" Даниловой в "Голубом Дунае". Это подражание Шуре так здорово у нее получилось, что все поразились.

Война войной, однако наша труппа вновь отправлялась на тринадцать недель в Южную Америку. Все радовались очередной поездке, и я бы радовался, но меня беспокоила необходимость оставить Мару и Светлану одних в Нью-Йорке. Маре опять стало сильно нездоровиться. Особенно опасной была плохо залеченная язва желудка. С нашими средствами многого не предпримешь.

Не успели мы подняться на пароход, как все пошло по старому рецепту. И откуда у танцоров бралась энергия? Труппу везли вторым классом, за исключением Мясина и прим-балерин Даниловой, Марковой и других. Меня поместили в одной каюте с Мишей Качаровым, танцовщиком армянского происхождения, низкорослым и волосатым. Его борода начинала расти сразу от глаз. Бедному Мише приходилось вставать на час раньше остальных, чтобы к завтраку закончить бритье. Он вылезал из постели заросший, как дикий кабан, точил бритвы и

с чувством проклинал тех, кто его таким родил. Таким образом он портил мне последний час сладкого предутреннего сна. Миша числился у нас "вечным студентом", и поэтому я прощал ему вспыльчивый характер и острый язык.

Остановка на острове Тринидад. Почти все пассажиры сошли на берег полюбоваться островом, но из-за отсутствия денег я остался на пароходе. Пароход стоял довольно далеко от берега, но несмотря на расстояние, подплыло множество черномазых мальчишек за монетами, которые бросали им с палубы и которые они ловко подбирали где-то на самом дне. Между ними шныряли акулы, но, говорят, акулы не видят черных фигурок, а всегда бросаются на что-то светлое, белое.

Дальнейшая поездка превратилась для нашей молодежи в сплошной праздник. Девушки не раз вырывали у меня книгу из рук, стараясь увлечь в свои "игры", но я эти игры уже раз попробовал — в Южной Африке и теперь веселиться и быть таким, как они, считал кощунством: у меня больная жена и дочь и никакого просвета на будущее. Как мне жаль было Мару, когда я глядел на веселый букет наших девушек! Ведь в ее жизни оказалось так мало беспечных, радостных дней! Что она получила, став моей женой? Отдала всю себя и безропотно приняла все, что несла судьба. Так несуразно сложилась наша жизнь. Почему? Во всем я считал виноватым себя. Я разъезжаю по всему свету, нередко в отличных условиях, а она, моя жена, мать моего ребенка, ютится в дешевых комнатках, считая каждую копейку. Подобные мысли одолевали меня уже несколько лет. Как вырваться из заколдованного круга?!..

Наши тем временем веселились. Особенно громко распевала цыганские романсы только что разведенная с Мясиным Женя Деларова. Она их пела в надежде досадить бывшему мужу, который ехал первым классом с новой женой Таней Орловой и ее матерью. Конечно, до Мясина долетали звуки разгульного пения бывшей су-

пруги, но он редко появлялся на палубе, а если и появлялся, то почему-то в черной шляпе и осеннем пальто внакидку. И это под тропическим солнцем! Поездка, скорее всего, не доставляла ему большого удовольствия. Когда он выходил с Таней и усаживался в откидные кресла с книгой в руках, то одновременно его новая теща, страдавшая манией преследования мужчинами, пряталась за огромной пароходной трубой с таким видом, что ее вот-вот настигнут и изнасилуют.

В день прибытия в Рио-де-Жанейро пришла весть, что гитлеровские полчища ворвались во Францию и без боя взяли Париж. Настроение резко упало.

29 мая утром перед нами открылась чудесная панорама Рио-де-Жанейро с его "сахарной горой". Вдали над городом стояла острая гора с колоссальной белой статуей Христа, видной уже с парохода. Театр — довольно старенький, с маленькой и очень покатой сценой. Спектакль начинался в 11 часов ночи. Потом выяснилось, что в Рио вся жизнь происходила в это время года ночью. После спектакля с чрезмерно разнаряженной публикой мы отправились в знаменитое ночное заведение "Копакабана", огромный небоскреб с отелем и казино, где сотни людей играли в рулетку и баккара. В гигантском танцевальном зале играла знаменитая тогда кубинская джазовая капелла, выступала также пара совсем юных, исключительно одаренных испанских цыган — Розария и Антонио. Мясин ахнул, когда их увидел. Два года назад в Барселоне он случайно увидел, как они танцевали на улице. Сейчас хитрый импрессарио Сол Юрок быстренько прибрал молоденьких цыган к рукам, подписав с ними контракт на продолжительные выступления в Америке. Через несколько лет они стали знамениты на весь мир.

В то время в Рио-де-Жанейро существовало много игорных домов. Вся наша труппа, как и местные жители, проводили целые ночи в этих заведениях, ложась спать в 7-8 часов утра. В ушах непрерывно звучали самбы и кариоки, в глазах плыли качающиеся в танцеваль-

ных ритмах мужчины в белых смокингах и женщины с неимоверными декольте. Откуда бралось тогда столько богатой и праздной публики в Рио? Не знаю, но говорят, что сейчас там все переменилось.

Для предстоящего сезона в нью-йоркском "Метрополитене" Мясин готовил новый балет "Вена 1814" на музыку Вебера. Репетиции начинались в 11 утра. Наша молодежь сразу после казино шла в репетиционный зал и там укладывалась спать. Их требовалось долго будить, чтобы поднять на ноги для репетиции. Некоторые девушки являлись в вечерних платьях с размазанными от грима лицами, дисциплина совершенно развалилась, и у бедного Мясина порою окончательно опускались руки. Лишь к концу сезона репетиции кое-как нормализовались.

2 июля мы приехали в аргентинскую столицу. Мне было особенно интересно побывать в Буэнос-Айресе, где уже больше десяти лет жил мой младший брат Платон. Было радостно видеть его здоровым, возмужалым. Он работал в страховом обществе и прилично зарабатывал. Я остановился у него и прожил там все три недели пребывания в Буэнос-Айресе.

Впервые после несчастного случая с коленями я опять танцевал, и вновь это были "Игрушки". К счастью, колени вынесли все, что от них требовалось, а это означало, что я смогу перейти в категорию солиста. Хотя я и не был настоящим кордебалетчиком, Мясин в своих хореографиях везде, где мог, давал мне мимические и характерные кусочки, которые делали меня артистом особого амплуа в балете. Теперь я стал особенно усердно заниматься, работая над техникой, постоянно проверяя, насколько мои колени поправились. После такого тренинга я чувствовал себя морально гораздо лучше.

Застал я моих дам в Нью-Йорке в довольно неважном состоянии. Мара, несмотря на постоянный недуг, работала у той же Каринской, перекочевавшей из Европы в Америку. Она выглядела усталой, похудевшей и

жаловалась, что Светланка ее не слушается. А Светлана тем временем побывала месяц в начальной школе и здорово щебетала по-английски с американским акцентом. Меня это обрадовало. Ей было восемь лет, и она уже говорила по-русски, по-французски и по-английски. Мара нашла большую комнату с кухней и ванной за городом на Лонг Айленде у русских, которые присматривали за Светланой, когда Мара уезжала на работу.

Нью-йоркский сезон продолжался три недели. Как новинки мы давали два новых балета Мясина: "The New Yorker" и "Вена 1814". Премьера первого балета в трех картинах на музыку Джорджа Гершвина состоялась 18 октября. Я исполнял в нем три разные роли. Публике особенно нравилось мое исполнение роли Шофера и Пузатого миллионера, танцующего в клубе навеселе со своей супругой. Премьера "Вены 1814" состоялась 28 октября. Тут я тоже исполнял три роли, из которых "Тирольский танец" в дивертисменте оказался одним из лучших.

Приблизительно в это время я получил известие о том, что в Литве, которая тогда уже стала частью Советского Союза, скончался мой отец. К этому времени Светлана стала брать уроки у Анатолия Вилзака и Людмилы Шоллар, имевших балетную школу в Нью-Йорке. Оба были в восторге от успехов необычайно одаренной девочки.

После нью-йоркского сезона мы сразу же двинулись в обычное турне по США. Сначала выступали в Бостоне, где знаменитый дирижер Кусевицкий дирижировал для нас "Седьмую симфонию" Бетховена. В Чикаго ко мне приехали Мара со Светланой. Как и в Нью-Йорке, дочь простояла за кулисами во время всех спектаклей и все сумела заметить и оценить. Своими выводами она показывала, насколько глубоко любит балет и что только им и живет. В Чикаго мы воспользовались случаем, чтобы по дешевым ценам сделать фотографии у знаменитого Симора.

Из-за войны стало труднее возить по США огром-

ную труппу. Дирекция обрезала бюджет, где только могла. Первым, кто от этого пострадал, оказался Леонид Федорович Мясин, с которым дирекция отказалась продолжить контракт. Появилось ощущение, что у труппы отрезают голову: ведь Мясин являлся одновременно художественным руководителем, хореографом и танцором. Предчувствие нас не обмануло — с этого сезона труппа начала мельчать, отыгрывалась перед публикой популярными балетами Мясина. Положение "Русского балета Монте-Карло" можно было тогда сопоставить с положением труппы Дягилева, когда он выжил оттуда Фокина.

Светлана немножко вытянулась и приобрела походку ученицы балетной школы. Ее преподаватели Вилзак и Шоллар прислали мне записку, чтобы я был поосторожнее с необыкновенным танцевальным талантом Светланы и не отдал ее в руки плохим профессорам. Я попросил коллегу, американца Томаса Армора, чтобы он показал дочери несколько балетных упражнений. Армор отличался особой педантичностью в отношении классического танца. Вечером перед спектаклем он взял Светлану в балетный зал и стал ей показывать упражнения. Не прошло и десяти минут, как танцовщик выскочил из студии и стал созывать танцоров посмотреть, как красиво Светлана танцует. Меня начали поздравлять с будущей прекрасной балериной, чем тронули до слез.

Однако здоровье жены внушало мне все большие и большие опасения. Она постоянно принимала какие-то таблетки от болей в желудке. Ходила похудевшая, бледная и подавленная.

На два летних месяца я устроил Мару и Светлану на толстовскую "Red Farm", созданную дочерью Льва Толстого Татьяной Львовной. Маре во что бы то ни стало нужен был хороший отдых и курс лечения. Мне было это обещано.

На ферме устроили детское представление, на котором Светлана танцевала номер из "Коппелии" и про-

извела на всех такое большое впечатление, что там только о ней и разговаривали. Представление повторили, и я специально приехал из Нью-Йорка посмотреть. И в самом деле Светлана танцевала превосходно. Ко мне подошла Татьяна Львовна и сказала с волнением, как она счастлива, что может убедиться, что у русского народа таланты неиссякаемы. И тут же попросила меня зайти к ней в контору поговорить.

На следующий день она мне сообщила, что Мара очень больна: по всей вероятности, у нее рак желудка, и я должен быть подготовлен ко всему.

Я без сил опустился на стул, потом, ничего не соображая, поплелся к дому, в котором жила Мара. Я встретил ее в садике и впервые обратил внимание на лихорадочный блеск глаз и неестественный румянец. Она вопросительно на меня посмотрела:

— Что сказала Татьяна Львовна?

Я сжал ее руку и стал убеждать, что Татьяна Львовна говорила со мной о Светлане, о ее таланте, что она предлагала помочь нам дать Светлане образование... Мара печально смотрела вдаль большими, полными слез глазами.

Мне захотелось побыть одному, подумать... Я сказал жене, что мне лучше было бы вернуться в Нью-Йорк, чтобы докончить начатый в квартире ремонт. Она посмотрела мне в глаза:

— Лучше бы тебе остаться с нами...

Однако через минуту произнесла:

— Поезжай.

Через несколько дней она приехала, но бродила по комнатам безразличная, равнодушная, почти не реагируя на мои предложения о будущем устройстве нашей жизни.

22 августа нас поразила печальная новость — от гриппозного воспаления легких умер Михаил Михайлович Фокин. На его отпевании собрался почти весь балетный Нью-Йорк.

Вскоре я получил от Татьяны Львовны телеграмму о том, что Мару перевезли в нью-йоркский госпиталь. Я кинулся туда. Мара лежала на носилках в коридоре. Ее не хотели вносить в палату и оказывать какую бы то ни было помощь, пока я не дам гарантии, что уход за ней будет оплачен. Было 11 часов ночи. Я позвонил бывшему русскому летчику, большому любителю балета Сергеевскому, женатому на американской миллионерше. В такой поздний час, лично его не зная, я стал упрашивать Сергеевского помочь мне. Он обещал что-нибудь предпринять.

Я сидел около Мары в коридоре. Она жаловалась на головокружение и сильную боль. Ее живот распух. Мне хотелось кричать, звать на помощь, однако веселые "сестры милосердия" сновали мимо, не обращая на нас ни малейшего внимания. Я проклял тогдашнюю жестокость американской системы по отношению к бедным больным.

Рано утром сергеевский шофер привез нужную гарантию и Мару наконец внесли в общую палату и уложили на койку. Ей требовалось срочное переливание крови. Моя кровь не подходила. Наша труппа уже репетировала, и я на репетиции попросил коллег помочь мне. Четыре девушки сразу же бросили репетиции и поехали со мной в госпиталь. Подходящая группа крови оказалась у Наташи Келеповской.

Во время переливания крови Наташа лежала рядом с Марой и та, тронутая до слез желанием девушек ей помочь, обещала Наташе, что когда выздоровеет, то сошьет ей самую красивую пачку. Человеческий порыв помочь ближнему, особенно после ледяного отношения американской медицинской службы к неимущим больным, меня тоже так взволновал, что я всю свою последующую жизнь помогал Наташе, когда она в этом нуждалась, и готов помогать до сегодняшнего дня.

Мара говорила со мной о Светлане, хотела ее повидать:

— Мне так хочется погладить ее по головке!

Но по госпитальным законам детей в больницу не допускали.

11 сентября 1942 года Мара скончалась. Схоронили мы нашу маму на русском кладбище в Нью-Джерси. Во всех расходах на госпиталь и на похороны мне помогла дирекция и великодушно погасила взятый раньше аванс.

На первое время Светлану взяла русская семья Ступеньковых в Нью-Йорке. Я поехал с труппой в Канаду, а вернувшись в Нью-Йорк, мы открыли десятидневный сезон в "Метрополитене" с 12 по 21 октября. Здесь мы дали выдающуюся премьеру балета "Родео". Хореография принадлежала молодой американке Агнес де Милль, музыку написал Аарон Копленд. Это были мои последние десять дней в "Русском балете Монте-Карло", где я проработал без малого шесть лет, где многому научился как танцовщик и много пережил как человек.

Мы подали прошение об американском подданстве и получили так называемые "первые бумаги", что позволяло мне работать в Америке, где я хотел. На первых порах я поступил в оперный кордебалет в "Метрополитене", однако жалование оказалось таким маленьким, что нам со Светланой пришлось бы опять нищенствовать.

Нашелся агент, который предложил мне найти партнершу, приготовить несколько номеров, и тогда он устроит нас в организацию для развлечения армии, так что мы будем разъезжать с танцами по всей Америке, везде, где расположены американские войска. Я согласился. Партнерша сразу нашлась — бойкая, не без таланта, американка из кордебалета оперы "Метрополитен", соблазненная деньгами, которые щедро платила армия. Предварительно станцевав перед военной комиссией приготовленные три танца, мы вошли в маленький ансамбль, состоящий из певицы, певца, первоклассной солистки на скрипке и хорошего пианиста.

РАБОТА НА ДЯДЮ СЭМА

Наши выступления начались в Чарлстоне в штате Южная Каролина. Население города было почти сплошь негритянским. Запомнился громкий говор, смешанный с беззаботным хохотом, танцующая походка прохожих, неопрятные домики с палисадниками и разодетая во все новое, пестрое, молодежь. Старики же ходили в таких живописных лохмотьях, словно сам Пикассо постарался их нарядить. Создавалось впечатление какого-то вечного праздника.

Однако сейчас, из-за войны, во всех южных штатах США спешно строились военные тренировочные лагеря. Мы давали спектакли перед шумной публикой, состоящей из будущих пилотов, штурманов и парашютистов. Особенным успехом пользовался, конечно, женский пол. Что бы ни пела наша певица-немка с невероятным немецким акцентом, ее не отпускали со сцены. Скрипачка тоже имела успех, но ее упрямство, желание во что бы то ни стало играть изысканную классику принималось с холодком. Певец старался петь все популярное, и едва брал первую ноту, как вся аудитория принималась петь вместе с ним. Дело обстояло совершенно иначе с нашим танцевальным номером. Публике хотелось как можно ближе рассмотреть мою партнершу во всей ее телесной прелести, а я рядом с ней являлся немалой помехой. Мне приходилось усиленно делать пируэты, что особенно нравилось будущим пилотам. Среди солдат и офицеров ощущалось приподнятое настроение, словно они находились не в армии во время войны, а на веселом съезде спортсменов. О войне в Европе почти не упоминалось, а говорили больше о японцах, словно злой комар укусил больно за нос и этого комара нужно немедленно раздавить.

Постепенно мы продвигались все южнее и южнее. Веселая и здоровая публика, которую мы развлекали,

обеспеченная если не комфортом, то по крайней мере хорошей едой и чистой постелью в разукрашенных бараках, верила в свою силу, в силу своей страны и в скорую победу над врагом.

Чуть ли не каждый день я писал Светлане, которая жила в семействе Ступеньковых в Нью-Йорке, и часто получал от нее письма, но мне казалось, что она их писала под диктовку мадам Ступеньковой, так как они мало чем отличались одно от другого. А я постоянно вспоминал о своей бывшей труппе, с которой столько пришлось пережить! Мне становились невмоготу выступления перед совершенно безграмотной в искусстве балета аудиторией. Страстно хотелось выступить в настоящем балете перед настоящей публикой. Я завидовал коллегам, которые продолжали работать в нормальной театральной обстановке. Однако ничего не поделаешь! Из-за дочери, из-за долга в госпитале, из-за необходимости прочной финансовой опоры я должен был продолжать армейские выступления.

Моя бывшая балетная труппа, как и всегда к Рождеству, выступала в Чикаго. Там шел снег, мороз 20-25 градусов, а здесь я валялся на пляже под ласковым южным солнышком. Вскоре пришло первое письмо от Лилин. Она все еще продолжала работать в труппе, и для нее наш флирт, начавшийся пять лет назад в Южной Африке, не ушел в небытие. Когда я овдовел, Лилин принялась энергично напоминать, что она все это время горячо меня любила и любит и что для нее и для Светланы лучше всего, если бы я вторично женился. Я постоянно думал о своей дорогой, несчастной, скончавшейся в таких мучениях Маре. К тому же не совсем представлял, насколько моя поспешная новая женитьба понравится Светлане. В любом случае я решил не торопиться. Однако все получилось совсем иначе. Друзья сообщили Лилин, что Ступеньковы, якобы, плохо относятся к Светлане, завидуют ее таланту, тем более, что их дочери тоже

занимаются балетом. Сироту никто не похвалит, не пожалеет!.. Светлана очень это переживает!

Под этим предлогом Лилин едет в Нью-Йорк, чтобы забрать Светлану от Ступеньковых, снять квартиру и ждать моего возвращения. Я не стал протестовать и вновь очутился в сложных денежных обстоятельствах, так как должен был посылать деньги в Нью-Йорк на содержание квартиры.

Новый 1943 год я встретил с моей маленькой компанией в Атланте, штат Джорджия. Оставались мы в этом городе целую неделю в роскошной гостинице, забитой офицерами, их женами и невестами. К нашим певцу и пианисту тоже приехали жены из Нью-Йорка. После новогоднего обеда я сразу отправился к себе в номер. Моему примеру последовали певица и скрипачка. А надо сказать, что у певицы с певцом и у скрипачки с пианистом образовались уже очень хорошо налаженные отношения. Появление жен — разодетых, декольтированных, надушенных, — не пришлось по сердцу ни певице, ни скрипачке. Всю ночь я слышал, с каким надрывом и тоской непрерывно играла скрипачка. Не успел я лечь, как в мою комнату ворвалась в одной ночной рубашке певица и со слезами стала упрашивать, чтобы я пошел в бальный зал посмотреть, что делают певец с женой. Я, конечно, отказался.

16 января мы выступали в Панама-Сити в штате Флорида, на берегу Мексиканского залива. Все жители и все армейские части были горды, что знаменитый киноактер Кларк Гэбл в чине полковника авиации был прикомандирован туда. Он больше прогуливался по набережной, чем летал на самолете, а многочисленные толпы поклонниц, слетевшиеся со всей Америки, на почтительном расстоянии следовали за ним.

Мы выступали на границе Мексики, в пустынях Нью-Мексико и Аризона, затем очутились в Калифорнии и, наконец, 3 июня 1944 года прибыли в Нью-Йорк. В

моем бумажнике лежало 900 долларов — на 600 долларов меньше, чем я предполагал.

Я полгода не видел Светлану. За это время она сильно подросла. Отношения с Лилин у нее были неплохими, однако я заметил, что дочка постоянно о чем-то задумывается и чего-то недоговаривает. Одиннадцатилетняя девочка была совсем не подготовлена видеть меня с чужой женщиной, которая вдруг заменила ей маму. Поэтому наши отношения с Лилин были не совсем откровенными и радостными.

Осенью мы переехали в семикомнатную квартиру на 54-ой улице, где сейчас стоит отель Хилтон. К нам постоянно кто-нибудь из балетной братии приезжал и жил неделями. Лилин любила веселое общество. Светлана запиралась в своей комнате и тщательно готовила уроки. У нее не хватало времени. Я устроил дочку во французский лицей, откуда она приходила домой в четыре часа и сразу же отправлялась в балетную школу Вилзака-Шоллар. Девочка прекрасно училась и, гордая, приносила по субботам показывать мне свои отметки. Я рыскал по всему городу в поисках работы — не только танцовщика, но вообще любой работы, и почти ничего не зарабатывал. Лилин нервничала, тряслась над каждой копейкой и с ужасом думала о том, что на следующий день нечего будет есть. Ей не приходилось, как русским эмигрантам, терпеть нужду и голод, и теперь, в тяжелую минуту, она впала в настоящую панику. Что ж, надо было думать, прежде чем выбирать в мужья совершенно необеспеченного человека.

Таких, как я, бывших танцовщиков, оказалась в Нью-Йорке добрая дюжина. От безделья мы целыми ночами играли в карты, стараясь на последнюю копейку обыграть друг друга. Катилось серое, безрадостное время, о котором не хочется вспоминать.

Как-то раз Мясин позвал меня к себе в дом, который он только что купил на Лонг-Айленде, и рассказал о своем проекте создать новую балетную труппу, которая

начнет свою деятельность в городе Мексико, так как Мексика оставалась нейтральной во время войны, а организовать новую балетную труппу в США было бы сейчас неуместно из-за военного положения. Леонид Федорович попросил меня помочь ему в этой работе, обещав, что когда новая труппа начнет официально существовать, для меня в ней будет обеспечена должность балетмейстера. Предложение меня чрезвычайно обрадовало, и я стал работать с большим рвением.

Рано утром я ехал к Мясину на Лонг-Айленд получать поручения и возвращался обратно на Манхаттан, чтобы приводить их в исполнение. Особенно много времени занимали переговоры от имени Мясина и новой труппы с танцорами. Приходилось, не жалея красок, расписывать будущую труппу перед исполнителями. Очень кропотливым оказалось распределение ролей для солистов, которые только предполагались; контрактов с ними пока никто не подписывал.

Финансировать труппу взялся Джордж, маркиз де Куэвас, муж внучки американского магната Рокфеллера. Я бывал у этого милого, беспечного балетомана родом из Чили. Для большинства балетов предполагалась хореография Мясина, а в то время между ним и "Балетом Монте-Карло" шел суд, чтобы получить все мясинские балеты целиком с костюмами и декорациями. Поэтому я носился от одного адвоката к другому, и конца этой волоките не предвиделось. Маркиз настаивал, чтобы декорации и костюмы к ним рисовал Сальвадор Дали. Мясину это не нравилось. Каждый раз, когда я бывал у де Куэваса, я заставал там Дали, который рисовал портрет маркиза во весь рост. Меня Дали встречал всегда громким приветствием на русском языке, которому его выучил Андрюша Еглевский. Приветствие состояло из слов, которые я никак не могу повторить, но скорее всего Дали и сам не понимал их содержания. Приходилось подробно рассказывать маркизу и Дали, в каком состоянии находится организуемая труппа. Я не мог лишь со-

образить, почему Леонид Федорович предпочитает отсиживаться у себя на Лонг-Айленде и все старается делать через меня.

Когда дело дошло до подписания контрактов с танцовщиками, маркиз попросил, чтобы я привез ему абсолютно все бумаги и планы. Он съездил в Мексико на восемь дней и, вернувшись, очень быстро, в несколько дней, подписал контракты с артистами, снял театр в Нью-Йорке на Колумбус Сэркэс, назвал новую компанию "Интернейшнл балет компани", тут же изолировал Мясина и меня, словно мы и не существовали. Дали стал художественным директором, а на мое место балетмейстером взяли И. Язвинского, бывшего режиссера в "Русском балете Монте-Карло". Сезон этой труппы начался в ноябре. Все было организовано так плохо, что по Нью-Йорку ходили бесконечные анекдоты о самом маркизе, о Дали и обо всех хореографах и танцорах.

Мясин был до крайности возмущен и подозревал, что не обошлось без моего участия. Но когда я ему рассказал, что маркиз таким же образом поступил и со мной, он сменил гнев на милость. Мы остались, как и раньше, если не друзьями, то по крайней мере людьми, уважающими друг друга. Однако я проработал для этой труппы бесплатно почти три месяца, тратя свои деньги на поездки и другие расходы, и никто мне за это не заплатил ни копейки! До самого Нового года я сидел без работы, иногда лишь подрабатывая отдельными выступлениями.

В начале 1945 года, когда у де Куэваса прекратились спектакли и его труппа оказалась совершенно деморализованной, маркиз позвонил мне, стараясь загладить прошлое, и попросил стать его балетмейстером. У них творилась полная анархия и, по его мнению, во всем виноват был Язвинский. Как не хотелось мне поступать к нему на эту ответственную должность! Нужда заставила... Я позвонил Леониду Федоровичу и коротко сказал, что принял предложение маркиза из-за безвыходного

финансового положения. Он пробурчал что-то нечленораздельное, и на этом разговор прекратился.

С первого же дня репетиций в начале января я должен был помогать госпоже Фокиной возобновить фокинский балет "Паганини" на музыку Рахманинова. Наши репетиции совершенно не продвигались вперед. После смерти мужа Вера Николаевна резко состарилась, не всегда понимала, что от нее хотят и то и дело говорила:

— Подождите, я пойду спрошу Михаила Михайловича, как это было (она каждый день подолгу беседовала с ним на его могиле).

Так мы проработали шесть недель, не сделав даже первой сцены. Как-то Вера Николаевна не появлялась несколько дней, и я с размаху поставил все при помощи танцоров, которые танцевали этот балет раньше. Мы прорепетировали уже восемь недель, как вдруг появились четыре адвоката от Рокфеллера с толстой чековой книжкой и, заплатив всем артистам за три месяца вперед, ликвидировали в несколько часов всю труппу: маркиза при этом не было — он сослался на простуду. Рассмотрев мое "дело", адвокаты великодушно решили заплатить мне и за те три месяца, которые я проработал при организации труппы. Единственное хорошее, что осталось от этой труппы — балеты "Констанция", поставленный Вилламом Долларом на музыку Шопена ("Концерт № 2") и "Святой Себастиан", поставленный Кейтоном на специально для этого балета написанную музыку тогда еще совершенно юного Джан-Карло Менотти. Эти балеты существуют до сегодняшнего дня.

Начался 1946 год. Нью-Йорк, да и вообще США, жили необыкновенно взвинченно. Казалось, что раньше Америке не хватало именно войны, чтобы все рестораны, магазины переполнились оживленной, как никогда жизнерадостной, много зарабатывающей и много тратящей толпой. Молодые девушки поскорее подыскивали себе женихов среди военнослужащих, которые в отпус-

ку сотнями бродили по улицам Нью-Йорка. А нам, танцорам, наоборот во время войны было куда труднее сочетать профессию с общим подъемом. У меня в кармане почти никогда не водилось ни гроша. Каждый маленький заработок шел на уплату квартиры, на французский лицей, где училась Светлана. Из-за хронического недостатка денег жизнерадостная Лилин приходила в отчаяние, и это портило наши супружеские отношения. Бывали дни, когда я жалел, что выбрал такую профессию, которая совершенно не подходила к семейной жизни. Я готов был взяться за любую работу, лишь бы приносить домой достаточно денег. Однако я чувствовал, что без театра могу пасть на самую низкую человеческую ступень.

Всю жизнь меня влекло прекрасное. Будучи танцовщиком, я становился соучастником творения прекрасного для себя и других. Благодаря ни с чем не сравнимому напряжению всех физических и психических сил, танцовщик может вкладывать в движения всю теплоту души, сливаясь с музыкой. За красоту движений, которая дается лишь за счет танцевальной тренировки, мы платим настоящим аскетизмом, лишением всех повседневных благ, доступных обыкновенному человеку.

Тяжелые дни моей безработицы щедро вознаграждались теми минутами, когда я смотрел Светланины занятия в балетной студии Вилзаков. Природа дала ей все, чтобы стать в будущем большой балериной. Все, что она делала во время упражнений, было так эстетично и воодушевленно, что никто из смотревших не мог оторвать от нее глаз.

Ради заработка я сделал с одной хорошей танцовщицей танцевальный номер из четырех танцев, и мы начали танцевать по варьете и ночным клубам, везде, где можно было получить несколько долларов. 1946 год примечателен еще тем, что мой коллега Джимми Старберг, ставший хореографом, пригласил четырнадцатилетнюю Светлану в свой маленький ансамбль танцевать в июле в ог-

ромном летнем лагере недалеко от Нью-Йорка. Программа менялась каждую неделю. Светлана получала оклад, как и другие профессиональные танцоры. Джимми ставил все и во всех стилях, начиная с классики, переходя на джаз и кончая чечеткой. Светлана справлялась со всеми танцами безукоризненно. Это было ее первое "крещение" перед публикой. Джимми стал большим поклонником ее таланта.

Начался 1947 год. Светлана и ее партнер по балетной школе Николай Положенко были в марте приглашены в Оттаву, чтобы исполнять главные роли в трех спектаклях "Сильфид" и "Щелкунчика", организованных Виллиамсом и Славой Туминым. Светлана и Николай оказались замечательной парой по росту, технике и индивидуальному стилю. Канадское выступление принесло им огромный успех у публики и прессы. Коллеги и знакомые начали мне всерьез советовать, чтобы я бросил все личные дела и занялся устройством Светланы в хорошую балетную труппу.

Маркиз де Куэвас, так внезапно закрыв "Интернейшнл Балет", не покидал надежды вновь заняться балетом. Он отправился в Монте-Карло, где во время войны, в 1942 году был создан балетный ансамбль — "Novo Ballet de Monte Carlo". Главным балетмейстером тогда был Николай Зверев, который поставил много фокинских балетов и сам хореографировал свою самую великолепную постановку — "Стенька Разин". Теперь же, изза финансовых проблем, труппа закрывалась. Тут-то появился маркиз де Куэвас и купил все, что ей принадлежало, включая даты планированных выступлений в Монте-Карло и Виши. Затем маркиз разослал телеграммы всем артистам балета, которых знал и считал подходящими для его предприятия: среди них Андрею Еглевскому, Георгию Скибину, Марджори Толчевой, Розелле Хайтаувер, Виллиаму Доллару, хореографам Сергею Лифарю, Георгию Баланчину, Брониславе Нижинской. Меня

маркиз пригласил как балетмейстера, а Светлану как солистку.

В это же время полковник де Базиль решил возобновить свою труппу "Оригинальный русский балет" и по этому поводу послал к нам на переговоры Любовь Чернышеву и Сергея Григорьева, предлагая сделать из Светланы новую "бебе-балерину", как когда-то сделал карьеру Тамары Тумановой, Ирины Бароновой, Татьяны Рябушинской. Но мне казалось преждевременным устраивать Светлане столь молниеносную карьеру у де Базиля. Хотелось найти такой выход, чтобы она танцевала в профессиональной труппе и одновременно продолжала образование, начатое во французском лицее. Решено было отказать де Базилю и ехать к маркизу.

СНОВА В ЕВРОПЕ

7 июня 1947 года самолет доставил нас в Париж. В этот же самый день выезжали на пароходе в Лондон все, кто работал раньше у де Базиля, а также много молодых американцев, которые еще ни разу не танцевали в профессиональных труппах. Все они ехали с Базилем на лондонский сезон в "Ковент Гарден".

Несмотря на то, что лондонская публика за время войны изголодалась по балету и жаждала опять увидеть "Оригинальный русский балет" в его давнем блеске и мастерстве, она горько разочаровалась, увидев неопытных американцев, заменивших старую гвардию русских танцоров-эмигрантов, которых полковник растерял одного за другим по всему свету — в Австралии, Южной Америке, Северной Америке... Кучка тех, которые у него остались — Рябушинская, Лишин, Чернышева, Владимир Докудовский, Джон Тарас — не могли одни добиться былого качества представлений.

Однако и Лондон не был беден в балете. Тут уже существовал собственный английский балет под руко-

водством бывшей дягилевской балерины Нинет де Валуа. Эта гениальная женщина еще в 1931 году создала маленькую труппу, которая сначала называлась Vic Wells Ballet. Она беспрестанно развивалась и уже 2 февраля 1939 года, под новым именем Sadler's Wells Ballet дала премьеру ''Спящей красавицы'' в постановке Николая Сергеева, бывшего балетного режиссера Мариинского театра, который перенял весь классический репертуар от самого Петипа. В главных ролях выступили юные Марго Фонтейн и Роберт Хельпманн. В балетных кругах не оставалось больше сомнений, что в Англии, наконец, создан балет, не уступающий самым большим и известным труппам того времени. Я видел постановку ''Спящей красавицы'' на сцене ''Ковент Гардена'' в 1947 году с Фонтейн и Хельпманном. Для меня этот спектакль стал лучшим из всех спектаклей классического балета, какие я видел до сих пор. Хельпманн очаровал своим стилем ''нобель'', в котором он тогда не имел себе равных, Фонтейн кристальной чистотой движений, настолько слитых с музыкой, что она сама казалась музыкой. Весь спектакль, начиная с танцоров и кончая костюмами и декорациями, остался в моей памяти как настоящий шедевр.

В Париже мы встретились со знакомыми, пережившими здесь войну. Исхудалые, они угрюмо смотрели на нас, как на богатых американцев. Мы сразу кинулись в ''Sall Waker'', где Ольга Преображенская и другие русские знаменитости по-старому давали уроки, и, как всегда, у Преображенской вновь нашлись талантливые ученики: Серж Головин, Владимир Скуратов, Юлий Алгаров, Александр Калужный, Борис Троплинин, Ольга Одобаш, Нина Вырубова и другие. Их всех маркиз тоже пригласил в свою труппу.

13 июня мы все вместе, человек тридцать, отправились поездом в Монте-Карло, а уже 18-го должны были начаться репетиции. Нас никто не встретил. Стали разыскивать подобие администрации и обнаружили, что ''Novo

Ballet", растерявший более половины бывших танцоров, все же существует — у них ежедневно ведутся уроки и репетиции и в настоящее время готовится балет Лифаря "Белое и черное", в котором сам Лифарь работает с балериной Ивет Шовире, главной солисткой Парижской оперы. К нам отнеслись так, словно мы не имеем к новой труппе никакого отношения. Сам маркиз был "очень занят" — то шел на банкет к бывшему королю Югославии Петру, то к бывшему королю Англии принцу Эдуарду. Представители маркиза — их оказалось трое — так и льнули к хозяину, зная, как щедро он раздает чеки направо и налево. Многие из нас приехали по устному приглашению маркиза, а некоторые просто по чьей-то рекомендации, и всем до зарезу нужны были деньги на жизнь. Тем временем три представителя ссорились между собой, определяя собственные функции, и помочь нам ничем не могли. У меня, к счастью, имелась телеграмма от маркиза. Это помогло получить маленький аванс, чтобы прожить первое время в надежде, что все организуется, станет на свое место и мы начнем нормально работать. С горем пополам мы, в конце концов, дали спектакль во внутреннем саду во дворце монакского принца. Пробыв в Монте-Карло три недели, мы выехали в Виши, где должны были пробыть десять недель, давая по три спектакля в неделю в театре "Казино".

В Виши вокруг маркиза разбушевались страсти. Каждый хотел урвать как можно больше. Маркиз, по обыкновению, весь день лежал или сидел в пижаме на постели, где расселись восемь пекинских собачек. В головах стояли три представителя, обливавшие грязью друг друга, но готовые ринуться исполнять малейший каприз маркиза. В ногах кровати сгрудились новоприглашенные хореографы, танцоры, балетмейстеры, режиссеры... Все яростно доказывали каждый свою единственно правильную точку зрения. Лифарь чуть ли не с кулаками вытолкал из маркизовой спальни Виллиама

Доллара, требующего репетиций для своего балета "Констанция", Бронислава Нижинская пускала Лифарю прямо в лицо струю табачного дыма и говорила, что он не имеет права называть себя хореографом. Андрей Еглевский схватил с кровати одну из собачек, крича, что если Алгаров или Скибин будут танцевать "Жизель", то он немедленно уезжает. Муж балерины Ивет Шовире, красавец-цыган по фамилии Непо, неплохой, кстати, художник-портретист, которому здесь фактически нечего было делать, категорически заявил, что если Баланчин начнет ставить свои балеты, то его супруга отказывается танцевать Жизель. Скибин заявил, что лишь он со своей партнершей Марджори Толчевой будут танцевать все па-де-де и никто другой, иначе он забирает всех приехавших американцев и возвращается в США. Маркиз всем мило улыбался и на вид со всеми соглашался. Не выпуская из рук чековой книжки, он ежеминутно подписывал чеки, которые с жадностью вырывались из его рук, зачастую субъектами, ничего общего не имеющими с его балетом.

В эти "бурные" дни я старался выполнять свою должность балетмейстера, подготавливая и репетируя с кордебалетом предстоящий спектакль. Работа оказалась крайне трудной: в кордебалете тоже бушевали страсти. Танцоров было достаточно, но чтобы начать репетицию "Сильфид" или первого акта "Жизели", приходилось чуть ли не за руку приводить танцоров из соседнего бистро или ресторана. Я старался всех успокоить, обещая, что скоро все уляжется, все начнут выступать и получать регулярное жалованье. Работа, хотя и медленно, но продвигалась: я возобновил "Сильфиды" и второй акт "Жизели", старался дать возможность Виллиаму Доллару репетировать его "Констанцию", а помощнику Лифаря его "Белое и черное".

Как-то во время репетиции первого акта "Жизели" на сцену влетела Бронислава Нижинская со своим мужем Николаем Николаевичем и, подскочив ко мне, с по-

мутившимися от злобы глазами, стала допрашивать:

— Что вы здесь делаете? Кто вам дал право репетировать классику из классики ”Жизель”? Кто вы такой? Какой у вас паспорт?

Сзади стоял Николай Николаевич, долговязый дармоед, и размахивал длинными руками. Я остолбенел. Ставя балеты в ”Русском балете Монте-Карло”, она пользовалась мною, чтобы показать ансамблю требуемые движения, а я, уважая ее как хореографа, ей помогал. Наконец, придя в себя, я спросил, что ей здесь нужно и попросил в мою работу не вмешиваться. Если же ей понадобится моя помощь в качестве балетмейстера, то я всегда буду рад помочь.

Нижинская повернулась к танцорам из кордебалета. Те, вытаращив от изумления глаза, наблюдали за этой сценой.

— Репетиции ”Жизели” откладываются, и я немедленно начинаю репетировать балет ”Картинки с выставки” на музыку Мусоргского!

Однако ее дикий выпад так всех возмутил, что танцоры, словно сговорившись, демонстративно покинули сцену. Из уважения к ней как к женщине и хорошему хореографу я не стал дальше спорить и тоже ушел.

Когда я спросил маркиза, давал ли он Нижинской какие-нибудь полномочия, он ничего толком не мог объяснить, а лишь пообещал прибавить мне жалованье, чтобы я и дальше делал свое дело, и посоветовал не попадаться на глаза этой даме. Каково!

Вечером я получил телеграмму от Сергея Лифаря: ”Не сдавайся перед Нижинской, за тебя весь кордебалет и я”. Какой-то шутник распустил слух, а может его распустил любитель неимоверных историй сам маркиз, что я подготовляю нападение на Нижинскую, и теперь ее муж ходил за ней буквально по пятам с толстой палкой в руках.

За эти десять недель в Виши каждый день происходило что-то новое, несуразное и потешное. Об этом мож-

но бы написать целую книгу, но я не буду на этом останавливаться. У нас со Светланой отпечатались в памяти наиболее ярко три события. Во-первых, четырнадцатилетняя Светлана танцевала с успехом с Андреем Еглевским в "Констанции" Доллара. Во-вторых, состоялась свадьба Юры Скибина и Марджори Толчевой. Венчались они в русской, маленькой и уютной церкви, под вечер, в присутствии симпатичных родителей Юры, бывших танцоров Дягилева. На свадьбу приехал из Парижа Баланчин с женой, Марией Толчевой, сестрой невесты. Присутствовали все солисты труппы. За городом, в замечательном помещении гольф-клуба, шампанское лилось рекой. Мы возвращались в гостиницу пешком по реке Алие, при первых лучах солнца и при оглушительном квакании лягушек. Это было незабываемое, красивое утро. Все же и во время этой веселой свадьбы не обошлось без балетных дрязг, связанных с Сергеем Лифарем.

После войны Лифарь лишился должности руководителя балетной труппы парижской оперы, потому что когда Париж был оккупирован немцами и Гитлер приехал осматривать город, пожелавши осмотреть также и Оперу, не кто другой как Сергей Павлович Лифарь показывал Гитлеру все залы, коридоры и сцены театра. Вызвался ли он сам на роль гитлеровского гида или его попросила администрация театра — осталось неизвестным. Этот поступок во многом повредил Лифарю. Как только союзники освободили Париж, Сергею Павловичу пришлось немедленно покинуть пост в Опере. Ему даже угрожали судом. В 1947 году дирекция Оперы пригласила Баланчина возглавить балет. Тот приехал в Париж, чтобы сначала хорошенько присмотреться к работе и лишь потом решить, принять ли ему бывший пост Лифаря. Тут поднялась настоящая буря, поднятая поклонниками Лифаря, который делал все, чтобы получить опять свое "детище". Балерина Ивет Шовире и ее муж Непо были самыми активными агитаторами в пользу

Лифаря. Шовире выступала с речами чуть ли не на улицах Парижа. И вот теперь, на свадебном приеме Скибина, в одном конце стола стоит Непо с бокалом шампанского и, ни к кому не обращаясь, громко заявляет, что Баланчину нечего делать в Опере, так как его балеты не будут иметь успеха, а с другой стороны стола, тоже ни к кому не обращаясь, Баланчин, в ответ на эту реплику, спрашивает: "Кто же пригласил на свадьбу цыгана без гитары?!"

Я не помню, как долго Баланчин оставался в Опере и что он за это время поставил, но помню его фразу об оперном балете: "Лучше всего их оставить и дальше вариться в собственном соку". Впоследствии Лифарь вернулся в Оперу, но былого успеха у публики и танцоров достичь не мог.

Я решил, что после парижского сезона, который кончался 20 ноября, мы поедем на всю зиму в Нью-Йорк, чтобы Светлана могла продолжать образование. Однако, еще в Виши в кафе я встретил импрессарио Юлиана Брунсванга, знакомого мне еще по Берлину. Он предложил, чтобы по дороге в Нью-Йорк мы остановились хотя бы на два месяца в Лондоне и поступили в небольшую труппу "Ballet Metropolitan", директором которой была Сесилия Блатш. Я должен буду заменить там Гзовского как балетмейстер, а Светлану сразу же зачислят в категорию балерин. Ради будущей карьеры Светланы я согласился.

Наш сезон в Виши кончился 15 сентября, и вся труппа отправилась в Париж. Мы открыли наш сезон в театре "Альгамбра" 7 ноября. Труппа выступала под именем "Большой балет Монте-Карло" и дала следующие балеты:

"Утренняя песнь", музыка Пуленка, хореография Нижинской,

"Констанция", музыка Шопена, хореография Доллара,

"Святой Себастиан", музыка Менотти, хореография Кейтона,

''Саломея'', музыка Штрауса, хореография Лифаря.

Распрощавшись с маркизом и пообещав ему вернуться на будущее лето, мы выехали в Лондон. Англия нас встретила холодной как никогда зимой. Дома стояли с дырами, оставшимися после гитлеровских бомбардировок. Найти тогда в Лондоне место, где можно было согреться, оказалось делом нелегким. По-прежнему выдавались карточки на продукты питания, англичане ходили полуголодные, однако никто не унывал.

Члены ''Ballet Metropolitan'' с красными от холода носами встретили нас, как родственников, и сразу напоили горячим чаем. Тут же, в холодном театре ''King's Theatre'' в районе Хаммерсмит, мы сразу приступили к репетициям. Я должен был делить должность с танцовщицей Силией Франка, которая уже являлась балетмейстером труппы. Из-за плохого английского и ради того, чтобы танцоры не подумали, что, пользуясь положением балетмейстера, я продвигаю собственную дочь, я решил как можно меньше вмешиваться в дела труппы и предоставил Силии возможность действовать по ее усмотрению. И поступил правильно. Силия Франка и директор Сесилия Блатш сразу взяли Светлану под свое покровительство — и иногда даже несправедливо по отношению к талантливой балерине Соне Аровой — стали отдавать Светлане ведущие роли. У Светланы оказались два замечательных юных партнера — танцоры из национального балета в Копенгагене: восемнадцатилетний Эрик Брун и девятнадцатилетний Поуль Гнат.

Сезон открылся 24 ноября 1947 года в том же театре в Хаммерсмите. Светлана танцевала с Гнатом в балете ''Сильфида'' и с Бруном па-де-де Авроры в ''Спящей красавице''. Успех у публики эта ''молодежь'' имела огромный, и хозяйка балета, госпожа Блатш, ходила с мокрыми от счастливых слез глазами.

На репетициях нам аккомпанировал на рояле молодой и веселый парень по имени Джек Лансбери, впоследствии ставший хорошим балетным дирижером. Он явля-

ется теперь автором оркестровой аранжировки многих современных балетов. В течение той недели в Хаммерсмите явился на пробу новый кандидат в труппу, молодой человек с большим красным носом — Джон Гранко, недавно приехавший в Лондон из Южной Африки. Он здорово отставал в технике по сравнению с другими танцорами. Сесилия Блатш посоветовала ему хорошенько потренироваться и вернуться через несколько месяцев на повторную пробу. Сегодня весь балетный мир знает Джона Гранко. Он стал знаменитым хореографом, отличаясь в своих балетах от других неподдельным юмором и правдивостью жеста, всегда чрезвычайно реального и оригинального.

После недели в Хаммерсмите мы выступали в трех городах южнобританской провинции: Нoридже, Суонси и Чатеме. Помню, что Суонси выглядел огромной грудой развалин. Немцы так усердно бомбили этот город, что лишь на окраине уцелели редкие домики, где ютилось все население города. За всю неделю в Суонси мы не могли отогреться. Три раза в день ели рыбу с жареной картошкой — ничего другого не находилось. Зато очень трогательно было наблюдать, как молодые девушки стояли у выхода из театра и дарили Светлане свой драгоценный недельный рацион шоколада.

В течение этого месяца где-то среди развалин был найден маленький уцелевший зал, в котором мы не раздеваясь репетировали. Танцор Джон Тарас находился в то время в Лондоне. Не имея вакантного места для солиста, госпожа Блатш предложила Тарасу поставить какой-нибудь балет. Бедный Джон, не вылезая из теплого пальто, поставил здесь впервые один из своих лучших балетов — "Designs With Strings" на музыку Чайковского (трио А-минор) с костюмами и декорациями по проектам Георга Кирста. Этот абстрактный балет на пять человек — трех девушек и двух мальчиков — исполняли Арова, Березова, Силия Франка, Эрик Брун и Дэвид Адамс. Премьера состоялась 6 февраля 1948 года в театре

”King’s Theatre” в Эдинбурге. До сегодняшних дней этот балет имеет большой успех у публики.

Помню, что тогда в Эдинбурге наш дирижер заболел гриппом и не мог дирижировать. Единственным выходом было, чтобы пианист Джек Лансбери взял в руку дирижерскую палочку, но Джек в панике уперся, ни за что не соглашаясь на столь смелый шаг. Силия Франка заперла Джека в артистической уборной, заставив его репетировать партию, а потом самым форменным образом взяла его за руку и отправила в оркестр. Первым балетом шли ”Сильфиды” Шопена, и он их продирижировал вполне прилично — это было первым крещением знаменитого сегодня дирижера балетов Джека Лансбери.

В апреле того года я поставил фокинские ”Половецкие пляски” на музыку Бородина. Труппа танцевала с большим энтузиазмом, а публика с неменьшим энтузиазмом принимала этот балет. Декорации и костюмы рисовал молодой художник и балетный критик Питер Вильямс, высокого роста обаятельный молодой человек. Рядом с ним всегда находился неотлучно маленького роста, полноватый Дункан Мильуин, у которого было сразу несколько профессий и никакой профессии. Они выглядели, как популярные тогда кинокомики Пат и Паташон или как Дон Кихот и Санчо Панса.

Лилин присоединилась к нам в этой труппе и стала заведовать костюмами, и хотя Питер с Дунканом не были официальными членами труппы, они ухитрялись постоянно бывать в ней и стали нашими лучшими, самыми близкими друзьями. Впятером — нас трое и их двое — мы замечательно проводили время. Светлана ежеминутно обращалась ко мне: ”Папа, папа”, и поэтому Дункан с Питером тоже начали звать меня ”Папой”. Потом эту кличку подхватила вся труппа, и я стал Папой для всего балета. И сейчас в балетных труппах всего мира меня зовут с большим почтением Папа Березов.

В июне 1948 года, когда мы выступали в лондон-



Николай Березов в роли Главного евнуха из балета "Шехеразада".
Лондон, 1952 г.



Николай Березов со своими солистами труппы цюрихского балета.
Цюрих, 1964 г.

Последняя сцена из балета "Спящая Красавица" в постановке Николая Березова.
В роли Авроры – Гей Фултон. Цюрих, 1964 г.

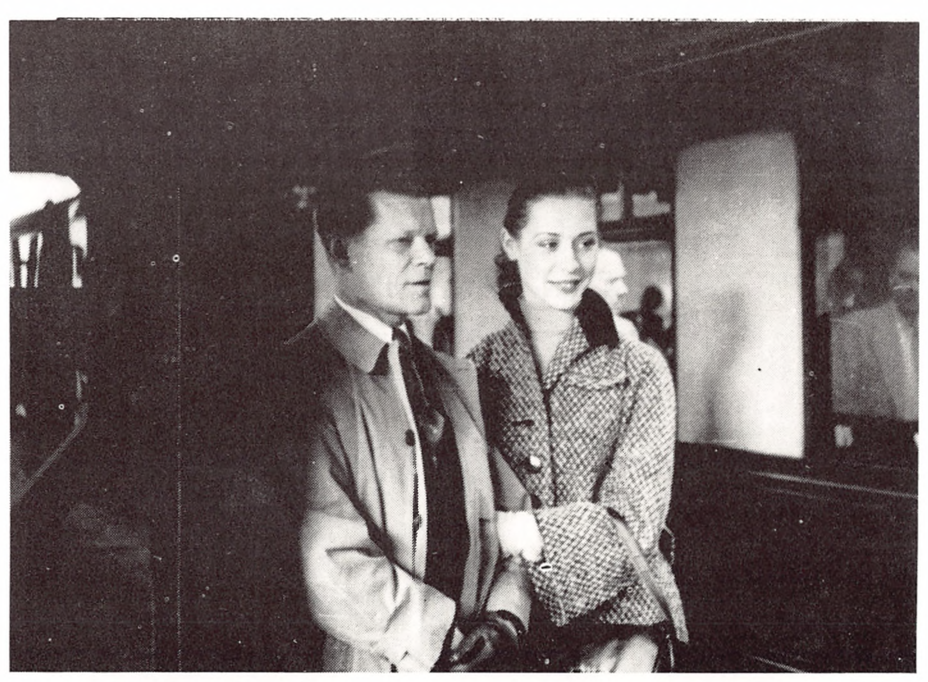


Николай Березов ведет передачу о балете на Западе для русского вещания Би-Би-Си. Справа – Нина Димитриевич, Лондон, 1953 г.

Чествование начала балетного сезона в казино Довиля 1961 г. Слева направо: Серж Головин с женой, Николай Березов, Дорис Катана.



"Лондонский фестивальный балет" по пути на гастроли из Англии в Канаду. 1955 г.



Проводы Светланы с "Королевским балетом" на гастроли в Париж.
Лондон, 1955 г.

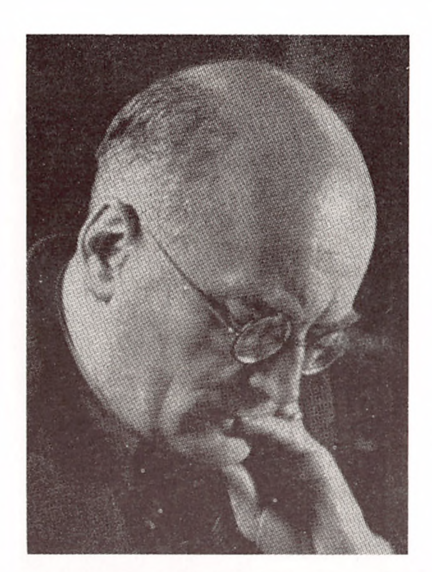


Светлана Березова в роли Авроры из балета "Спящая Красавица".
Штутгарт, 1958 г.



Сцена из балета "Эсмеральда" в постановке Н. Березова "Лондонским фестивальным балетом". В роли Эсмеральды (в центре) Тамара Туманова. Лондон, 1954 г.





Доктор
Вальтер Эрих Шефер.
Штутгарт, 1957 г.

Маркиз
Жорж де Куэвас,
1956 г.



"Спящая Красавица" в постановке Н. Березова. Штуттгарт, 1957 г.



Николай Березов с дочерью Светланой Березовой. Штутгарт, 1958 г.



Солисты Штутгартского балета Ксения Палей и Дональд Баркли
в балете "Сильфиды". Штутгарт, 1959 г.



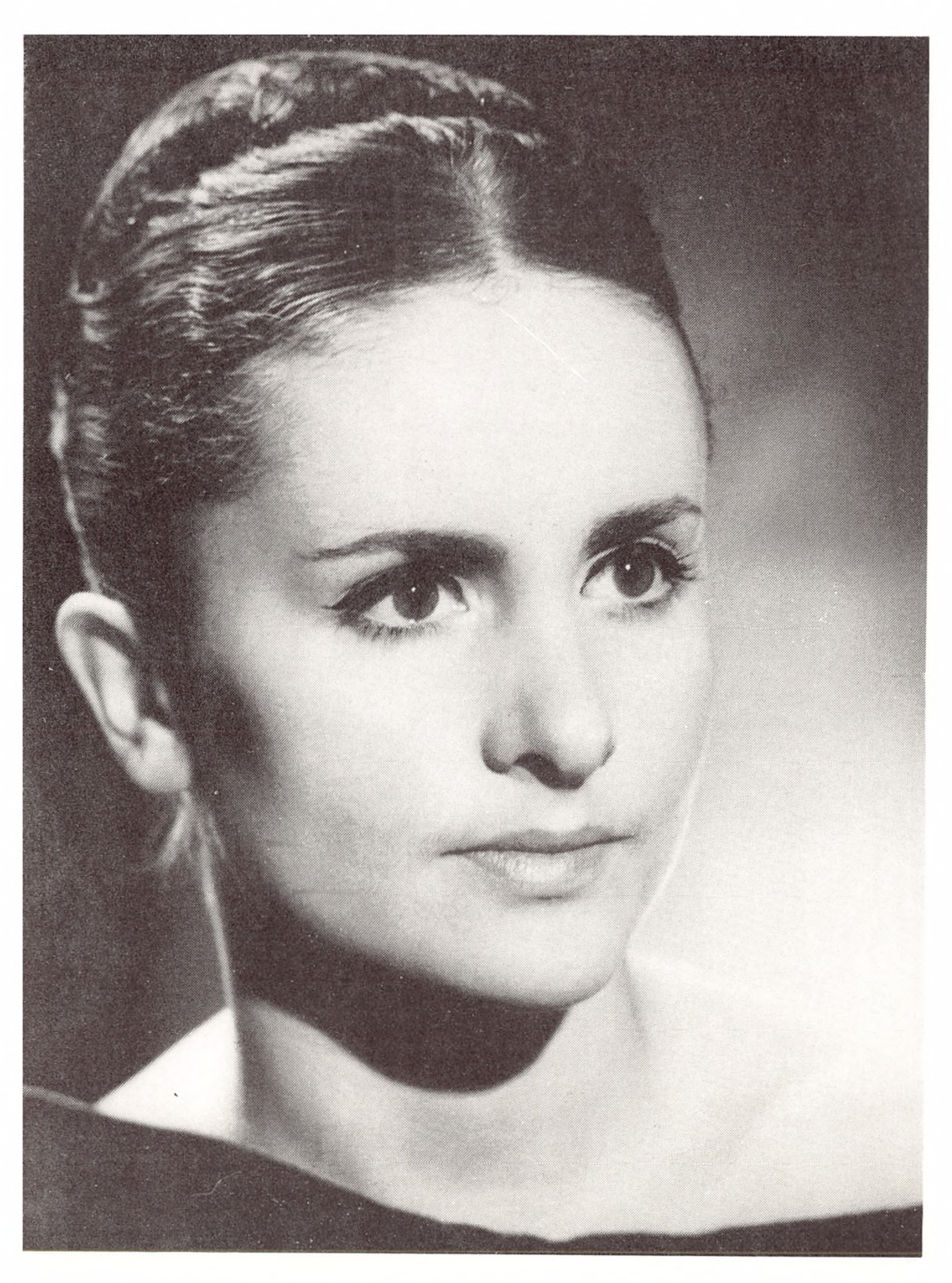
Светлана Березова в роли Авроры из балета "Спящая Красавица".
Штутгарт, 1958 г.



Николай Березов в роли Шарлатана из балета "Петрушка". Лондон, 1952 г.



Николай Березов в роли Дроссельмайера из балета "Щелкунчик". Лондон, 1952 г.



Солистка Штутгартского балета Дорис Каупп (Катана),
будущая жена автора. Штутгарт, 1960 г.

ском театра "Скала", наш спектакль посетила самая важная персона великобританского балета — Нинет де Валуа. Светлана танцевала в тот вечер второй акт "Лебединого озера", "Designs With Strings" и па-де-де из "Спящей красавицы". После спектакля Нинет де Валуа пришла на сцену и горячо поблагодарила Сесилию Блатш за то, что она обрела такой большой талант, как Светлана.

В нашу труппу поступил молодой южноафриканский танцор Франк Стаф, многообещающий будущий хореограф. Он поставил замечательный маленький балет на тему "семи грехов", назвав его по-итальянски "Девушка с розами". Сюжет был таков: каждый из семи грехов дарил девушке розу (подряд семь па-де-де), из которых она плела себе венок. Когда он был готов и она надела его на голову, все розы облетели и у нее остался венок из шипов. Светлана танцевала девушку, исполняя роль с редким в ее возрасте и девичьей чистоте пониманием и покоряя зрителей всех взглядов и толков. Но этот балет не обошелся ей даром! Она полюбила впервые в жизни хореографа Франка, уже женатого. В пятнадцать лет нелегко скрывать свои чувства. Единственным спасением тогда было, как она признавалась подруге, находиться в театре, репетировать и выступать.

Вскоре мы со Светланой поехали в Нью-Йорк, так как должны были каждый год жить в США хотя бы несколько дней, а иначе мы теряли там право на постоянное жительство и американское подданство в будущем, получить которое нам полагалось через два года. Лилин решила остаться французской подданной. Мой литовский паспорт, выданный еще до войны, сейчас считался недействительным, потому что Литву присоединили к СССР.

Уже в Нью-Йорке в начале декабря я получил печальную новость из Лондона, что, оказавшись в очень тяжелом финансовом положении, Сесилия Блатш была вынуждена закрыть свой балет.

Наступил 1950 год. Я обратился к Баланчину с вопросом, не хотел бы он взять Светлану в свою молодую труппу. Он очень заинтересовался и предложил ей брать бесплатные уроки в его школе New York City Ballet, а как только что-то выяснится относительно предстоящего турне по Европе, он возьмет Светлану на те же роли, которые исполняет Мария Толчева, его жена. Светлана стала посещать школу Баланчина и сразу завоевала большой успех и уважение товарищей. В это же время, приблизительно в начале марта, Нинет де Валуа проездом из Канады в Лондон задержалась на несколько дней в Нью-Йорке и решила посмотреть урок в Нью-Йорк Сити Балет. Она увидела Светлану, вспомнила, каким успехом та пользовалась у английской публики, и подозвала ее к себе. Узнав, что девушка пока нигде не работает, она сказала:

— Немедленно ехать обратно в Англию! Пришли ко мне в отель своего отца, да поскорей, потому что вечером я уезжаю.

Мне она сказала, что Светлана принадлежит английской публике и что поэтому *впервые* она берет в свою труппу Sadler's Wells Ballet не британскую подданную.

Не успел я дома рассказать, что мы недели через две уедем из Нью-Йорка, может быть, навсегда, как раздался телефонный звонок. Звонила секретарша Баланчина княжна Оболенская, передавая, что Нью-Йорк Сити Балет подписал контракт на продолжительное турне по Европе и что Баланчин просит немедленно переговорить с ним насчет контракта Светланы. Все же пришлось Баланчину отказать. 7 апреля 1950 года мы прибыли в Лондон, а 20 мая Светлана впервые танцевала в Sadler's Wells Ballet второй акт "Лебединого озера". Ее партнером был Майкл Холмс. Публика устроила ей настоящую овацию, и я окончательно убедился, что поступил правильно, избрав для дочери эту труппу вместо американской.

14 августа 1950 года под временным названием

Markova-Dolin Concert Group мы начали выступать в King's Theatre в городе Саутси. Я танцевал главную роль Петрушки. Долин тоже начал изучать эту роль, хотя раньше никогда не собирался ее исполнять. Он страшно нервничал, бросал в костюмера всем, что попадалось под руку, но через три недели, когда мы выступали в Empire Theatre в Шеффилде, Долин танцевал Петрушку, и ко всеобщему удивлению, этот закоренелый танцор "нобель" справился с Петрушкой превосходно.

1950 год проходил под знаменем Фестиваля Великобритании, и, так как у труппы еще не было названия, наша прима-балерина Алисия Маркова предложила Брунсвангу назвать ее London Festival Ballet. Афиши к лондонскому сезону вышли уже с новым названием. На эти шесть недель были приглашены Ивет Шовире, Александра Данилова, Леонид Мясин и много других артистов. "Петрушка" стал главным балетом сезона. Я танцевал роль Мавра, роль Петрушки чередовалась между Мясиным и Долиным, "балерину" танцевала Шовире, чередуясь с Марковой.

Когда я репетировал "Петрушку" с Мясиным, он мне рассказал историю своего исполнения Петрушки, особенно когда Петрушка находится в своей комнате, где он проводит всю сцену один, за исключением короткого появления "балерины". Со слов Мясина я понял, что когда ему пришлось танцевать у Дягилева, то ему никто не мог показать, что в точности Петрушка делает у себя в комнате, и Мясин был вынужден сам изобрести хореографию этой сцены в фокинском стиле. После него эту роль отлично танцевал Леон Вуйцеховский, приняв, конечно, мясинскую хореографию комнатной сцены. От Вуйцеховского роль перешла к Лозовскому, и ее до сих пор танцуют в США по-мясински. Леонид Федорович говорил, что когда ему пришлось потом танцевать Петрушку перед Фокиным, он откровенно сознался, что состряпал сцену, как мог, по-своему, а Фокин ответил: "Ну что ж, танцевали двадцать лет, танцуйте и дальше, но я во

время вашего исполнения "комнаты" выйду и смотреть не буду".

Сезон проходил с большим успехом, и Брунсванг, несмотря на очень тяжелые проблемы с содержанием пятидесяти пяти танцоров и не имея абсолютно никакой финансовой поддержки, не унывал, вертясь, "как белка в колесе", затыкая очередные платежи по содержанию труппы.

Во время лондонского сезона, который кончался 2 декабря, я получил через Веру Волкову предложение из "Ла Скала" в Милане поставить там 31 декабря "Коппелию" в 3 актах, где главную роль должна танцевать Марго Фонтейн. 3 декабря я прибыл в Милан. На следующий день меня представил труппе мой давний знакомый Борис Романов, которого сюда пригласили ставить балет для "Тангейзера". Дирижировал и режиссировал оперу только что как бывший нацист выпущенный из-под домашнего ареста Курт фон Караян. Борис Романов еще до войны работал в итальянских театрах, хорошо говорил по-итальянски, любил Италию и многим мне помог в ознакомлении с итальянскими театральными обычаями, которые могут ввергнуть в панику новичка.

Я стал энергично ставить "Коппелию" по версии Петипа, но в середине декабря вдруг оказалось, что Марго Фонтейн не сможет приехать к премьере. По моему совету вместо нее приглашают Ивет Шовире из Парижа. Шовире приезжает со своим мужем художником Непо, и тот сразу предлагает свои услуги для проектов костюмов и декораций. Его макеты критикуются и отвергаются художественным советником Николаем Бенуа, который, как и его знаменитый отец Александр Бенуа, сам отличный театральный художник. Наконец, не остается больше времени, чтобы делать новые костюмы и декорации, и в последнюю минуту дирекция решается заменить "Коппелию" "Жизелью", костюмы и декорации к которой, по рисункам Александра Бенуа, уже

есть. Я немедленно переключаюсь на новые репетиции, и накануне Нового года идет ''Жизель''. Конечно же нелепо было перед праздничным вечером ставить сюжет с гибелью героя. Поэтому публика осталась недовольной. Мне предложили остаться в ''Ла Скала'' на весь сезон в качестве хореографа, и я согласился.

Итак, я начал в ''Ла Скала'' 1951 год. Мне пришлось здорово потрудиться, так как почти в каждой опере был балет. Пришлось репетировать и ставить в одно и то же время испанские и цыганские танцы для ''Травиаты'' (ее дирижировал Виктор де Сабата) и вакханалию в ''Тангейзере'', которым дирижировал Курт фон Караян. Я вынужден был заниматься ''Тангейзером'', так как Борис Романов слег в больницу на операцию.

Услышав мою русскую фамилию, Караян насторожился. Во время войны он был в Италии гитлеровским культурным атташе. Музыкант по природе, он дальше Милана не двигался, постоянно работал, находился в помещениях театра, увлеченный всем, что творилось в этом ''соборе'' музыки, где все еще свежо было влияние самого Верди. В те послевоенные годы бывшим нацистам все еще мерещилось, что за ними следят и могут каждую минуту похитить. Стараясь его разубедить, я рассказал ему свою биографию, и он перестал на меня коситься. Его постоянно окружала толпа поклонниц, которые преследовали его с самого утра до поздней ночи. Они ухитрялись проникнуть даже в помещения театра, закрытые для посторонних. Экстравагантно одетые и облитые духами дамы неслись за Караяном по коридорам ''Ла Скала'' со вздохами и восклицаниями, закатывая глаза и нервно куря. По рассказам очевидцев, во время войны Караян любил иногда блеснуть наружностью ''воина'' и появлялся в форме СС. За этот тщеславный маскарад ему и пришлось потом расплачиваться. Но чего артисты — и большие и малые — не делают, чтобы лишний раз обратить на себя внимание публики!

Режиссером Караян оказался слабым, и я ему не-

заметно помогал в массовых сценах, но дирижером был гениальным, а в "Ла Скала" хорошему дирижеру прощают все недостатки. Там обожествляют хороших дирижеров. Мне пришлось работать с Караяном также над оперой Моцарта "Дон Джиованни". В одном месте оркестр играет сразу две темы: менуэт и сарабанду. Сарабанду танцуют крестьяне, это профессиональные танцоры, и у меня с ними нет проблем, а менуэт танцуют вперемежку с речитативом — певцы. Ставить простые движения менуэта в исполнении певцов оказалось божьим наказанием. У них всегда туго набитые животы, они начинают икать и сопеть. Поднять руку в ритм музыки или отставить ногу в сторону — для них настоящее мучение, а ведь каждый из них читает ноты и всю жизнь имеет дело с музыкой.

"Травиатой" и "Аидой", для которых я ставил танцы, дирижировал заведующий музыкальной частью "Ла Скала" Виктор Сабата. Когда-то он дирижировал балеты у Дягилева и поэтому не смотрел на меня так дико, как другие дирижеры. Я был большим поклонником его дирижерского таланта и ценил его за то, что он тепло относился к людям.

Мне нравилась особая церемония, практикуемая в итальянских оперных театрах: перед началом спектакля, когда уже потушен свет, специальный служащий выносит партитуру оперы — еще более торжественно, чем в церкви выносят Библию. Он кладет партитуру на дирижерский пюпитр, открывает первую страницу и уходит. В это время выходит дирижер Сабата, его ярко освещает свет прожекторов. Публика аплодирует, музыканты встают, Сабата пожимает руку концертмейстеру, а оркестр в это время садится. Тогда Сабата широким жестом закрывает партитуру и начинает дирижировать по памяти оперой, которая длится три или четыре часа, помня каждую ноту каждого инструмента и каждое слово либретто. На меня это производило огромное впечатление. При любой возможности я проникал в ложу над

оркестром и следил, как Сабата с легкой улыбкой дирижировал, замечая малейшую шероховатость музыкантов.

Когда я ставил танцы в "Травиате", у меня произошла серьезная стычка с дирекцией "Ла Скала". В этой опере в сцене бала есть два танца — цыганский и испанский. При выборе танцоров я решил сделать цыганский танец из семи цыганок, а к испанскому взял восемь мужчин и восемь девушек. Заведующая балетом мне заявила, что я действую не по традиции театра: вместо мужчин я должен взять танцовщиц повыше ростом, которые и будут исполнять мужские танцы. Я запротестовал и был немедленно вызван к одному из директоров, который мне сказал, что я поступаю неправильно, так как публика не любит танцующих мужчин. Разве я не вижу разницы между высокой танцовщицей в костюме, туго облегающем ее стан, и кривоногим, небритым шалопаем? Он сравнивал прелести женского пола со зверообразными фигурами мужчин, но я уперся и настаивал на своем. Позвали Николая Бенуа, с которым я уже успел подружиться и перейти на "ты". Он обозвал меня дураком, потому что из-за такой "мелочи" я-де ухитрился восстановить против себя всю администрацию. Но я его не послушался.

За все время существования "Травиаты" в репертуаре "Ла Скала" теперь впервые мужчин танцевали мужчины. И неожиданно вместо ожидаемых свистков публика приняла эту новость громкими аплодисментами, а критика подчеркнула, что давно надо было положить конец такому слащаво-вульгарному обычаю. От дирекции немедленно поступил приказ не использовать больше танцовщиц вместо танцоров, а мне лично — Алдани, администратор театра, с доброй улыбкой предложил подписать контракт на три года. Я отказался. Алдани пригрозил, что в будущем я пожалею. Однако я никогда не жалел, что не остался в "Ла Скала" дольше, чем на один сезон. Там, правда, приятно было работать с русским ди-

рижером еврейского происхождения, Исааком Дубровиным, который хорошо и ставил и дирижировал. Мне пришлось с ним ставить "Половецкие пляски" в "Князе Игоре", где молодой Борис Христов в открытую копировал Шаляпина и исполнял, как и Шаляпин, сразу две роли — хана и князя Галицкого. Декорации отлично нарисовал в русском средневековом стиле Николай Бенуа. Вторую русскую оперу того сезона с декорациями Александра Бенуа "Невидимый град Китеж" Римского-Корсакова тоже ставил Дубровин, а главную роль исполнял опять Борис Христов. Мне пришлось хорошо потрудиться над русским хороводом.

Моими последними постановками того сезона были танцы в "Парсифале", которым дирижировал Функландер, и в "Лукреции Борджиа" Доницетти, где я давал танцы типа вакханалий в средневековом стиле. Тепло распрощавшись с танцорами, которые относились ко мне с большим уважением, и с дирекцией "Ла Скала", я вернулся в Лондон 23 мая 1951 года и начал репетировать "Половецкие пляски" для London Festival Ballet. И сразу возникло ощущение, что я вернулся к себе домой. За эти шесть месяцев труппа сильно продвинулась вперед, и все девушки — бывшие студентки балетной школы — приобрели вполне профессиональный стиль и навык.

Труппа готовилась к своему первому сезону в Монте-Карло, который должен был открыться 27 декабря.

По договору с Брунсвангом я начал ставить "Коппелию", все три акта. Декорации и костюмы находились в Монте-Карло. Брунсванг специально послал туда нашего директора сцены Бентова посмотреть, в каком они состоянии. Я дал Бентову подробный список всего, что требовалось для постановки. Он вернулся, заверяя всех, что декорации и костюмы на месте и в хорошем состоянии. Я уже представлял себе мою "Коппелию" на монтекарловской сцене. Мне предстояло играть на премьере

роль Коппелиуса. 22 декабря мы прибыли в Монте-Карло, стали разыскивать обещанные костюмы и декорации и, открыв корзины, к общему изумлению, вместо костюмов ”Коппелии” нашли костюмы ”Шехеразады”. То же оказалось и с декорациями. Бентов уверял, что вот в этих же корзинах на этом же месте находились костюмы ”Коппелии” — он сам своими глазами их видел! Кто смог и захотел их подменить ”Шехеразадой” — осталось тайной. Что же делать? Опять счастливый для Брунсванга выход из сложных обстоятельств — Березов до мелочей помнит ”Шехеразаду”. Не долго задумываясь, я переключаюсь с ”Коппелии” на ”Шехеразаду”. В три дня, потеряв голос, похудев на два кило и еле стоя на ногах, я заканчиваю постановку в рождественские дни, и 27 декабря мы даем премьеру. В программе: второй акт ”Лебединого озера”, ”Прекрасный Дунай”, ”Шехеразада”.

Я часто подшучивал над Брунсвангом, спрашивая его, существовал бы London Festival Ballet, если бы он не нашел Березова за 15 фунтов в неделю, ставившего ему фокинские балеты, бывшие опорой труппы в первые годы ее существования? Брунсванг отвечал:

— Вам опять нужен аванс? Вот вам три фунта, только никому не говорите, что я вам их дал, иначе они меня замучают просьбами об авансах.

3 июня 1952 года Светлана впервые выступила на сцене ”Ковент Гардена” в большой труппе Sadler's Wells в роли феи-сирены в ”Спящей красавице”. На большой сцене ”Ковент Гардена” она чувствовала себя гораздо лучше, чем на маленькой сцене Sadler's Wells Theatre. Все сходились во мнении, что Светлана нашла, наконец, труппу и сцену, которые ей позволят развивать талант в соответствующих условиях. Начиная с того спектакля дочь перевели в большую труппу, где ее выступления имели все возрастающий успех.

18 июля меня пригласили в гостиницу Кларидж на прием, даваемый Королевской академией балета.

Впервые я увидел собранную элиту британского балета, включая Мари Рамбер, Нинет де Валуа и других знаменитостей. Там находились такие критики и балетные деятели, как Бомонт и Хаскел, и вся балетная знать Великобритании. На этом приеме почувствовалась сила и динамика развития английского балета.

С 3 октября по 23 ноября London Festival Ballet провел интересное турне по Италии, где самым большим успехом пользовалась "Шехеразада". Доходило до того, что во время вакханалии пожарные, дежурившие на сцене, во время спектакля на виду у всей публики высовывались из-за кулис в своих металлических касках, чтобы получше рассмотреть, что происходит на сцене.

26 декабря мы начали рождественский сезон в Лондоне, как всегда, конечно, "Щелкунчиком". Я поставил первый акт и все характерные танцы второго акта, и сам всегда выступал в роли Дроссельмайера.

Светлана, Лилин и я встретили Новый 1953 год со всей труппой в залах Фестиваль Холл. Эта встреча была грандиозно устроена. Тысячная толпа веселилась каждый по-своему до пяти часов утра. Для Светланы 1953 год оказался самым важным из всех двадцати лет, проработанных ею в Королевском балете. 24 января она первый раз в "Ковент Гарден" танцевала Сванильду, главную роль "Коппелии". 31 января — опять впервые там же — "Лебединое озеро". 3 февраля она танцевала в балетах "Орфей" и "Сильфиды", 3 марта — в балете тогда лишь начинающего хореографа, мною упомянутого уже Джона Гранко, "The Shadow" (Тень). Ее партнером был высокий стройный блондин Филип Чатфилд. Светлана в то время считалась балериной высокого роста. Они представляли собой замечательную пару танцоров "нобель". "Тень" имела большой успех, и с тех пор Филип стал постоянным партнером Светланы во всех балетах.

9 июня мы открыли новый лондонский сезон в Фестиваль Холл, который продолжался до 12 сентября, а 13 сентября я вынужден был опять лететь в Нью-Йорк

из-за моих документов. Два раза меня приглашал к себе в контору импрессарио Юрок, которому я подробно рассказывал о балете "Эсмеральда". Я уже давно договорился с Брунсвангом, что буду ставить его для London Festival Ballet. Юрок предполагал, что "Эсмеральду" можно будет сделать главным аттракционом нашего турне по Америке, устраиваемого им на 1954 год. Юрок так интересовался всеми деталями будущей постановки, что я ясно видел, что передо мной не только знаменитый импрессарио, но и большой любитель балета. Я тогда задал ему вопрос, почему бы ему самому не организовать балетную труппу. Он грустно ответил, что чувствует себя слишком старым и начинать балетную труппу, когда ему осталось жить не более десяти лет, находит неуместным.

Юрок прожил после этого двадцать три года и до конца дней оставался энергичным импрессарио в разных областях искусства, но самым любимым для него занятием было устраивать долгие турне и громкие сезоны для балета в самых больших театрах мира.

Я начал репетировать "Эсмеральду" 8 декабря 1953 года в Бристоле, когда London Festival Ballet разъезжал по английской провинции. "Эсмеральда" была классическим балетом на музыку Чезаре Пуньи, хореографии Перро-Петипа. Я ее никогда не видел на сцене, но прочитав роман Гюго "Собор Парижской богоматери", ясно себе представлял все сцены с точки зрения балета. Брунсванг охотно согласился на задуманную мною постановку, и я стал энергично действовать. Оркестровку Пуньи я нашел в библиотеке Парижской оперы, но она оказалась недостаточной, и я прибавил музыку из другого балета Пуньи, "Дочь Фараона". Потом выяснилось, что музыка для па-де-де второго акта самой Эсмеральды, роль которой дали Тамаре Тумановой, была недостаточно бравурной. Мне пришлось прибегнуть к другому итальянскому композитору, современнику Пуньи, Ромуальдо Маренко, специальному балетному композитору в "Ла Скала", тогда как Пуньи был специальным балетным

композитором в Мариинском театре в Петербурге. Оригинальной оркестровкой ''Эсмеральды'' нельзя было пользоваться, так как для нашего времени она оказалась слабой. Я попросил дирижера Лансбери решить эту проблему. Он взялся за переоркестровку всех трех актов. Это была его первая попытка аранжировки музыки для балета. Впоследствии он стал выдающимся аранжировщиком. Потом какой-то ''деловой'' издатель балетной музыки без моего ведома издал на пластинке подобранную мною музыку Пуньи и Маренко для па-де-де второго акта ''Эсмеральды'', приписав ее авторство композитору Дриго!

Я был популярен в труппе и знал, что все танцоры с энтузиазмом возьмутся за работу. По моему настоянию для проектирования костюмов и декораций пригласили Николая Бенуа. Дирекция театра Luceo в Барселоне, где мы тогда выступали, с особенным уважением относилась ко мне, видя, что весь популярный репертуар состоял из поставленных мною фокинских балетов. Потому меня всегда вызывали на совещания о подготовке следующих спектаклей, а узнав, что я готовлю целый балет для предстоящего лондонского сезона, захотели увидеть хоть один из трех актов. Решили показать здесь второй акт с главным па-де-де Эсмеральды и ее жениха, поэта Грингуара. Директоры Luceo, как и вся испанская публика, были большими поклонниками балета. Второй акт прошел блестяще, и тут же было решено, что наш следующий сезон в Барселоне откроется полным представлением ''Эсмеральды''. Роли Эсмеральды и Поэта впервые танцевали здесь Н. Красовская и Дж. Гильпин.

15 июля мы открыли сезон в London Festival Hall, который продолжался до 11 сентября. Пришлось переделывать декорации. В этом концертном зале сценические условия совершенно не соответствовали такому спектаклю, как ''Эсмеральда'', где требовались специальные высота и глубина, и освещение для тяжелых декораций. Каждый день мне приходилось менять сцены, сокращать

или удлинять. После огромного успеха на первом спектакле, на который явился весь лондонский балетный мир, ежедневные старания, чтобы улучшить сценическое оформление последующих приносили обратный эффект, и мне стоило многих сил в конце концов закрепить спектакль без дальнейших переделок сцены и света.

Критика у "Эсмеральды" была отличная, публике балет нравился. Я получил милое письмо от Нинет де Валуа, которая приходила подряд на несколько спектаклей. Она писала, что моя "Эсмеральда" хорошей хореографией богаче многих других классических балетов, но жалела, что сюжет этого балета недостаточно знаком широкой публике, которой хотелось бы видеть в нем хорошо известную сказку.

Роль Эсмеральды в лондонском сезоне танцевали: Тамара Туманова, Наталья Красовская и венгерка Ковач. Вторую главную роль, Флер-де-Ли, танцевали Виолетта Верди, Т. Ландер и Белинда Райт. Мужские роли — Джон Гильпин и Олег Брянский. Позднее Эсмеральду исполняла австралийка Марлен Берр, которая благодаря этой роли стала главной балериной London Festival Ballet.

1 октября наша труппа отправилась на пароходе в продолжительное турне по Северной Америке. 10 октября мы приехали в Квебек, откуда и покатили по Америке, останавливаясь во всех больших городах. Успех "Эсмеральды" был везде огромный.

Выступая в Чикаго, три первых спектакля показывали "Эсмеральду", а остальные четыре состояли из смешанной программы, включая "Петрушку". Дирижировать "Петрушкой" пригласили самого Стравинского. Задолго до начала представления перед театром стояла огромная толпа в ожидании гения. Стравинский сильно постарел. Его сын, здоровенный верзила, вдвое выше отца, служил ему охраной. На спектаклях публика интересовалась исключительно Стравинским. Весь партер стоял, чтобы лучше его рассмотреть. Что и как в это время танцевали, никого не трогало. И слава Богу, потому что

Стравинский так растягивал темп своего балета, что хоть что-нибудь станцевать хорошо было невозможно.

Сезон в Лос-Анжелесе 25 октября открыли "Эсмеральдой". На премьеру пришли многие знакомые мне танцоры, избравшие Калифорнию постоянным местом жительства. Явился старый коллега Миша Панаев, а также Бронислава Нижинская, имевшая в Голливуде свою балетную студию. После спектакля она с мужем поднялась на сцену, и я насторожился, вспомнив ее дикий выпад в Виши несколько лет назад. Мои опасения оказались напрасными. Нижинская подошла ко мне и с дрожью в голосе стала меня поздравлять, одновременно словно бы кому-то угрожая:

— Вот пошли бы и поучились у Березова, как ставить классические балеты!

Она вспомнила, как ставила "Снегурочку" в "Русском балете Монте-Карло" и как я много ей помогал. Сейчас она дала отличную оценку "Эсмеральде".

Мы продолжали наше турне. Последние три недели Брунсванг нам не платил, ссылаясь на то, что ему не платит Юрок. Труппу собрали в Russian Tea Room в Нью-Йорке. Пришел Юрок со своими секретарями и вступил в горячий спор с Брунсвангом. Потом секретари увели их обоих к раввину: пускай тот рассудит, кто прав и кто виноват. Пришлось часа два ждать возвращения наших импрессарио, надеясь, что все же мы, "маленькие люди", получим то, что причитается нам за работу. Наконец, они вернулись. Юрок улыбался, а у Брунсванга вид был растерянный, и он тихим голосом заявил, что сможет нам выплатить лишь половину жалованья, так как труппа не выполнила возложенных на нее надежд Юрока и последние недели были для того сплошным дефицитом. Я никогда ничего подобного о Юроке не слышал и до сих пор сомневаюсь в правдивости всех этих аргументов.

В то время мне сильно нездоровилось. Еще давно, танцуя, я поднимал тяжелую танцовщицу, надорвался,

и у меня образовалась грыжа с постоянной изжогой и болью под ложечкой. Я обращался к врачам, которые утверждали, что ничего особенного нет, но все-таки лучше подумать о завещании. Каждый прописывал пилюли, которые ничуть не помогали. Я чувствовал себя совершенно больным и измученным. С Лилин мои отношения мало-помалу окончательно испортились. Мы редко бывали вместе, к тому же Лилин меня упрекала в том, что я чересчур опекаю Светлану и недостаточно времени уделяю ей. Мы оба пришли к заключению, что нам лучше всего развестись. С тех пор Лилин переехала к своей матери и сестре в Турин.

В ноябре 1955 года я получил телеграмму от маркиза де Куэвас с предложением принять место балетмейстера в его Grand Ballet, находящемся почти все время во Франции и бывшем по существу французским балетом, субсидированным, как и раньше, американскими деньгами Рокфеллера. Маркиз поссорился тогда со своим балетмейстером Джоном Тарасом, который успел очень талантливо поставить у него балет "Ловушка света", где замечательно станцевала Розелла Хайтауэр. Маркиз пригласил меня на место Тараса, и я согласился, но сначала до 31 декабря я должен был закончить работу у Брунсванга.

Благодаря усилиям Светланы я, наконец, попал к самому знаменитому лондонскому врачу, который за десять минут определил, что у меня грыжа, и что необходимо делать операцию, саму по себе несложную, но с большим разрезом на спине, чтобы сшить два разорванных мускула под ложечкой. На самом деле, чтобы сшить эти мускулы, мне разрезали спину на три четверти. Я чувствовал себя после операции психически очень странно, казалось, что человек, туловище которого разрезано на три четверти, не выживет. Прошло несколько дней, и я смог делать движения и нормально питаться, а через три недели вышел из больницы и, еле сидя в кресле, смотрел в "Ковент Гарден" Светланину премьеру "Армиды",

поставленную Фредериком Аштоном. Партнером Светланы был Марсель Сомс.

17 февраля 1956 года, совершенно еще скрюченный, я отправился в Канны работать балетмейстером у маркиза. Теперь я чувствовал себя гораздо лучше и верил, что снова стану здоровым человеком. Со времени получения телеграммы от маркиза прошло три месяца, и тот за это время опять подружился с Тарасом. Поэтому мой приезд они оба встретили с недоумением. Маркиз меня вызвал и стал объяснять обстановку. Виноват был, конечно, я, потому что не приехал сразу, когда получил телеграмму, а сейчас он не может отказать Тарасу. Не соглашусь ли я поделить с ним роль балетмейстера? Мне было безразлично, но Тарас счел такое предложение личным оскорблением и немедленно уехал к себе в США.

Маркиз, не скупясь, платил своим звездам щедрые гонорары, и в погоне за деньгами те иногда переходили все границы приличия. Кордебалет тоже получал неплохое жалованье. Дай Бог здоровья рокфеллеровской внучке, жене маркиза, через которую лились потоком доллары на содержание балета и самого капризного маркиза! Его труппа за последние годы стала хорошим профессиональным балетом, в котором все строилось на звездах. Тут находилось восемь балерин, каждая из которых считала себя звездой, и не меньше мужчин, тоже звезд. Кордебалет состоял из сорока человек, но маркиз, к сожалению, мало придавал цены низшему составу, а работа прежде всего наваливалась на балетмейстера и кордебалет, потому что вечерняя программа менялась маркизом несколько раз в день. Все зависело от того, кто был недоволен составом программы. Звезды настойчиво врывались к маркизу в спальню, где он проводил — как я уже описывал — большую часть дня в постели со своими пекинскими собачками. Звезд было восемь пар, а выступать по программе, если дать отдельным парам по одноактному балету, могло не больше че-

тырех. Остальные наступали на маркиза, чтобы он с выгодой для них составил программы. После подобных свиданий маркиз звонил мне в репетиционный зал, где я вечно работал с кордебалетом, предупреждая, что программу пришлось переменить и что я должен к вечеру приготовить с кордебалетом то и другое. Уже через час — следующий звонок, и снова все менялось. После обеда маркиз объявлял, что болен, и оставлял решать мне вопросы программы. Впоследствии я не обращал внимания на звонки маркиза и предупредил всех звезд, что программа не будет меняться после того, как ее официально объявили на несколько дней вперед, а иначе кордебалет отказывается выступать. Несмотря на бурю протестов и возмущений звезд, работа мало-помалу принимала все более нормальный характер.

Нашей главной балериной была Розелла Хайтауэр, моя коллега по "Русскому балету Монте-Карло". Недавно поставленный для нее Тарасом балет "Ловушка света" имел у публики огромный успех, и Розелла умела так себя поставить в труппе, что все ее уважали и признавали ее первенство. Ее партнерами были Владимир Скуратов, Серж Головин и Николай Положенко.

Второй по важности являлась пара Марджори Толчева и Джордж Скибин. Скибин энергично и настойчиво развивался не только как танцор, но и как хореограф. Он поставил балет на музыку Хачатуряна "Кавказский пленник", в котором исполнял с Марджори главные роли. Это — один из лучших его балетов, а ставил их он быстро и в изобилии. Его другие хорошие балеты — "Анна Белли", "Идиллия", "Трагедия в Вероне", "Князь пустыни" и другие. Наша администраторша жаловалась, что все чеки, приходящие для труппы от Рокфеллеров, шли прямо в руки Скибина. Он с женой получал по 700 долларов в неделю. За каждый поставленный балет маркиз платил Скибину по 5000 долларов плюс по 50 долларов за спектакль. В каждой программе ставился один, а то и два балета Скибина, так что нетрудно подсчитать, куда уходи-

ло большинство денег. Я, скромный работник, получал тогда у маркиза 350 долларов в неделю и считал, что хорошо оплачен, но, как выразился один из близких секретарей маркиза, "à chacun son tour".

В репертуар входили два балета: Д. Лишина "Коррида" и "Заколдованная мельница", которые часто давались в программе. В "Корриде" выделялись Николай Положенко и Серж Головин. Танцевались также балеты Анны Рикардо, один из которых, основанный на португальской легенде, назывался "Донья Инес де Кастро" и пользовался большим успехом. Главные роли в нем исполняли Розелла Хайтауэр и Джордж Скибин. В балете Баланчина "Ночная тень" Марджори Толчева и Джордж Скибин являлись лучшими исполнителями, каких я видел до сих пор.

После моего ухода из London Festival Ballet там не сидели сложа руки. На мое место пригласили знаменитых дягилевцев — Чернышеву и Сергеева. В первую очередь им поручили вновь поставить все фокинские балеты, которые ставились мною, и моя фамилия сразу исчезла с программ London Festival Ballet. Сергеев помнил, как эти балеты шли еще у Дягилева, с переделками, возмущавшими Фокина, и вот он и Чернышева постарались их поставить так, как они якобы были ставлены у Дягилева. Лишину предложили переделать мой первый акт "Щелкунчика", и вообще с корнем вырвать "старое влияние Березова". Но "Эсмеральду" — только второй акт — оставили в моей постановке. С яркими костюмами средневековья, с хорошим дивертисментом и, главное, с па-де-де Эсмеральды и Поэта (в ролях которых выступали теперь Марлен Берр и Гильпин) он годился и как первый, и как второй, и как третий балет вечерней программы. Переделки фокинских балетов успеха ни у танцоров, ни у публики не имели, и через год, когда Чернышева и Сергеев перешли в Королевский балет, Брунсванг вызвал меня, чтобы я вновь срепетировал эти балеты, как они шли до переделок. Труппа встретила меня

громкой овацией, а "Петрушка", "Шехеразада", "Половецкие пляски" и "Сильфиды" приняли опять прежний вид и благополучно держатся до сегодняшних дней.

С 12 апреля по 12 мая длился сезон в Барселоне в театре Luceo. В Барселону я пригласил к себе в гости сестру Ирину, которая после войны жила, как и брат Иван, в Западной Германии. Другой брат, Платон, и сестра Надя жили с семьями в Буэнос-Айресе.

Сезон у маркиза как-то не клеился: то мы выступали во французской провинции, то опять сидели в Париже и репетировали. Маркизу предложили турне по Южной Америке за очень маленькую сумму денег. Я энергично советовал принять предложение, ибо маркизу так или иначе надо артистам платить, а контрактов на выступления очень мало. Лично мне хотелось попасть в Буэнос-Айрес повидать сестру и брата. Сезон открывался 23 октября и закрывался 18 ноября. В то время из Европы в Южную Америку летали через африканский аэродром в Дакаре. Через два часа стюардессы вдруг стали закрывать занавесками окна самолета с правой стороны. Кто-то поинтересовался взглянуть за занавеску и увидел, что один из четырех моторов в огне. Поднялась паника. Раздался голос капитана, сказавшего, что один из моторов отказывается работать, но ничего опасного нет. Однако, до Бразилии — два часа сорок минут, а обратно до Дакара — два часа двадцать минут, поэтому он решает лететь назад. После капитанской речи нам предложили любые напитки в любом количестве.

В труппе все показывали, что нисколько не боятся происходящего, но как только появились бары на колесиках, все непьющие набросились на вина, и через полчаса одним казалось, что мы гибнем, другим, что мы погибли, а третьи чувствовали себя уже в раю.

Тем временем загорелся второй мотор, пропеллеры бездействовали. Положение становилось не на шутку серьезным. Всех привязали к креслам и прибавили шампанского. Мы приземлились в Дакаре, когда из четырех

моторов действовал уже только один. На аэродроме нас встретили с гудками и сиренами, и веселая черная команда стала обливать какой-то белой жидкостью горящие моторы, не забывая сбрызнуть и пассажиров, пьяных, растрепанных и размазанных, в спешном порядке спускавшихся с самолета. Нас отвезли в лучший отель Дакара, расположенный на пляже, где опять предложили пить и есть, сколько угодно. Каждому дали по хорошей комнате, и через полчаса вся труппа дико веселилась на пляже и в бассейне, наслаждаясь едва не ускользнувшей молодой жизнью. На следующий день мы улетели с другим самолетом.

25 октября нас сразу с аэродрома повезли в театр. Импрессарио настаивал, чтобы мы дали спектакль, иначе он порвет с нами контракт. Декорации и костюмы тоже опаздывали. Зато вся знать Буэнос-Айреса, напомаженная, разодетая, в бриллиантах, уже заполняла зал. Было ясно, что эту публику нельзя отправить домой, не дав им хоть что-нибудь, чтобы оправдать их сборы и приготовления к нашей премьере. Костюмы для тренировки везде с нами, и было решено, что сначала расскажется публике о нашем приключении, потом я покажу на сцене экзерсисы, которые даются всегда перед спектаклем для разогрева, после чего балерины станцуют па-де-катр, а потом в тренировочных костюмах мы дадим ''Половецкие пляски''. Танцоры настолько устали от всех эмоций и перемен климата, что еле могли выжать из себя что-то вроде танца, однако публика осталась довольной всем виденным и слышанным. Я был рад в последующие дни разыскать сестру. Они жили очень бедно, и я оставил им все наличные деньги.

В один из дней в Буэнос-Айресе маркиз попросил меня проэкзаменовать танцовщицу, которая прилетела сюда с родителями специально из Рио-де-Жанейро в надежде поступить в труппу. Танцовщицей оказалась пятнадцатилетняя пухленькая девочка с быстрыми умными глазами, которую звали Марсия Хайдэ. Она обладала

хорошей грацией, но была слишком полна. Родители же безусловно были уверены, что дочку примут, иначе не пустились бы в такой дальний путь. Я был совершенно откровенен и посоветовал девочке сначала потерять вес, а потом, весной, приехать к нам в Канны, где я наверняка возьму ее в труппу.

Дирекция местного знаменитого театра "Колон" попросила меня и двух наших балерин — Хайтауэр и Скуратову — принять участие в жюри комиссии, решающей судьбу танцоров этого театра. Обсуждался вопрос: могут ли танцоры в сорок — сорок пять лет претендовать на право выступать в балетных представлениях? В балете театра насчитывалось восемьдесят человек, половине которых перевалило за сорок. Придя к себе в отель, я застал двух совершенно лысых мужчин с животиками и трех пышных дам лет за пятьдесят, поджидающих меня с букетом цветов. Это общество сразу меня атаковало. Один из мужчин оказался русским и повел длинную речь о том, что у него шестеро детей и что завтра на комиссии я должен сделать все, чтобы его оставили в театре. Он обещал всю жизнь со всей семьей молиться Богу о моем здоровье. В таком же духе выступили и пышные дамы, кокетничая и распуская все женские чары, приобретенные за долгую жизнь в театре.

На следующий день, когда мы сидели за столом комиссии, перед нами появилось человек тридцать пожилых людей в балетных тренировочных костюмах, причем каждый старался замаскировать дефект, портивший его фигуру. Я не знал, куда спрятать глаза, чтобы не видеть трагедию стареющего человеческого тела. Мы стали советовать дирекции по возможности подыскать им какую-нибудь работу в театре и не увольнять. В благодарность мы получили грандиозный, по всем правилам, глубокий балетный реверанс стареющей танцовщицы с геркулесовыми ляжками и мощной грудью. Эта сцена осталась у меня в памяти на всю жизнь, показав мне другую, трагическую сторону медали нашей профессии.

Вернувшись из Южной Америки в Европу, я задержался на несколько дней в Лондоне, где 1 января 1957 года Светлана танцевала в балете "Пагода принц", специально поставленном Джоном Гранко для нее и Давида Блера. Замечательную музыку для этого балета написал Бенджамин Бриттен, а сюжет — сам Гранко. И Светлана, и Блер были в своих ролях превосходны. Этот первый трехактный балет Гранко выдвинул его как хореографа в первые ряды тогдашних хореографов. Так мы начали 1957 год.

ШТУТГАРТСКАЯ ЭПОПЕЯ

После нашего южно-американского турне я хотел остаться на четыре недели в Лондоне, но получил приглашение из Государственного театра Württemberg в Штутгарте (якобы по рекомендации самой Нинет де Валуа) приехать на переговоры в связи с реорганизацией тамошнего балета и стать его директором.

Я был доволен своим положением у маркиза, но в этом приглашении упоминалась фамилия де Валуа, причем меня привлекала марка "Государственный театр". Вообще-то я поехал в Штутгарт больше из любопытства. Когда меня ввели в кабинет директора театра, профессора доктора Эриха Вальта Шефера, я сразу пожалел, что так легкомысленно отнесся к его приглашению. Меня встретил широкоплечий седеющий господин среднего роста в очках с двойными стеклами, и мягким баритоном заговорил со мной на хорошем французском языке. В этом разговоре с хорошо закамуфлированными вопросами профессор хотел проэкзаменовать мои знания о балете. Он то и дело подходил к книжным полкам и без промаха находил нужную книгу или журнал, чтобы уточнить имена и даты балетов, композиторов, художников и пр. Чем больше мы говорили, тем больше я чувствовал, что целиком всасываюсь в предложенное мне новое

дело. Профессор Шефер попросил меня остаться в Штутгарте на несколько дней, чтобы познакомиться со здешним балетом, с театром и его публикой, а потом высказать мнение о том, как бы я мог дать штутгартскому балету новое направление. Как жаль, что когда я пишу эти строки, в феврале 1982 года, профессора Шефера уже нет. Он умер несколько месяцев тому назад, а у меня была надежда, что господин Шефер сможет прочесть эти слова и вспомнить то время, когда он решил дать своему балету толчок вперед, принесший ему потом мировую славу.

Штутгартская труппа состояла из двадцати четырех человек, с балетмейстером и солистами, у которых была железная дисциплина. Уроки делали довольно примитивным способом, балетные спектакли давали два раза в сезоне при пониженных ценах и плохих сборах. Остальное время труппа танцевала в операх и опереттах. Это очень меня огорчило. К тому же я знал, как скептически немцы относятся к классическому балету. Вот почему мне было трудно решить, что посоветовать профессору Шеферу. Однако, имея долголетний опыт с публикой Англии, Америки и Франции, я знал, что единственный выход — это строить базу на классических балетах, как сделали в Royal Ballet и London Festival Ballet, чтобы привлечь постоянного зрителя. Потом уже можно ставить и современные балеты.

Первый этап — четыре года. Каждый год по две или три новых постановки. Всего — минимум тридцать спектаклей в сезоне. Труппу надо немедленно увеличить с двадцати четырех до сорока пяти человек. Первой постановкой пойдет "Спящая красавица". Последующими — "Жизель", "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и популярные балеты из репертуара Дягилева.

Когда через два дня я пришел к профессору Шеферу с моим планом, у него в кабинете заседали его помощник и заместитель доктор Баденхаузер, главный постоянный режиссер опер доктор Пульманн, главный дири-

жер профессор Лайхнер и заведующий художественной частью и прессой доктор фон Хинденбург. Такое скопление докторов и профессоров меня смутило. Настоящая академия! Профессор Шефер попросил меня высказать мое мнение. Я стал бойко, но с сильным русским акцентом, излагать свои взгляды. Вначале у всех пробежала по лицам мрачная тень. Война с СССР еще не была забыта, а Штутгарт на три четверти лежал в руинах. Но вскоре меня начали перебивать и вставлять собственные пожелания. Доктор Баденхаузер, бывший при Гитлере, как Караян в Италии, культурным представителем в Норвегии, высказал свое пожелание о будущем балета в виде цилиндра в одной руке и палки в другой. Он ни под каким видом не признавал старых классических балетов, да еще под музыку Чайковского!

В таком духе противоречили все. И не мудрено — ведь в Германии давно уже укоренился танец немецкой босоножки Мери Вигман, которая не только хорошо танцевала, но и вела отличную пропаганду против классического наследства.

Профессор Шефер тихо барабанил карандашом по столу и сквозь толстые очки смотрел на меня прищуренными глазами, словно изучая, говорю ли я то, во что глубоко верю, или попросту болтаю языком, как все присутствующие. В конце концов я обрел спокойствие и стал вдохновенно описывать опыт балетных трупп Англии, Америки и маркиза де Куэваса, процветающих, показывающих широкой публике то, что она хочет — классические балеты с хорошими сюжетами и хорошей музыкой. Слушатели стали поглядывать на часы, давая понять, что я рассказал больше, чем их интересовало. Профессор Шефер их отпустил, попросив серьезно обдумать мое предложение и высказаться за или против. Оставив меня одного, профессор Шефер решительным голосом сказал, что он со мной целиком согласен, но у него не найдется достаточно средств, чтобы увеличить балет на двадцать человек и изготовить декорации и кос-

тюмы. Однако он все хорошо обдумает и надеется в течение месяца дать положительный ответ.

Я вернулся к маркизу в Канны, и мы начали репетировать, как всегда. 9 февраля открылся наш сезон в Каннах в театре Казино, продолжавшийся до 21 апреля. В начале сезона приехала вновь пухленькая девушка со своими родителями из Рио-де-Жанейро. Они обратились ко мне, как к старому другу, и все сразу уладилось: я посоветовал поехать на шесть месяцев в Лондон и поступить в Royal Ballet, предложив контракт с 1 сентября. Счастливое семейство уехало в Лондон.

Я объявил маркизу о своем решении покинуть труппу. Тот немедленно предложил мне прибавить жалованье, но когда понял, что его уговоры ни к чему не приведут, то заявил, что меня не отпустит, а лишь даст восемь месяцев отпуска, после которого будет вправе требовать меня обратно. На том и порешили. Танцоры выражали мне большую симпатию и жалели о моем уходе. Я был для них Папой — везде, для всех и повсюду.

Мое жалованье в Штутгарте оказалось наполовину меньше прежнего, зато была возможность найти удобную квартиру и жить на одном месте. В Штутгарт я привез четырех балерин: Ксению Палла — дочь русских эмигрантов, Дульче Аная — кубинку, Хельгу Хайнрих — немку, и Мишлин Форе — француженку. Из мужчин со мной приехали два солиста из труппы маркиза — англичанин Рональд Баркли с аргентинцем Хуго Деллавалле и американец Рой Барр. Моей помощницей стала Наталья Келеповская, работавшая со мной еще в "Русском балете Монте-Карло". Я оставил в труппе местных танцоров: Гизелу Эрхардт, Жоржетту Тзенгерид, Аннелизе Мэрке и хорошего характерно-мимического танцора Карла Проста. Почти вдвое увеличенная и обогащенная представителями разных национальностей труппа сразу приняла новый облик. На "легких парусах" я энергично понесся репетировать "Спящую красавицу" и несколько оперных балетов. Декорации и костюмы сделали по ма-

кетам лучшего театрального художника Leni Bauer-Ecsy, балет хорошо срепетировали, и успех нашей премьеры можно было буквально сравнить со взрывом бомбы.

Профессор Шефер пригласил меня на следующий день после премьеры к себе. Его дом находился на горе, с видом на весь Штутгарт. Город лежал под снегом, который маскировал развалины. В уютном кабинете, совершенно по-семейному и по-дружески, принял меня профессор. Он сразу сказал:

— Вы превзошли Вашей премьерой все ожидания и мои, и всего Штутгарта. Вчера у нас родился балет, каким я хотел его видеть. Говорите, что нужно сделать, чтобы он продолжал развиваться и дальше. Я к Вашим услугам и сделаю все, что от меня будет зависеть.

Я был глубоко тронут и еле удержался от слез. Я ответил, что при театре необходима балетная школа, где ученики станут заниматься классическими упражнениями, чтобы затем участвовать в спектаклях. Профессор сказал, что все будет сделано.

Потом мы перешли в гостиную, где вместе с госпожой Шефер находились два господина с рождественскими подарками, которые они положили на крышку рояля. Эти жизнерадостные господа были тенорами штутгартского театра. Один из них, Вольфганг Винтгассен, был вагнеровским певцом, а другой, совсем еще молодой и громко хохочущий Виндерлинг, считался лучшим моцартовским тенором. Эти два кумира оперной публики постарались показать мне теперь, что мы отныне хорошие коллеги и друзья, и этому принципу никогда не изменили.

У меня появились хорошие, искренние друзья из старых вюртембергских семей, которые самыми тесными узами были связаны с культурой и историей этого города. Хочется сказать о господине Гансе Вильманне и его жене Фриде. Ганс издавал тогда еженедельник Stuttgarten Wochenblaten. Эта коренная штутгартская семья выражала мне симпатию не только от себя лично, но и

как бы от лица всего города. И в этой семье, и в семье профессора Шефера я видел продолжение лучших культурных немецких традиций и ту преемственную нить, которая связывала современность с замечательными достижениями прошлого.

С 1 января 1958 года балетная школа при штутгартском Государственном театре начала действовать. Во главе ее стояла моя помощница Наталья Келеповская. Весь театр только и говорил что о переменах. Помощник директора, доктор Баденхаузер, который раньше видел желаемое будущее балета как цилиндр в одной руке и палочку в другой, теперь предложил читать балетным студентам лекции по истории балета. Я с удовольствием принял его предложение, но, к сожалению, наш балетовед скоро выдохся и прекратил педагогическую деятельность, предпочитая действовать в креслах своего кабинета. Профессор Шефер познакомил меня с композитором Карлом Орффом, который спросил, не найдется ли у меня интересного сюжета для балета, так как он охотно напишет к нему музыку. С каждой новой постановкой публика проявляла все возрастающий интерес ко всему, что происходило в штутгартском балете. Теперь после спектаклей танцоров поджидала у выхода небольшая толпа: у солистов появились личные поклонники.

У Ксении Пала и Дульче Аная, которые чередовались в главной роли "Спящей красавицы", вместо десяти спектаклей стало двадцать шесть.

Я готовил следующую премьеру, которая назначена была на самый конец сезона. На большую трехактную продукцию у театра не оставалось средств. Я поставил три одноактных балета: абстрактный "Полевой бал" на музыку Эммануила Шабрие моей хореографии, "Паганини" на музыку Рахманинова по хореографии Фокина и "Поцелуй феи" Стравинского моей хореографии. Их премьера состоялась 5 июля 1958 года. В течение последней недели сезона их показали трижды. Мы закончили

сезон — от Рождества до июля — необыкновенной для Штутгарта цифрой: 29 балетных спектаклей!

Перед закрытием сезона приехала Светлана со своим партнером Филипом Чатфилдом. Они танцевали два спектакля "Спящей красавицы" и необычайно взволновали здешнюю публику, увидевшую на своей сцене лучших солистов Royal Ballet.

Однако, мне стало все труднее ладить с доктором Баденхаузером. Он во что бы то ни стало хотел быть соучастником штутгартского балетного "возрождения", но мне приходилось отвергать все его предложения, так как, на мой взгляд, они не имели под собой здоровой почвы. Тогда он завел дружбу с моими солистами, приглашал их в кабинет, угощал вином, пытался доказать, насколько неправ Березов. Танцоров это смущало, они стали подумывать, не веду ли я опасную политику для себя и для всего балета. Я никогда в жизни не занимался интригами. Наблюдая, как здесь один другого подсиживает, я терал энергию и охоту работать. За долгие годы я привык разъезжать, и сейчас, сидя на одном месте, в свободные от репетиций часы не знал, что с собой делать. Хотелось куда-то ехать, но куда? В таких случаях я шел на вокзал, чтобы неможко потолкаться в толпе уезжающих. По натуре я не тщеславен, и порой мои громкие успехи в постановках и хореографии превращались для меня в настоящее бремя. Работая, я увлекаюсь и отдаю себя всего, но когда балет поставлен, я к нему остываю и вижу лишь сплошные недостатки. Однако начатая мною в Штутгарте балетная весна продолжалась. На следующий сезон 1958-59 года были запланированы новые постановки: "Жизель" и "Щелкунчик". На роль Жизели пригласили из Копенгагена Маргариту Шане, а принца Альбрехта исполнял Георг Зорич. Показывая три различных балета, мы до 9 января дали двадцать спектаклей.

9 января состоялась премьера моей постановки "Щелкунчика", окрещенного здесь потом "золотым те-

ленком". "Щелкунчик" шел в дни, назначенные по программе, а кроме того им затыкались дни, когда случайно в последнюю минуту вдруг отменялся оперный спектакль. Все представления "Щелкунчика" тотчас распродавались. Отсюда и название "золотой теленок".

В начале этого сезона штутгартские любители балета под громкие фанфары novoначатой эпохи создали балетный клуб, назвав его "Балетным обществом Новерра" в честь жившего в Штутгарте балетмейстера, который написал двенадцать писем о балете, чем запечатлел себя навеки. Новерр работал здесь при короле Вюртембергском в 1760-1767 годах. Общество подчеркивало, что оно создалось исключительно из-за начавшейся в Штутгарте новой эпохи балета.

Еще до Рождества танцевать Жизель и Аврору ("Спящая красавица") была приглашена из Парижа Иветт Шовире.

Благодаря огромному успеху балетных спектаклей, дирекция театра решила дать четыре спектакля с новой программой в огромном концертном зале "Лидер Халле". Я поставил три новых одноактных балета: "Сильфиды" по Фокину, абстрактный балет собственной хореографии "Концерт" Бруха и "Половецкие пляски" по Фокину. Эти спектакли дали дирекции возможность оплатить целую постановку оперы. Сезон 1958-59 года мы закрыли, дав сорок представлений. Горожане часто останавливали танцоров на улице и осыпали их комплиментами. "Балетное общество Новерр" процветало, собираясь на доклады о балете и о танцорах всех веков и наций.

Я обратил особое внимание на юную танцовщицу Дорис Каупп. У нее великолепно получался прыжок и танец на носках. Ее мать была француженкой, а отец немцем. Темно-рыжая, маленькая, живая, Дорис скорее напоминала француженку, чем немку. Жила она впроголодь, ибо отца потеряла на войне, а мать жила на скромную пенсию вдовы. Я стал помогать талантливой девуш-

ке в занятиях. Как это часто бывает в жизни, попечение молодого таланта кончилось тем, что мы больше не расставались, несмотря на колоссальную разницу в летах. Дорис была счастлива, что нашла учителя, отца и друга, а я рядом с молодой, жизнерадостной и веселой девушкой почувствовал себя в два раза моложе. Скоро мы перестали замечать разницу в годах.

В начале сезона 1959-60 годов я был занят подготовкой танцев сразу к трем операм, а доктор Баденхаузер, ссылаясь на то, что у меня недостаточно времени, пригласил молодого немецкого танцора Ульбрехта, только что бежавшего из ГДР, и предложил ему постановку, которую я должен был ставить через год — балет Прокофьева "Ромео и Джульетта". Ульбрехт вместе с Баденхаузером дал спектакль, где смешивалось немножко классики с бесконечными шествиями и процессиями. После четырех представлений балет сняли с репертуара. Доктор Баденхаузер надолго притих в своем кабинете, а я потерял возможность в скором будущем подготовить балет, который давно мечтал поставить.

Мне пришлось еще раз выручать театр из финансовых затруднений и опять готовить балеты для выступлений в концертном зале. На этот раз я поставил абстрактный балет "Balomento" на музыку Джузеппе Тартини, "Видение розы" Вебера, "Шехеразаду" Римского-Корсакова, "Duo" на музыку Бенджамина Бриттена и "Golden Youth" на музыку Мортона Гоульда. Спектакли были распроданы, и театр вновь пополнил опорожненную кассу.

29 апреля 1960 года я дал премьеру "Лебединого озера". Эту свою постановку я ставлю до сих пор повсюду, и сегодня любители балета и танцоры считают ее одной из лучших, благодаря переданной всему сюжету логике. Я соединил первый и второй акты, чтобы оставалось только два перерыва. Наибольшей удачей явился русский танец в дивертисменте третьего акта, для которого Чайковский написал музыку, никогда раньше не

используемую. Я перестроил также по собственной концепции четвертый акт. Получилось представление, которое я сам считаю хорошим. В первом спектакле главную роль Одетты-Одилии прекрасно танцевала Ксения Пала, потом приезжала танцевать Светлана со своим партнером. Профессор Шефер сказал ей, что никогда не видел лучше балерины. Танцевали тогда также Марджори Толчева и Мелисса Хэйден. Штутгарцы гордились своим "Лебединым озером".

В то время Джон Гранко ставил "Пагода принц" в "Ла Скала", где Светлана и Дэвид Блер исполняли главные роли. Проезжая из Лондона в Милан, Светлана заехала на несколько дней в Штутгарт, чтобы со мной повидаться, и преподнесла мне ко дню рождения чек на 1500 долларов на покупку автомобиля. Деньги эти она скопила во время последнего турне по США с Royal Ballet. Я всегда ухитрялся по-мальчишески тратить все жалованье, и Светланин подарок оказался как никогда кстати: я сразу приобрел новенький, голубого цвета "Carman Ghia" и отправился на нем с Дорис на летние каникулы. Мы не спеша поехали, пересекая юг Франции, в Барселону, откуда на пароходе поплыли на Майорку. Это были самые лучшие каникулы, какие я мог себе разрешить до сих пор.

Начинался сезон 1960-61 года. Из-за финансовых и всяких других затруднений задерживалась намеченная к постановке премьера "Коппелии". Тогда я предложил дирекции взять из "Ла Скала" декорации и костюмы "Пагода принц" и пригласить Джона Гранко, чтобы тот немедленно сделал балет. Сначала он категорически отказался, но все же я его уговорил. С декорациями и костюмами из Милана все быстро уладилось.

Джон прилетел, и репетиции начались. Теплый прием, устроенный ему дирекцией и всеми танцорами, так Джону понравился, что он с первого дня стал чувствовать себя как дома. Ему были по душе стабильная и традиционная атмосфера театра и профессор Шефер с его

обаянием и эрудицией. Премьера "Пагода принц" состоялась в Штутгарте 6 ноября 1960 года. Джон признался мне, что завидует моему положению и что всю жизнь мечтал быть руководителем балета, подобного штутгартскому.

Последующие события не заставили долго ждать. Я получил от маркиза телеграмму: "Я тяжело болен. Прикован к постели. Немедленно приезжай и вступай в должность балетмейстера. Жена отказывается субсидировать труппу, если ты немедленно не вернешься. Подумай о наших 60 танцорах, которые могут лишиться работы..."

Появилось ощущение, что меня окатило крутой морской волной. Хотелось немедленно кинуться в Париж, где труппа маркиза готовилась к постановке "Спящей красавицы", которую я уже начал репетировать в последнее время работы у маркиза. После меня постановку продолжала Бронислава Нижинская, но перед последними репетициями вдруг покинула труппу, и тогда спешно пригласили Роберта Хельпманна, который коегде немного переставил и сократил мизансцены. В таком виде "Спящую красавицу" преподнесли парижской публике. Постановка отличалась замечательными костюмами и декорациями, нарисованными молодым художником Лорреном. У меня, уже начинающего привыкать к оседлости, сразу же проснулось привычное чувство бродяжничества, жажда передвижения. Я хотел быть там, где действительно нуждались в моем присутствии. И тут же подумал: "Но ведь мне повезло! Сейчас тут находится Гранко, который с успехом может меня заменить. Профессор Шефер наверняка согласится".

Джон сначала смутился и стал отнекиваться, говоря, что не смеет отнимать у меня такую замечательную должность, но увидев телеграмму, расчувствовался и даже прослезился. Профессор Шефер принял мое предложение без особого энтузиазма и посоветовал вначале на день или два съездить в Париж и посмотреть, как на са-

мом деле там обстоят дела. После чего поделился со мной личными соображениями. Его, оказывается, пригласили руководить Венской оперой, он хочет туда поехать, но попробовать одновременно на год остаться директором в Штутгарте. Мы очень тепло расстались.

В Париже труппа давала "Спящую красавицу" в Театре на Елисейских Полях. Не успел я появиться за кулисами, как меня бросились приветствовать танцоры. Поначалу я их даже не узнал — все были в костюмах и под гримом, так как я пришел перед спектаклем. И сразу я почувствовал себя в атмосфере большой родной семьи, которой мне так не хватало в Штутгарте. Никаких сомнений в выборе у меня больше не оставалось.

Вернувшись в Штутгарт, я, к своему глубокому огорчению, узнал, что Гранко почему-то понадобился другой способ заменить меня в Штутгарте. Пока я отсутствовал, он подобрал группу здешних танцоров — таких, как Рой Барр, взятый мною в труппу лишь по настойчивой просьбе Эрика Бруна, Грей Андерсон и несколько других. Все они избегали встречи со мной и злобно накидывались на всякого, кто мало-мальски выражал мне симпатию.

Однажды во время моей репетиции в зале появился Гранко с группой этих танцоров и заменивший Баденхаузена доктор Пульманн. Обратившись к Гранко, Пульманн торжественно объявил:

— С первого января дирекция театра предлагает вам стать руководителем балета!

— Я принимаю! — напыщенно ответил Гранко.

Раздались жидкие аплодисменты, и вся толпа весело вывалилась из зала.

Я не верил собственным ушам и растерянно смотрел на окружающих. Пораженные танцоры кинулись ко мне с расспросами. Я поблагодарил их за теплое отношение и, не в силах продолжать занятия, освободил их от репетиции.

30 декабря в репетиционный зал пришел профессор

Шефер со всеми секретарями и помощниками и в теплой речи выразил мне огромную благодарность за все, что я сделал для штутгартского балета. Он сказал также, что очень неохотно меня отпускает и вручил на память подарок от театра — дорогую толстую книгу об истории Штутгарта с личной приписской: ''За создание Вами в Штутгарте новой балетной эры''. Мы с профессором обнялись.

Впоследствии Гранко завершил начатую мною работу, что заняло приблизительно тоже около четырех лет. Но все созданное мною он не признавал и преследовал всех, кто ему об этом напоминал. Да простит его Бог за чрезмерное тщеславие!

Я забрал из Штутгарта все необходимое для дальнейшей работы: фильмы штутгартских постановок, музыкальные клавиры и т.д. Дорис тоже уезжала. Для усовершенствования в танце я устроил ее на стипендию в школу при Royal Ballet в Лондоне, и до Парижа мы ехали вместе.

ОПЯТЬ У МАРКИЗА

В Париже рядом со знаменитой ''Мулен Руж'' перед дверьми отеля мы оставили закрытый автомобиль всего на пять минут, пока справлялись насчет удобной комнаты. Когда мы вернулись, чтобы выгрузить чемоданы, то нашли дверь автомобиля взломанной и весь багаж украденным. Самое ужасное, что воры унесли ценнейшие для меня чемоданы с фильмами всех штутгартских постановок: ''Лебединого озера'' и ''Спящей красавицы'' в исполнении Светланы и ее партнера, а также другие мои балеты. Во втором чемодане находились клавиры с хореографией всех балетов, которые я уже ставил или собирался ставить. Объявления в газетах, обещания хорошего вознаграждения остались без ответа.

В Париже труппа маркиза продолжала до 19 февра-

ля 1961 года давать ''Спящую красавицу'' с той только разницей, что в главных ролях танцоры менялись. Партию Авроры исполняли Розелла Хайтауэр, Нина Вырубова, Женя Меликова, а принца исполняли Серж Головин, Николай Положенко и Андрей Проховский. С первого же дня я обратил внимание на молоденькую солистку, очень худенькую, танцующую соло с замечательным вкусом. По большим, живым глазам я узнал бывшую толстушку из Рио-де-Жанейро, Марсию Хэйде. Зная, как тяжело продвигаться ей у маркиза, я посоветовал девушке съездить в Штутгарт и показать свое мастерство перед Джоном Гранко. Предчувствие меня не обмануло. Марсия вернулась из Штутгарта с контрактом на роли примы-балерины. Ныне она балерина с мировым именем.

Очередной сезон должен был начаться в Каннах, и здесь 22 февраля 1961 года нам сообщили скорбную весть — только что в своей каннской вилле скончался наш милый, добрый маркиз. Танцоры плакали. Шла речь не только о потере хорошего человека, многолетнего директора труппы, но немедленно встал вопрос о самом ее существовании. Материально труппа зависела от жены маркиза, Маргарет, урожденной Рокфеллер. Зная, что она мне доверяла, я сразу же стал развивать перед ней планы на будущее, говоря, что труппа сейчас в замечательном состоянии и что во имя покойного маркиза нужно продолжать его дело. Однако, судя по всему, Маргарет не разделяла моего мнения. Я понял, что она в скором будущем попытается от нас избавиться. Как мог, я старался поддерживать у танцоров хорошее настроение и веру в будущее.

7 апреля мы открыли сезон в Luceo. На этот раз он проходил не так, как раньше: не было любящего Барселону маркиза, которому так хотелось, чтобы труппа особенно ценилась публикой, говорящей на его родном языке. У артистов пропал подъем, исчез энтузиазм. Все представления проходили по шаблону, в условиях типичной для артистов рутины долгого турне по провинции.

Летний парижский сезон, начавшийся 1 июня, был интересен тем, что в то же самое время в Опере выступал приехавший из Ленинграда знаменитый Кировский балет. Парижские балетоманы сразу заговорили о таких молодых советских танцорах, как Алла Сизова, Наталия Макарова, Алла Осипенко, Юрий Соловьев и Рудольф Нуреев. Кировцы проявили к нашим представлениям не меньше интереса, чем мы к их. Каждый вечер у нас в зрительном зале появлялась группа кировских артистов с большим количеством административного персонала. Для них большим сюрпризом явилась "Спящая красавица" в новаторском исполнении и новаторских декорациях и костюмах художника Лоррена. Например, злую фею Карабос исполняла Ольга Одобаш, для которой вся хореография была поставлена на носках — довольно сложно технически, но куда более эффектно, чем по старой традиции. В Кировском балете эту роль все еще исполнял мужчина. В каждом антракте кировцы энергично обсуждали все, что видели. Вернувшись в Ленинград, они сделали фильм "Спящая красавица", вышедший на экраны в 1964 году, где роль феи Карабос исполняла Наталья Дудинская, хорошо запомнившая Ольгу Одобаш. Вообще этот фильм целиком построен на базе того, что кировцы видели в нашем балете.

Во время парижских выступлений кировцев наша труппа пригласила их художественного директора Константина Сергеева и Наталию Дудинскую, чтобы дать нашим танцорам несколько уроков. Они охотно согласились. К сожалению, Дудинская всегда опаздывала на занятия, задерживаясь по дороге то у парикаахера, то в знаменитых парижских магазинах.

Среди кировцев в Париже оказался человек, который серьезно нарушал строгую дисциплину "пансиона благородных девиц". Это был Рудольф Нуреев. Всему Парижу сразу стало известно, что у кировцев есть непокорный сын. Он не спал по нескольку ночей подряд, его видели в кабаре, в ночных клубах, в парижских трущо-

бах, где он проводил время до самого утра. Танцовщика всюду сопровождала молодая привлекательная миллионерша кубинка. Администрация Кировского балета делала Нурееву внушительные выговоры и наставления, друзья и коллеги просили его остепениться, говоря: "Рудик, ведь вернемся домой, и тебе здорово нагорит! Подумай, что ты делаешь!" Но Рудик посылал их всех к чертовой бабушке, употребляя весьма нецензурные выражения, и повторял:

— Живу один раз, а что будет потом — наплевать!

Когда кировцев привезли в автобусах на аэродром Орли, чтобы лететь в Лондон, Нуреева отозвал в сторону Константин Сергеев и вежливо ему заявил, что тот немедленно должен отправляться в Москву, где ему необходимо исполнить два спектакля, после чего он сможет вернуться в Лондон. Однако Нуреев тут же смекнул, что его просто отправляют назад в СССР и в наказание за плохое поведение он никогда уже не сможет выступать за границей. Нуреев заорал на английском языке: "Help!" и кинулся в ближайший полицейский участок, куда сразу подоспела его приятельница кубинка и помогла объяснить полицейскому, что он не хочет возвращаться в Москву. Нуреев попросил политическое убежище и его получил.

Парижские газеты были полны описаний этого происшествия. Нуреев на три дня исчез, а на четвертый меня предупредили, что через два дня в нескольких наших спектаклях Нуреев будет танцевать Синюю Птицу и я должен устроить ему репетицию. В день спектакля театр был переполнен. Нуреева встретили бурными аплодисментами в партере и громким свистом и воем на галерке. Он танцевал так, что невозможно было отвести глаз. Каждая его поза, каждый пируэт доставляли огромное эстетическое наслаждение. Вдруг с галерки раздался вой, на сцену полетели маленькие вонючие бомбы и град мелких монет: парижские коммунисты устраивали протест "изменнику родины". Мелкие монеты символизировали

продажу себя капиталистам. Весь партер, стоя, начал в исступлении кричать "браво!", а с галерки продолжали лететь вонючие бомбы и разменная монета. Казалось, этому не будет конца. Наконец, дали занавес.

Я по своему обыкновению заходил после спектакля в уборные артистов и говорил им несколько слов об их исполнении — хвалил и подбадривал или делал маленькие замечания. На этот раз я вошел в ложу Нуреева. Он, как был в костюме Синей Птицы, так и сидел, не снимая грима и смотрел неподвижно в зеркало в одну точку. Даже сквозь грим было видно, что он бледен, как полотно и весь дрожит. Я не сразу сумел подыскать нужные слова, но справился с волнением и объяснил Рудольфу, что талантам такого масштаба, как у него, нечего бояться политиканствующей мафии. Для него двери всех театров мира раскрыты настежь.

На следующий день Нуреев с огромным успехом танцевал главную роль принца Дезире с Розеллой Хайтауэр, и так продолжалось чуть ли не в каждом спектакле до конца сезона.

С тех пор прошло двадцать лет. За это время имя Нуреева стало легендарным. Он не перестает почти ежедневно танцевать. Его знают сцены всего мира. Станцевав тысячи и тысячи спектаклей, он ни разу не изменил своему принципу выкладывать в танце все свои физические и творческие силы, где бы и перед кем он ни танцевал.

После парижского сезона мы опять двинулись в путь, давая спектакли в Виши, Женеве, Довиле, Биаррице, Сан-Себастьяне, после чего отправились в небольшое турне в Израиль, начиная с Тель-Авива. На всех наших спектаклях залы были переполнены. Имя Нуреева не сходило у публики с уст. Он выступал в каждой программе.

Пользуясь свободным днем, я поехал в автобусе для паломников осматривать святые места, о которых читал еще в Законе Божьем в далеком детстве, и они мне показались знакомыми и родными. Единственное,

чего не хватало, это увидеть Его Самого, в белых одеяниях, здесь где-нибудь на ближних холмах.

Недалеко от Мертвого моря нам показали один из первых киббуцев. Мне, выросшему среди евреев, и в голову не приходило, что они могут добровольно стать фермерами-земледельцами. Я наблюдал за одним молодым крепким израильтянином, который ловко перебрасывал вилами сено в кормушки для коров. Он взглянул на меня умными глазами, и мне стало неловко за мое откровенное любопытство. Мы осматривали общую столовую и кухню, которые в точности походили на американские армейские столовые, где в смысле устройства и чистоты невозможно ни к чему придраться.

После смерти маркиза новых балетов больше не ставилось, что явилось для всех танцоров знаком, что труппа все же закроется. Они заблаговременно стало подыскивать себе работу в других местах и мало-помалу стали расходиться. Ушла главная балерина Розелла Хайтауэр и несколько человек из кордебалета. Моей задачей было найти им замену. Предстояли ответственные выступления в Каннах, Барселоне, Вене, Неаполе, Брюсселе, Амстердаме, Афинах, а танцоров найти было трудно: они не хотели поступать в труппу, которая, по слухам, собиралась закрываться. Я летал несколько раз в Лондон и привозил оттуда найденных в балетных студиях безработных или только что вышедшую из школы молодежь. Мне помогал лондонский балетный критик Дж.Б. С. Вильсон, успешно издавший "A Dictionary of Ballet". Находил я танцоров и в популярной тогда студии Анны Норткоут. Наши выступления проходили с особенным успехом благодаря Нурееву, который всегда оставался в высшей степени требовательным к самому себе, чем благотворно влиял на остальных.

С 5 по 13 июня мы выступали в Амстердаме, где нам заявили, что после выступлений в Афинах маркиза закрывает труппу. Стало необычайно грустно, хотя к этой новости все готовились заранее.

С 25 по 30 июня мы выступали в Афинах под открытым небом в знаменитой "Арене". Давали "Спящую красавицу", но ввиду того, что декорации не на что было вешать, мне пришлось здорово поработать, чтобы и тут балет не потерял логику и смысл. Благодаря хорошему освещению и колоннам, среди руин удалось создать иллюзию замка, внутреннего зала дворца и заросшего парка. Аплодисментам не было конца.

После завершающего спектакля артисты справляли проводы, или, лучше сказать, печальный и горький конец труппы. Все были до крайности возбуждены и до восхода солнца шумели на берегу бухты в гостеприимном ресторанчике-шалаше.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В Париже танцоры получили окончательный расчет и двухмесячный оклад, а я был приятно удивлен, когда мне дали чек, равный шести месяцам жалованья. Всегда, когда у меня вдруг оказывалось много наличных денег, я шел в казино, чтобы удвоить капитал, сыграв в баккара, а через час или два всегда оставался с пустым карманом.

Я и на сей раз смаковал, как усядусь за зеленый стол и начну метать банк, но выйдя из отеля, увидел на стене объявление, что рядом продается трехкомнатная кватрира со всеми удобствами за сходную цену. Продавала ее милая старушка, и я не успел хорошенько сообразить, как дал ей большой задаток. Покупка так меня увлекла, что я на время забыл про казино и обзавелся впервые в жизни — давно пора! — недвижимым имуществом. Эта квартира у меня до сих пор и служит мне как бы символом правильного поступка. Я в жизни из бедности и нужды не вылезал, а когда начал прилично зарабатывать, то деньги потеряли для меня свою цен-

ность, и я тяготился, если не мог поскорее от них избавиться.

Я провозился с этой квартирой до самого ноября, когда получил предложение из Финского национального театра оперы и балета в Хельсинки поставить там "Спящую красавицу".

Финны — народ, способный к классическому танцу. Они почти все хорошо, пропорционально сложены. Учась у приезжающих на короткое время советских профессоров, они обладают хорошей техникой и культурой танца. Моя работа над "Спящей красавицей" продвигалась быстро и с хорошими результатами. Жаль, что мал сам театр, в особенности сцена, недостаточная для хорошей большой постановки вроде "Спящей красавицы".

Закончил я эту постановку 15 декабря, на что ушло всего 62 часа репетиций. Я поставил этот балет быстрее, чем когда-либо. Обычно при моей системе я считаю нужным один час репетиций для одной минуты предстоящего балета. Если полный спектакль без антрактов имеет 110 или 120 минут, то здесь я его поставил в два раза быстрее, не потеряв качества постановки.

После успешной премьеры "Спящей красавицы" 17 января 1963 года я подписал с директором контракт на несколько предстоящих постановок и в том же году поставил "Сильфиды" по Шопену, "Весну священную" Стравинского и "Эсмеральду" на музыку Пуньи. Этот красочный балет в стиле средневековья прошел в Хельсинки с большим успехом.

8 ноября у меня состоялась премьера "Петрушки" и "Половецких плясок" в Амстердаме в исполнении Голландского национального балета, руководителем (и создателем) которого в то время была еще госпожа Соня Гаскел.

Тем временем я получил предложение из оперного театра в Цюрихе, где менялась дирекция. Новый директор, по профессии адвокат, доктор Юх, предложил мне переорганизовать там балет. До тех пор в функции этого

балета входило исполнение танцев в операх и опереттах. Самостоятельных балетных спектаклей давали не более десяти в сезоне. Я согласился, поставив условием, что число танцоров увеличится вдвое и что сразу же в начале сезона мы дадим спектакль. Со мною долго торговались, однако в конце концов согласились, имея в виду штутгартские достижения.

До начала работы в Цюрихе я успел поставить в Хельсинки "Ондину" на музыку Генце, 1 марта дал премьеру "Петрушки" в Гамбурге, а 24 апреля премьеру "Лебединого озера" в "Ла Скала". Первые спектакли "Лебединого озера" танцевали приехавшие из Москвы знаменитая Майя Плисецкая и ее партнер Фадеичев. Было лестно слышать от этих блестящих танцовщиков комплименты по поводу моей постановки. Они танцевали с большим подъемом и удовольствием, и миланская публика оценила их по достоинству.

Все это время при малейшей возможности я летал в Лондон или Париж подыскивать танцоров. В Лондоне во время спектакля London Festival Ballet мне понравилась молодая танцовщица Гей Фультон, исполнявшая вальс в "Сильфидах" Шопена. Ее длинная шея, покатые плечи, изящные руки и то, как она воспринимала музыку, произвели на меня большое впечатление. Я сделал ей предложение стать будущей балериной в Цюрихе. Она и ее муж, главный солист London Festival Ballet Барри Макграт, выразили желание поступить ко мне в Цюрих как первая пара и согласились на очень скромный оклад, поверив, что в следующем году жалованье будет лучше. Второй парой шла Дорис, моя будущая жена, и ее два партнера: южноафриканец Стефан Шуллер и японец Татсуо Сакаи. Третья пара — югославка Ирена Милаван и Десмонд Келли. Все они обладали прекрасной техникой и имели достаточно опыта, чтобы стать ведущими артистами спектакля.

В это время я находился, как и все хореографы, мне кажется, в лихорадочном состоянии. Ведь сейчас я

мог ставить балеты по собственному усмотрению. Их у меня собралось больше дюжины. Это был период подготовки, когда имеешь на руках уже готовый продуманный сюжет, для которого лишь оставалось подыскать музыку. А как насчет декораций и костюмов? А кому лучше всех подойдет та или иная роль? Но самое главное — музыка. Она навевает новый сюжет и идеи, о которых раньше и не думал. Этот период подготовки хореографии моего балета я считаю самым интересным и захватывающим. Можно называть балет, как хочешь, сюжетным или абстрактным, но когда структура придумана и вкладывается в тобой же подобранную музыку, то хореографические движения начинают выливаться, как будто сами по себе. Поэтому я считаю самой важной и интересной для хореографа частью его творчества момент, когда он сопрягает придуманный сюжет с музыкой. Музыку приходится слушать много, много раз, и каждый раз она ему подсказывает что-то, о чем бы он без нее не догадался, она задевает тонкие струны чувств, которые потом выливаются в хореографии.

Конечно, каждый хореограф имеет свои методы в создании балетов, но никто не может создать балетного шедевра без соответствующей музыки. В Цюрихе мне была предоставлена возможность творить по этому принципу. За семь лет работы я как директор и главный хореограф цюрихского балета убедился в правильности этого подхода. Всем нравилась теплота, простота и воодушевленность моих постановок, в которых я старался слить воедино движения тела танцора с теми нюансами музыки, которые старались подчеркнуть сами композиторы — Стравинский, Прокофьев, Чайковский, Генце...

За семь лет в Цюрихе я поставил восемь трехактных балетов и более дюжины одноактных. Публика с первого представления нашей "Спящей красавицы" пришла в энтузиазм и за все эти годы не охладевала, а наоборот, все больше воодушевлялась нашими спектакля-

ми. Моя молодая балерина Гей Фультон стала цюрихским кумиром.

Во всех субсидированных государственных или городских театрах такие творческие работники, как хореограф, режиссер, дирижер и другие, неизбежно сталкиваются с театральными бюрократами. Дирекция и администрация плотно укомплектованы чиновниками, для которых само искусство ничего не значит. Главное — без перерыва плести паутину, чтобы тормозить все, что может оказаться новым, смелым, обещающим успех. Им нужно все посредственное. Тогда они могут спокойно дремать в своих удобных креслах в кабинетах с табличками: доктор такой-то, профессор такой-то. В длинных театральных коридорах неисчислимое количество таких кабинетов, и, к сожалению, мы, создатели, должны ходить из кабинета в кабинет, просить, настаивать, требовать вещи сами собой разумеющиеся. Цюрихский театр не был исключением, и мне пришлось очень скоро в этом убедиться. Речь идет о самом директоре театра, профессоре Германе Юхе. Ему было лестно, когда в начале его директорства в Цюрихе сразу создался балет, который по качеству и стилю превзошел самые смелые ожидания. В прессе говорили, что новый балет в Цюрихе — личная визитная карточка, которую доктор Юх дал городу.

Прошло два года, балет в Цюрихе продолжал завоевывать популярность, однако новый директор ничего не сделал, чтобы поднять оперные и опереточные представления. И тогда доктор Юх ничего лучшего не придумал, как приостановить прогресс балета в своем же театре и перенести внимание публики на оперные спектакли.

Помню, я пришел с радостной новостью, что наш балет приглашают на летние гастроли в нескольких фестивалях во Франции и Италии. Показав ему телеграмму, я тут же стал воодушевленно доказывать, как важно и необходимо молодому балетному коллективу выступить вне своего театра, перед другой публикой. Это ук-

репит веру танцоров в свой балет, в самих себя и принесет честь городу.

Господин Юх, однако, заявил, что балет он никуда не отпустит — ему незачем куда-то ездить, искать славу и давать наживаться балетным импрессарио. У него здесь два детища -- опера и балет. Вот уже три года, он делал все, чтобы поднять балет, но с этого дня переносит все внимание на оперу. Балетный ансамбль не будет больше увеличиваться на четырех человек в год (как было вначале обещано), а вместо шестидесяти пяти балетных спектаклей в сезоне пойдет всего сорок пять.

Передо мной сидел закоренелый бюрократ, вооружавшийся ржавыми ножницами для того, чтобы срезать мою энергию, цель и вдохновение всей моей работы.

Стиснув зубы, я решил, несмотря ни на что, идти своей дорогой еще энергичнее и настойчивее. Платон недаром сказал: "Игра, пение, пляска — эстетическое наслаждение и реальное воплощение божественных законов". Меня не мог испугать чинуша с его примитивным подходом к судьбе театрального искусства, которому я посвятил всю свою жизнь без остатка.

В то время я готовился к постановке балета "Ондина" на музыку молодого тогда немецкого композитора Ганса Вернера Генце. Эта замечательная музыка компонировала в двенадцати тонах, и потому представляется очень "модерной", контрастной по отношению к сентиментальному сюжету. Однако она очень богата нюансами, чем чрезвычайно вдохновляла меня и исполнительницу Ондины Гей Фультон. В детстве Гей училась играть на виолончели. Очень важно и, я бы даже сказал, необходимо — каждому танцору приобщаться к музыке, учась играть на каком-нибудь инструменте. Ставить балет с балериной столь чуткой, воспринимающей музыку так же, как я сам, было для меня большим эстетическим наслаждением. Пришлось сделать несколько купюр, и я боялся, что Генце, который приезжал дирижировать несколькими спектаклями, будет протестовать или, по

крайней мере, останется недовольным, но балет имел такой успех, что композитор согласился с купюрами безо всяких возражений.

28 июля 1965 года я женился на Дорис. Она была балериной совершенно в ином стиле, чем Гей Фультон. Дорис была замечательна в таких ролях, как Сванильда в "Коппелии", Золушка у Прокофьева. Одной из самых больших ее удач явилась, я думаю, ее интерпретация Джульетты в "Ромео и Джульетте" Прокофьева. Эта роль ей подходила и физически и психологически. Маленького роста, темпераментная, пятнадцатилетняя — такова Дорис во всех сценах до знакомства с Ромео. Потом она — зрелая женщина, способная выразить большой порыв, самозабвенно выпивающая до дна чашу всей своей трагедии и любви к Ромео.

Когда я работал в Цюрихе, в Женеве директором Гранд-театра был бывший режиссер оперного театра "Метрополитен" в Нью-Йорке доктор Курт Графф. Он пригласил меня ставить у него "Ромео и Джульетту", "Лебединое озеро" и "Жизель". Было приятно оторваться от повседневной работы в Цюрихе и поработать в Женеве с профессиональным, хорошим оперным режиссером, понимавшим меня с полуслова.

Женевский балетный состав на десять человек меньше, чем в Цюрихе, а сцена в два раза больше. Но получив большое количество сценически опытных оперных хористов, я занял их во всех мимических партиях и в массовых сценах. В результате спектакль получился полноценным. Доктор Графф предложил мне возглавить балет в Женеве, но меня это не устраивало, так как женевский театр работал, как многие французские и итальянские театры, по системе, называемой "стаджионэ", от слова "сезон". Это означало, что они не имеют постоянного репертуара, а только готовят, скажем, оперу, делают для нее новые декорации и костюмы, а потом дают ее с приглашенными знаменитостями в ведущих ролях пять или шесть раз подряд. Затем все декорации ликвидируются,

чтобы не занимали лишнего места, а костюмы поступают на склад. Ими потом пользуются, если подходят, в других постановках, или продают по дешевке провинциальным театрам. В Женеве за весь сезон балетных спектаклей давали не больше двадцати, и женевские танцоры страдали от безделья.

Так как в Цюрихе дирекция наложила на прогресс балета "табу", а в Женеве от малочисленных спектаклей балету нечего было делать, то у меня появилась мысль, не соединить ли их в один балет и назвать его Швейцарским национальным балетом с главной квартирой в Цюрихе. Если соединить субсидии, которые в обоих городах тратятся на балет, то финансовых проблем не будет. Единственной задачей была координация точного распределения спектаклей по времени. Но эта проблема решалась легко.

Я выработал детальный план создания объединенного балета, и доктор Графф, со своей стороны, дал согласие. Дело оставалось за Цюрихом. Я был уверен, что Юх согласится и поддержит такое полезное для Швейцарии начинание, но опять получил от него энергичный и злобный отказ. Он заявил, что не допустит, чтобы за его спиной создавались фантастические проекты. Вот уж в самом деле — "рожденный ползать летать не может". Не дай Бог никому, кто связан с творчеством, встретиться с такими людьми, как Юх. Мне пришлось проглотить пилюлю погорше первой, но я решил остаться в Цюрихе до конца моего договора, до июня 1971 года, выговорив больше свободного времени на постановки в других труппах. Однако, в какие бы далекие страны меня не приглашали — в Иоганнесбург или в Тегеран, везде я встречал танцоров и балетных руководителей, с которыми уже когда-то где-то встречался или вместе работал. На фоне этих приглашений стало четко выделяться, что именно театры хотят, чтобы я ставил. Это балеты Фокина — "Петрушка", "Сильфиды", "Шехеразада", "Половецкие пляски", "Золотой петушок", "Видение ро-

зы" и другие. Я также стал популярен в постановках классических балетов Петипа — "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Коппелия", "Жизель". Когда я предлагал поставить что-нибудь совершенно новое, то сразу получал отказ с такой аргументацией: чтобы ставить новое, у них есть дюжины молодых хореографов всяких течений, стилей и уклонов, но для возобновления классики Петипа или дягилевского репертуара балетов Фокина они считают меня самым компетентным балетмейстером, который с уважением относится к прошлому и умело преподносит все эти балеты сегодняшней публике. Однако неменьшим спросом пользуются балеты моей собственной хореографии: "Ромео и Джульетта", "Золушка", "Эсмеральда", "Ондина", "Щелкунчик", "Весна священная".

Последней моей постановкой в Цюрихе была "Жизель". Премьера состоялась 6 марта 1971 года. Всегда придерживаясь правила, чтобы постановки стали для зрителя как можно доходчивей, я, где мог, избегал символики и стремился, чтобы сюжет был понятен не только опытной балетной публике, но и тем, кто видит балет впервые. Это побудило меня прибавить к "Жизели" маленький пролог, где принц Альбрехт встречается со своей невестой Батильдой. Я подчеркнул, таким образом, что они жених и невеста не по любви, а из-за династических расчетов их родителей, тоже присутствующих на сцене. Дальше отец Альбрехта и отец Батильды с придворными отправляются на охоту. Принц Альбрехт симулирует болезнь, чтобы избавиться от охоты, но уговаривает Батильду, чтобы она не покидала компании. Когда все уходят со сцены, он радостно подзывает приятеля, и они оба убегают на свидание с Жизелью.

Так кончается пролог. Музыку для него я взял у автора "Жизели" композитора Адольфа Адама из его балета "Дьявольская плата". Тематически она так схожа с музыкой "Жизели", что казалась для нее написанной.

Благодаря семнадцатиминутному прологу балет

получился куда понятней и фундаментальнее. Я ничего не переделывал в оригинальной постановке двух актов, но по всему видно, что именно пролога в этом балете не хватало. С ним сюжет получился не только понятнее, но и лучше с драматической точки зрения. Роль Жизели стала более объяснимой, не говоря уже о сцене в первом акте, когда Батильда обнаруживает тайную любовь Альбрехта.

В мае 1971 года мне исполнилось 65 лет и по швейцарским законам я выходил на пенсию, что официально положило конец моей работе в Цюрихе. Недолго думая, я подписал контракт на должность директора знаменитого театра "Сан-Карло" в Неаполе, где по спискам числилось восемьдесят танцоров. Я надеялся ставить большие представления, не стесняясь количеством танцоров и средствами.

Я должен был начать работу в Неаполе 1 сентября, чтобы готовить опять-таки "Жизель" с моим прологом. Танцевать главные роли Жизели и Альбрехта пригласили знаменитую московскую пару Екатерину Максимову и Владимира Васильева.

Трогательные проводы, устроенные мне в Цюрихе танцорами и многочисленными балетоманами, меня почему-то нисколько не тронули. Мысленно я уже видел себя в Неаполе. По тогдашним законам иностранных танцоров не приглашали в Италию на продолжительный срок, а я не хотел, чтобы из-за меня Дорис прекратила танцевать. Поэтому она подписала контракт солистки в бельгийском Королевском балете Фландрии и уехала в Антверпен. Я отправился в Неаполь, куда пригласил свою младшую сестру Ирину. Сестра жила в Западной Германии и работала в госпитале физиотерапевтом. В Неаполь приехала и Светлана из Лондона. Им обеим понравился знойный и шумный город, и они помогали мне устраивать снятую мною пятикомнатную квартиру.

Оставалось много времени до начала работы в театре, и мы каждый день ездили купаться на Капри или

Искья, где минеральные бассейны славятся целебными водами, столь полезными для танцоров, которые вечно жалуются на растяжения и повреждения мускулов и суставов. Неаполитанское солнце приводит всех в праздничное настроение, но и сестра Ира, и дочь Светлана привезли с собой много собственных житейских проблем, которые нигде их не покидали. В том 1971 году исполнилось ровно двадцать лет с тех пор, как Светлана впервые выступила как солистка лондонского Королевского балета на сцене театра "Ковент Гарден" в роли феи Сирены в "Спящей красавице". Лондонская публика ее обожала и гордилась ею. Светлана с ее певучими линиями рук, с простой и одновременно гордой посадкой головы, законченными линиями и позами движений, для всех понятных и эстетически привлекательных, действовала на публику так, что ее появление перед двумя тысячами зрителей встречалось беззвучным вздохом и напряженным вниманием — ни малейшего шороха не было слышно.

Об особенных качествах Светланы как балерины много писали и, наверно, еще будут писать, но в 1971 году здесь, в Неаполе, я ощутил, что она полна тревог о будущих выступлениях, несмотря на то, что ее техника и физическая сила еще не начали отступать. Новые постановки балетов ставились с большим учетом ее возможностей. Фредерик Аштон, например, поставил балет "Enigma Variation" для Светланы. Вся ее жизнь заключалась в танце, и ее точила мысль, что рано или поздно ей придется из-за возраста расстаться с балетом. Она стала искать утешения в вине. Никакие уговоры или короткие лечения в специальных клиниках не давали положительного результата. В целом Светлана протанцевала в Королевском балете двадцать пять лет. Ее уход не был объявлен, и поклонники еще долго продолжали надеяться, что увидят ее вновь на сцене "Ковент Гарден".

Наши первые недели в Неаполе пролетели быстро. Светлана вернулась в Лондон 15 августа, а сестра Ира

по телефону выхлопотала в госпитале еще неделю отпуска и решила остаться здесь до 1 сентября. 20 августа я уехал на три дня в Цюрих. Вернувшись, я не застал Иру дома. На мои вопросы, видел ли ее кто-нибудь, никто не мог сказать ничего определенного. Я провел бессонную ночь, а утром мне принесли газету с Ириной фотографией. Было написано, что неизвестная иностранка попала под автомобиль, тело ее в морге; знающих про нее что-нибудь просят явиться в полицейский участок. Я вызвал по телефону Светлану. Нашему горю не было предела.

Оказалось, что Ира вышла вечером купить сигарет. Когда переходила через улицу с зеленым светом, ее сбила машина, и через час в госпитале сестра скончалась, не приходя в сознание. Вот и выхлопотала себе отпуск, чтобы умереть в Неаполе...

Хоронили мы ее 1 сентября, в день моего начала работы на новом месте. Репетиции в этот день отменили, и старик директор театра приехал лично на кладбище. Я должен был работать с совершенно новым ансамблем, но после пережитых потрясений чувствовал себя на пределе сил. Весь Неаполь с синим морем и небом, и горячим солнцем казался мне пустыней, я не знал, куда деваться в своих пяти комнатах.

Официально по спискам в театре числилось восемьдесят танцоров, но я скоро убедился, что лишь половина из них может танцевать. Все работники театра принадлежали к какой-нибудь политической партии, для танцоров не было исключения. Они примыкали к христианским демократам, к коммунистам, к либералам, радикалам, и все враждовали друг с другом.

Я начал ставить ''Жизель'', еще не очень разбираясь, какой танцор к какой партии принадлежит. И на этот раз вновь пришла на выручку приглашенная из Москвы лучшая советская танцевальная пара — Екатерина Максимова и Владимир Васильев. Я сразу подружился с Катей и Владимиром, и не проходило дня, чтобы мы вместе не обедали или не ужинали, нам всегда хватало интересных тем для беседы.

Неаполитанские танцоры сразу подтянулись, видя знаменитых артистов, с которыми вместе придется выступать, и репетиции "Жизели" проходили в приподнятом настроении. Такие хорошие танцоры для первой постановки в Неаполе и столь милые и хорошие и задушевные собеседники скрасили мне те тяжелые, горькие дни.

Восемь спектаклей "Жизели" прошли с огромным успехом и с личным успехом Максимовой и Васильева. Мы расстались друзьями.

В Неаполе я проработал два года и сильно переживал тогда, что танцоры неаполитанского балета не относятся к своему труду достаточно серьезно. Сейчас я вспоминаю их поведение как досадный курьез.

В репетиционном зале царствовали прежде всего синдикат рабочих, потом каждая политическая партия сама по себе, а потом уже танцоры с их многоступенчатой градацией и с волчьим аппетитом кордебалета танцевать сольные номера. Если бы при театре не существовало балетной школы, то вообще нельзя было давать спектаклей из-за нехватки кордебалета. Молодежь последних классов школы танцевала неплохо.

В Италии балетные школы при таких театрах, как "Ла Скала" в Милане, "Опера" в Риме, "Сан-Карло" в Неаполе, выпускают довольно хороших танцовщиц и танцоров, многие из которых посылаются в Москву или Ленинград для приобретения хорошей техники. Последний год в школе проходит в напряженной работе перед последними экзаменами, чтобы с хорошими отметками попасть на службу в театр. В это время занимать их в любом балете одно удовольствие. Но как только они сдадут экзамены, то сразу же попадают — особенно мужчины — под влияние старших коллег, и их артистический рост прекращается.

Принцип неаполитанских танцоров — всеми правдами и неправдами увильнуть от репетиций, не говоря уже об уроке. По контракту с профсоюзом артистов они обязаны посещать урок минимум два раза в неделю. Они

его и посещают — на цыпочках проходят через балетный зал, где уже начался экзерсис, в ложи, и там играют в карты или смотрят телевизор, а после "урока" облегченно вздыхают и опять проходят через балетный зал, направляясь в кафе. Короче, работа с неаполитанскими танцорами превратилась для меня в сплошную трепку нервов, и я был рад поскорее с ними распроститься.

В сезоне 1973-74 годов я ставил "Ондину" в Нанси во Франции, "Спящую красавицу" в Осло, "Петрушку" в Шарлеруа в Бельгии и "Щелкунчика" в Иоганнесбурге. Так меня носило из угла в угол нашей небольшой планеты, где сегодня повсюду знают и любят балет вне зависимости от нации или страны.

ПРОФЕССОРСКАЯ МАНТИЯ

В апреле 1975 года я поставил для студентов университета Индиана в американском городе Блумингтон балет Прокофьева "Ромео и Джульетта". В этом университете учится тридцать две тысячи студентов. Музыкальный факультет насчитывает две тысячи. При университете находятся два больших оперных театра. Тут же преподается пение, ставятся большие оперные спектакли, которые по качеству певцов, режиссуры, костюмов и декораций легко конкурируют с чисто профессиональными постановками в США. Студенты-музыканты составляют четыре симфонических оркестра, множество духовых, джазовых, камерных. Каждый день в трех или четырех залах идут концерты.

При музыкальном факультете существует балетная школа. 450 студенток и студентов занимаются каждый день балетным тренингом. Число способных к выступлению в балетных постановках доходило до восьмидесяти. Вот для них дирекция университета и пригласила меня поставить "Ромео и Джульетту", и я впер-

вые столкнулся со своеобразной атмосферой творчества, которой все здесь было насыщено.

Каждый студент-танцор хотел извлечь для себя максимум знаний. Во время репетиций они не только быстро все схватывали, но тут же анализировали, задавая вопросы, на которые я должен был отвечать точно и правильно. Их интересовало буквально все, каждый обладал хорошим слухом и специфической для американцев чуткостью ритма. Работать в такой обстановке было очень приятно. Скоро я стал у них популярным педагогом и хореографом. После постановки "Ромео и Джульетты" дирекция предложила мне стать руководителем балетного отделения, и я без особых колебаний принял предложение. Эта работа не мешала мне продолжать как и раньше ставить балеты везде и всюду, куда меня приглашали.

Я возглавлял балетное отделение в университете Индиана пять с лишним лет, с 1975 по 1981 год, и получил там звание профессора. Постоянно находясь в среде энергичной, жизнерадостной и устремленной к науке молодежи, я тоже чувствовал себя молодым и воодушевленным. Я готов был оставаться здесь до конца моих дней. Каждый день давались лекции, научные доклады, несколько различных концертов. Два раза в неделю ставился оперный или балетный спектакль. Существовала библиотека на всех языках. Каждый вечер студенты-спортсмены состязались зимой на крытом стадионе, летом на открытом воздухе.

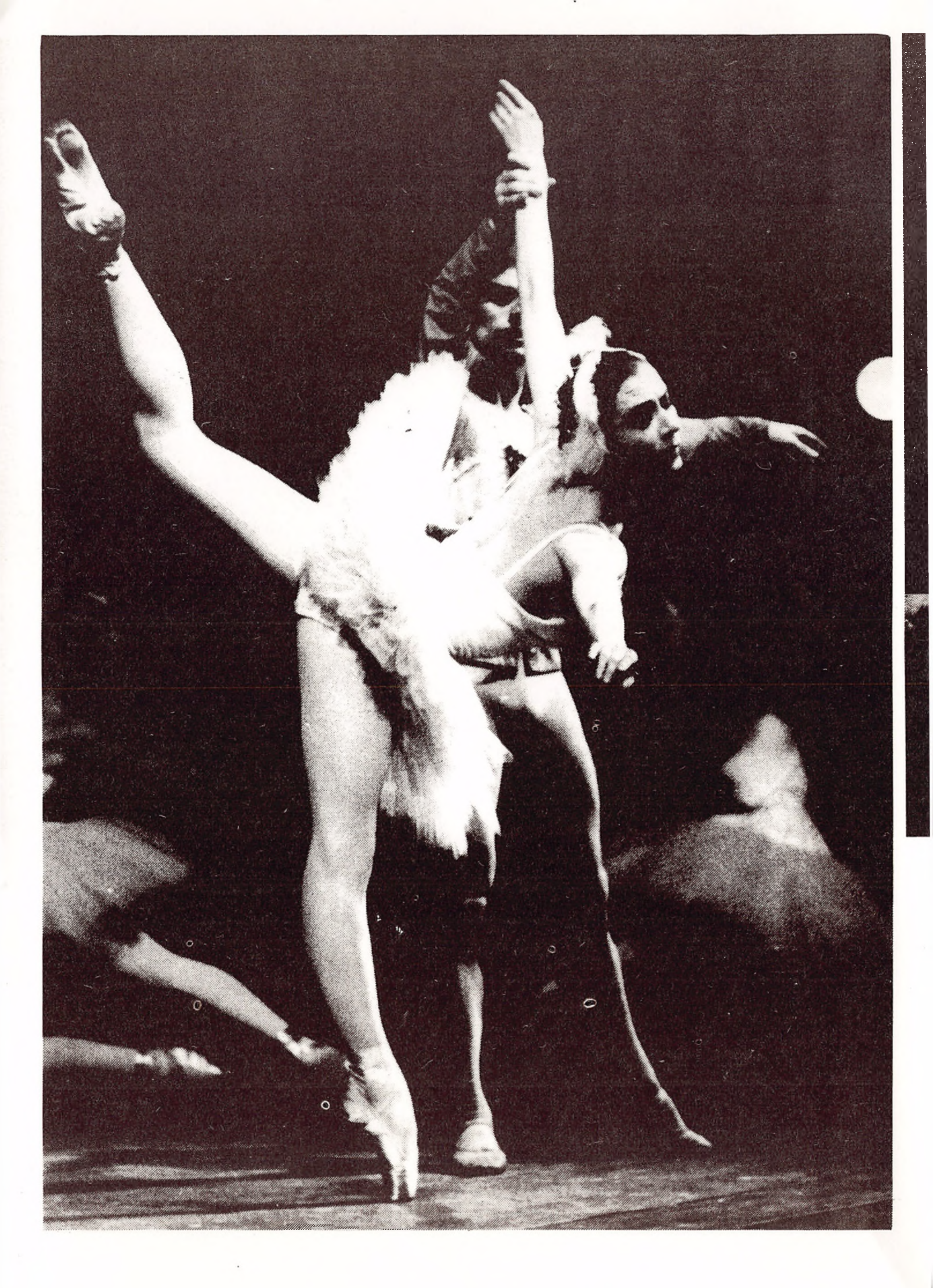
К сожалению, мое желание остаться здесь навсегда не разделяли ни Дорис, организовавшая балетную школу в Цюрихе, ни Светлана, продолжавшая жить в Лондоне. Светлана последние годы чувствовала себя во много раз лучше, чем прежде, к ней постоянно обращались молодые балерины, с которыми она разучивала классические балетные партии, ученицы ею дорожили и доставляли много радости. Я ухитрялся чуть не каждый месяц летать из Блумингтона в Лондон и в Цюрих, но такие

Сцены из балета "Весна священная" в постановке Николая Березова. Цюрих, 1966 г.





Дорис Катана в роли Китры из балета "Дон-Кихот" в постановке Н.Березова. Цюрих, 1969 г.



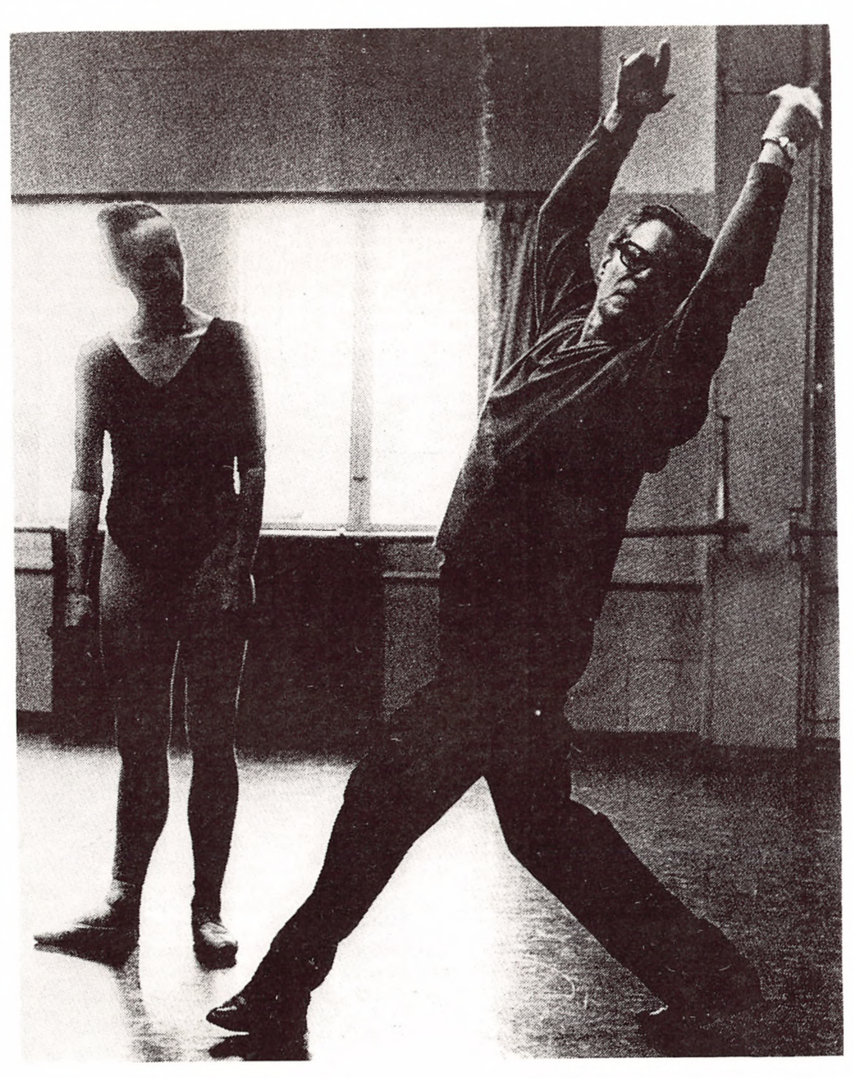


Николай Березов с Рудольфом Нуреевым после спектакля.
Лондон, 1970 г.

Светлана Березова и Рудольф Нуреев
в сцене из балета "Лебединое озеро".
Вена, 1970 г.



Екатерина Максимова, Владимир Васильев
и Николай Березов
после представления "Жизели"
в театре Сан-Карло.
Неаполь, 1971 г.



Николай Березов во время репетиций в Национальном Балете в Осло, 1973 г.



Николай Березов во время празднования своего семидесятипятилетия.
Рядом с автором Светлана Березова.
Лондон, 1981 г.

частые экскурсии для поддержания семейных отношений были для меня довольно утомительны. Поэтому, к сожалению, мне пришлось покинуть Блумингтонский университет.

ЭПИЛОГ

У меня постоянно идет интенсивная переписка с танцорами, с которыми я работал последние десять-пятнадцать лет, но сейчас к ней прибавились письма бывших студентов из Блумингтона. С ними я нередко встречаюсь всюду, куда меня заносит профессия ''кочующего'' хореографа. Когда я еще жил в Блумингтоне, в августе 1979 года меня вызвали ставить ''Петрушку'' в Луисвилле в штате Виргиния. Директором балета там был мой бывший танцор из лондонского Фестивального балета Алан Рис. Танцевать роль Петрушки пригласили Михаила Барышникова, который незадолго до того решил не возвращаться в СССР после американского турне Кировского балета. Сначала он остался в Канаде. Барышников танцевал в том же спектакле кроме Петрушки также и па-де-де из балета ''Корсар''. Роль Петрушки он исполнял с поразительным мастерством. За более чем пятидесятилетний срок работы в балете я не видел ничего подобного: танцовщик мог буквально повисать в воздухе метрах в полутора от пола. Он делал свои прыжки эффектно, элегантно, обладал выразительной и хорошо осмысленной мимикой и потрясал зрителя изяществом и свободой движений. Я благодарил судьбу за то, что на старости лет мне довелось увидать столь феноменальный талант.

До нынешних дней я непрерывно работаю в разных странах, разных труппах и с разными танцорами, и везде и всюду они величают меня, как и тридцать лет назад, ''Папой''. А ведь теперь я бы мог стать для них не только дедушкой, но и прадедушкой. Все говорят мне, что я

выгляжу превосходно, впрочем, я чувствую сам, что пока еще полон сил и энергии. Не так давно я возобновил балет Фокина ”Терзания любви”, в котором сам танцевал роль мандарина. Самочувствие после выступления у меня было такое, словно я и не прекращал выступать. На душе стало необычайно легко.

Эти последние страницы я пишу у себя на веранде в замечательном уголке Италии недалеко от Монте-Карло, где недавно купил дачу в оставленной крестьянами после войны деревне. Деревенская молодежь ушла в города, а старики держат маленькие огородики и по дешевке распродают свои участки. Много артистов из Англии, Германии и Голландии уже купили здесь дачи. Глядя на заброшенные оливковые сады и виноградники, на говорливую горную речушку Ройю, я чувствую себя так, словно не было у меня дня рождения и не будет дня, который называют последним. Благодарю Бога за то, что пока физически здоров, могу работать и помогать всем, кто в моей помощи нуждается.

СОДЕРЖАНИЕ

